

Аннотация

Он прошел обучение у лучших инструкторов ГРУ. Он способен выживать и побеждать в самых безнадежных ситуациях. Он виртуозно владеет всеми видами оружия и рукопашного боя. Он пролил реки крови. Он полон "благородной ярости" и "святой ненависти" к врагу. Он пришел в Германию мстить и карать - ему есть за что. Он как молитву затвердил слова Ильи Эренбурга: "Убей немца!" Он умеет ненавидеть и убивать. Научится ли миловать и прощать? Превратится ли из беспощадного мстителя в русского солдата?

Один из лучших романов о Великой Отечественной войне, безоговорочно признанный классикой жанра! Литературная основа знаменитого телесериала! Поразительная история превращения "зеленого" юнца в матерого диверсанта, хладнокровного истребителя немецко-фашистской нечисти.

5v

Sj

Г

ii i i U I C o

Анатолий! АЗольский

Наш герой, влюбленный патриот и враль, рвется на фронт. — Прощание с Этери. — Первое звучание «мананы». — Жуликоватый незнакомец по имени Алеша подружится с ним. — Оба, с трудом верится, станут диверсантами высочайшего класса! — Даешь Берлин!

28 августа 1941 года мне исполнилось (как я уверил себя) шестнадцать лет, войне же было два месяца с неделей, войска наши отступали, показывая немцам спину, войска ждали человека, который остановит их, повернет лицом к подлому захватчику и обратит его в бегство. Таким человеком мог быть только я, Леонид Филатов, для чего и отправился в военкомат.

К этому дню, началу моей личной войны с Гитлером, я готовился пять лет. В Сталинграде должны помнить мальчика, бегавшего наперегонки с трамваем: так я воспитывал в себе выносливость, столь нужную защитникам республиканской Испании. Потом мы переехали в Грузию, и мне выпал редкий шанс: мать учила русскому языку местных школьников, а сыну ее разрешали прыгать через класс, вот почему я так быстро кончил среднюю школу. Как ни любили в районе мать, никто не решался отправить меня на фронт: непризывной год! Напрасны были справки о первом месте на спартакиаде, о парашютных прыжках, о готовности с оружием защищать Родину. Но я наседал, умолял, требовал, и, чтоб отвязаться от меня, военкоматский майор пообещал: вот когда исполнится шестнадцать, тогда и...

И в день, назначенный майором, я покинул дом, бежал, оставив матери краткое послание, твердо указав, что вернусь победителем через год, если не раньше. Мать заседала где-то (наступал новый учебный год!), я смело полез в шкаф и надел единственный взрослый костюм, чтоб молодцом предстать перед майором, прикрутил и прицепил к лацканам нагрудные значки, и если что меня отягощало, так это — расставание с Этери, одноклассницей, которую я любил и которая любила меня, поклявшись до гроба хранить верность. Жили мы в райцентре, учительский дом часто навещался учениками, и мы решили, что Этери придет ко мне, благословит на ратные подвиги, и никто не узнает о нашем первом поцелуе. Время шло, я смотрел и смотрел в окно, а Этери все не было и не было. Сердце мое сжималось в тоске.

Да, сжималось и скорбело. Но я уже чувствовал в себе невесомость

листочка, который вот-вот сорвется с ветки ураганом, бушевавший над страной, над миром, и ветка легко расстанется с едва распустившимся плоским клейким побегом.

Окинув стены прощальным взглядом, я выбрался из дома и отправился на войну без напутствия любимой, догадываясь уже, что мать Этери воспротивилась прощанию. Губы мои шептали имя тоненькой девушки, которая была старше меня на два года, и если что и удерживало меня от слез, так это радость оттого, что наконец-то я иду защищать Отечество. Иду — высмеянный матерью, которая в запальчивости как-то сказала, что я — недоразвит, глуповат и вообще родился недоношенным.

До Зугдиди — три часа езды на арбе или тридцать минут на полуторке. Едва я приблизился к мостику через давно высохшую речку, как услышал звавший меня голос Этери, и мне стало мучительно нежно, сладостно, ноги мои подкосились. Я увидел Этери, выбежавшую из-под дырявого настила. Ручонки же ее сжимали флейту. Семья Этери славилась музыкальностью, порою приглашали и меня в свой оркестр, ни флейты, ни скрипки не доверяли, но я освоил маленькую гармошку, научился играть на зурне и семейный квинтет не портил.

Мы обнялись. Мы плакали. Впервые ощутил я губами гладь неродного женского тела, я прикоснулся к щекам Этери и к ее ушкам. Я почувствовал свой вкус винограда, когда наши губы сблизились, нарушая все запреты Этериной мамы. Рыдающая любимая сказала, что будет ждать меня до победного нового года и поэтому никуда из села не уедет, в институт не поступит, в техникум тоже, всю осень будет она помогать дяде Гиви собирать чай. Потом она отстранилась, и флейта исполнила песню, которую мы любили. Это была «манана», местная, как уверяла Этери, мелодия, из века в век передаваемая и сохраняемая, но я, всегда всем увлекавшийся, музыкой тоже, слышал в народном напеве этом нечто европейское, поэтому и мне, русскому, так легла на ухо эта грузинская песня.

Запылившаяся дорога (приближался грузовик) укоротила наше прощание, Этери нырнула под мостик... Обрывая все связи с прошлым, я на ходу вскочил в грузовик и выпрыгнул из него на окраине Зугдиди. Две лепешки, ломоть сыра и пачка убедительных бумаг лежали в узелке, расчищая мне дорогу на фронт. Я шел к светлому будущему, к победе, стремясь попасть в военкомат до того, как всеильный майор закроется в кабинете на обед. Присев на минутку перед штурмом цитадели, я вдруг обнаружил рядом с собою, на скамейке, красноармейца без пилотки, парнишку чуть постарше моих лет, который проявил ко мне истинно

мужское внимание, предложил закурить, получил отказ, но ничуть не обиделся и дружески похлопал меня по плечу. «Иду на фронт!» — не без гордости сообщил я, и красноармеец понятливо кивнул так, будто речь шла о посадке на поезд в Тбилиси. «Алеша», — назвал он себя, протянув узенькую, но очень крепкую ладошку. «Из госпиталя», — добавил он, и я с уважением глянул на розовеющий шрам от уха к темени, начинавший прикрываться светлыми волосиками. Стираное-перестираное обмундирование на парнишке давно потеряло благородный зеленый цвет, на ногах — великанские ботинки, лихо закрученные обмотки были из едва ли не простынного материала. Да, вот он — истинный воин Красной Армии, получивший ранение в смертельной схватке с подлыми захватчиками. И — развязность, естественная для человека, состоявшего при большом, трудном и опасном деле. «Куда спешить-то... — остудил красноармеец мой пыл, когда я попытался встать. — Никуда от тебя военкомат не убежит, везде заварушка с этими новобранцами, но ты-то ведь — доброволец...» С еще большим пренебрежением отнесся он к моим опасениям насчет скорого, до появления меня на фронте, полного разгрома врага и окончания войны. «Да оставят специально для тебя парочку немцев, — пообещал он. — Убьешь их и вернешься к мамаше. К ноябрьским праздникам не управишься, но уж ко Дню конституции — запросто...»

Так произошла наша встреча. Знать бы, какое петляние событий последует за этим знакомством, предвидеть бы неотвратимые итоги — и я в панике дал бы деру, сиганул бы в переулок, чтоб побежать к матери, заседавшей то ли в исполкоме, то ли в роно, спрятаться за нею, чтоб глаза мои не видели майора! Знать бы да ведать — да кто ж знает и ведает? И Алеша, загляни он в будущее, поерзал бы, наверное, на скамейке да потопал бы на базар, где всегда есть чем разживиться, словом не обмолвившись с глупеньким школяром.

Оно и произошло бы так, не развяжись мой хвастливый язык. Ни с того ни с сего я стал врать, шепотом сказал бывалому пареньку-красноармейцу, что не просто на фронт еду я, а отправляюсь в специальную школу, после чего буду заброшен в тыл отступающего врага, стану взрывать мосты, поджигать склады с горючим и пускать под откос поезда, то есть делать все то, о чем просил Иосиф Виссарионович Сталин, когда 3 июля обращался к народу.

— Пускать под откос поезда... — задумчиво промолвил юный красноармеец, вслушиваясь в каждое слово свое. — Взрывать мосты... Поджигать... А ведь это очень опасно! — предостерег он меня и

быстренько сунул руку в карман, откуда достал пилотку, а вслед за нею и пачку «Казбека»; дорогие папиросы эти явно не соответствовали облинявшим до рыжеватости брюкам и гимнастерке. Красноармеец острым, как лезвие, ногтем полоснул по оклейке коробки, раскрыл ее, извлек папиросу, поразил меня красивейшей зажигалкою в форме маузера калибра 6,35 (в оружии я разбирался), закурил и завел пустяковый разговор о девушках и танцах, о здешней мирной жизни, о родителях моих; проявлял скромное любопытство, вдохновляя меня на подробности уважительными интонациями, округляя в восхищении глаза. Я все более проникался его интересом ко мне и без утайки рассказал об отце, умершем три года назад, о матери, преподававшей в Сталинграде немецкий язык, а здесь — русский, о моих достижениях в спорте и о неукротимом желании повернуть ход войны вспять, гнать немцев до Берлина. Лишь об Этери умолчал я, святое имя так и не слетело с моих губ...

Красноармеец Алеша услышанным не удовлетворился. Развязав мой узелок и понюхав сыр, он принялся изучать мое школьное свидетельство, комсомольскую характеристику, многочисленные удостоверения к нагрудным значкам за умение стрелять, бегать, работать ключом на коротковолновых станциях, прыгать, плавать и взбираться на кручи. Особое внимание уделил он Почетной грамоте «За отличную стрельбу тремя патронами», сообщив невероятное: ни единого патрона к винтовке он на фронте не получил; правда, добавлено было им, в казенной части винтовки зияла просверленная дыра. Прочитал он справку и о том, что мною окончены радиокурсы, а бумажкой этой я очень гордился, она, по моему мнению, открывала мне досрочный путь в армию, как, впрочем, и пять значков на пиджаке. Особое внимание уделил он моему пропуску — с фотографией — в радиотехнический кружок при техникуме. Зато журнал «Радиофронт» не удостоился его пытливого внимания, хотя там на странице 16-й излагалась суть моей переписки с редакцией. Правда, фамилия моя (Филатов) подменилась сокращением «читатель Ф-ов».

Все узнал он обо мне и о людях, меня окружавших. Не только фамилии, но и прозвища учителей стали ему известны. Допытался он и до того, что нагрудный значок парашютиста получен мною не совсем праведным путем, потому что прыгал я всего-то — с вышки в городском парке. Проверил красноармеец и мой немецкий язык, высоко оценив не только его: он заявил, что немцы, попади я к ним в плен, ни под какими пытками не вытащат из меня военную тайну.

— При отсутствии у них переводчика, — добавил он. А затем поднял на меня глаза и со вздохом промолвил: — Да тебе сиднем сидеть бы еще в

детском саду... Шестнадцать лет, говоришь?.. Пятнадцать, — угадал он. — Если не меньше.

Я густо покраснел — так густо, что ушам стало жарко. Он прав был, красноармеец Алеша: в выкраденном мною девственном школьном свидетельстве датой рождения поставлен был август 1926 года, а если присмотреться к метрике, то следы подчистки обнаружились бы. Я, сам того не подозревая, проявил черты будущего политического деятеля государственного масштаба, ибо совершенно искренно полагал: чем нравственно выше и благороднее цель (защита Отечества), тем допустимее обманы, мелкие подлости и вообще нарушения всего и вся (в том числе и желания защищать Отчизну).

— Но, — задумчиво продолжал Алеша, — если б тебе настучало девятнадцать и ты уклонялся от призыва, то был бы разоблачен немедленно. А как ты есть непризывной и лезешь сдуру добровольцем, то никто не всмотрится в цифры...

Он долго вглядывался в меня, еще раз густо покрасневшего. Видимо, красноармеец Алеша гадал: что я еще напортачил?

— Небось авантюрной литературы подначитался, а? Как же, как же... «Пятнадцатилетний капитан» — это не про тебя?

Перебрав все документы в узелке и завязав его, паренек в красноармейской форме погрузился в долгое раздумье, и предметом его дум не мог не быть я. Паренек думал сосредоточенно, и было приятно сидеть рядом с ним, думающим. Такое же чувство приятности испытывал я в Сталинграде, когда часами смотрел на отца, что-то писавшего в своем кабинете.

Напряженная работа мысли дала наконец плоды, красноармеец пощупал борт еще отцу купленного костюма, глянул на мои скороходовские ботинки и насмешливо произнес:

— Хорош матерьяльчик... Ишь вырядился... Никак, на первомайскую демонстрацию. Сколько, по-твоему, дней добираться до этих спецкурсов? — спросил он так, что я понял: не одни сутки придется ехать.

Никаких спецкурсов, напомним, майор мне не обещал. Отражая однажды мой очередной наскок, он выразился туманно: отправлю тебя, мол, на какие-нибудь курсы допризывной подготовки.

— Да и жратвы у тебя нет на дорогу, — съязвил красноармеец. — На ужин едва хватит. Или ты думаешь получить сухой паек?

Продолжая и развивая тему, он подвел меня к решению: костюм и ботинки надо продать! А на вырученные деньги купить одежонку попроще, носить-то ее — неделю, не больше, на курсах выдадут все новое,

армейское. Да еды кое-какой прихватить на дорогу, не ходить же по вагонам с протянутой рукой.

— Ну, а в Берлине, — утешил он меня, — я тебе достану костюм получше, обещаю. Мы Берлин разграбим! У меня, — прибавил он с улыбкой, показавшейся мне зловещей, — свои счета с этим городом.

Получив мое согласие на куплю-продажу, он бодро поднялся.

— За мной! — скомандовал он, напяливая на голову пилотку. — Вперед!

Минуя калитку, мы перелезли в чей-то сад, одолели два заборчика и оказались в пустой квартире пустого дома, здесь я снял значки с пиджака и зажал их в кулаке. Раздетый до трусов и майки, сидел я на единственном стуле в комнате, ожидая красноармейца Алешу. Время шло, солнце перемещалось по небу, сдвигая тени, где-то рядом плакал ребенок, невдалеке шумел базар, где все покупалось и все продавалось, но откуда почему-то не возвращался мой приятель. Хотелось кушать, я развязал узелок и увидел, что моих документов — нет! Ни метрики, ни свидетельства, ни удостоверений к значкам, ни характеристик, ни почетных грамот за первые места на соревнованиях.

Страшное подозрение вошло в меня: я ограблен! Меня облапошил обычный базарный жулик, каких полно в Зугдиди! Кончено с армией, фронт отдалился, и не немецкий эшелон пошел под откос, а вся жизнь моя, потому что кому я нужен без документов, ни один военкомат меня не возьмет, и Этери отвернется, когда я вернусь домой сегодня вечером.

Беда, настоящая беда! Самое время вспомнить, что мать и многие — здесь и в Сталинграде — считали меня глупеньким, я частенько ловил на себе соболезнующие взгляды друзей дома и товарищей по школе, хотя учился не хуже их...

Я заметался по комнате, будто вокруг меня — пылающие стены. И — замер. Застыл от неожиданной мысли, водой окатившей меня. Я понял, что все происходящее — закономерно, идет по правилам жизни, потому что документы мои должны были пропасть! Обязательно! Ибо у гасконца д'Артаньяна, едущего в Париж, пропало ведь рекомендательное письмо к господину де Тревилю, который в те времена исполнял обязанности военкома! И у меня своровали рекомендательные письма к зугдидскому де Тревилю!

Вдруг как из-под земли появился Алеша. На его лице была написана уверенность в том, что еще до захода солнца мы будем в рядах сражающейся Красной Армии. Он переоделся, он приобрел где-то вполне справное обмундирование, зеленое, не стирание, не штопаное и не

прожаренное, кирзовые сапоги заменили ботинки и обмотки, на пилотке алела настоящая красная звезда, на мою долю достались рубашка и брюки, снятые, без сомнения, с хилого четырнадцатилетнего пацана, и я поэтому выглядел переростком, юношей вполне призывного возраста. Продемонстрировал Алеша и вещмешок с едой, часть ее мы съели и быстрым шагом направились в военкомат. Перед входом в него было произнесено следующее:

— Слушай, смотри, учись и молчи!

В военкомате царила обычная для начала войны и уже знакомая мне неразбериха, многоголосый шум забивал уши, навзрыд плакали женщины во дворе, а в коридорах толпилось несметное количество суесящихся людей, одетых кто во что горазд.

Никто ничего не знал и никто никого не слушал. Взяв меня за руку, Алеша ринулся в самую гущу, протаранил толпу у кабинета военкома, пробил саму дверь, отшвырнул меня в угол и атаковал майора, защищаемого другими командирами и политруками. Он умел звонко, четко, по-военному говорить, вытягиваться в струнку и тупо смотреть. Он всем говорил о себе, но демонстрировал почему-то мои документы. Он превозносил и меня, суя недоверчивым свою справку о ранении. Веером раскладывал он на столе почетные грамоты из моего узелка, заодно демонстрируя значки, которые он успел приделать к своей новенькой гимнастерке. Он же заодно мою фотографию на пропуске подменил своею.

Разинув рот и хлопая глазами, смотрел я и слушал, чтоб научиться, но так ничего и не понял: уж очень необразованным был я! Лишь года через полтора понял я, как преотлично орудовал Алеша, объегоривая военкоматских командиров. Великая держава, занимавшая одну шестую часть земной суши, втянула себя в очередную катастрофу и выбиралась из нее увеличением числа людей под ружьем. В валовом, так сказать, исчислении военкомат мог выполнить план, по этому показателю — контингенту людей с винтовками — российское государство прочно занимало первое место в мире, но со штучным же набором испытывались трудности, и быть того не могло, чтоб Москва не взывала панически, требуя особых людей для спецшкол, а таковые парни в зугдидских селениях не водились. Разнарядка же пришла, запрос был, требование на спецконтингент имелось, и оно нашлось в сейфе. Неумолимый майор сдался, машинистка отстучала на официальной бумаге текст, удовлетворивший Алешу: два человека (два!) с прекрасными анкетными данными направлялись в распоряжение сталинградских оперативно-учебных спецкурсов, и Алеша, по которому тюрьма плакала, прикрывался

безупречными документами Филатова Леонида Михайловича, то есть моими.

Я стал щитом его, за моей спиной он прятался, чтоб выскочить из-за нее и вонзиться в того, кто поднимал на нас меч. Больших и скрытых возможностей был красноармеец Алеша, и, заговаривая майору зубы, он отнюдь не преувеличивал свои достоинства. Он скорее преуменьшал их. Он, например, свободно говорил по-немецки. Конечно, половину того, что наплел он майору, нельзя было проверить, но военкоматское начальство рассуждало здраво: стоит ли проверять тех, кого проверят еще не раз в спецшколе? Как выяснилось позднее, руководство спецшколы мыслило в том же стиле: надо ли проверять тех, кто уже неоднократно проверен?

Еще при скамеечном знакомстве Алеша назвал свою фамилию, но так невнятно проговорил ее, что не разберешь: Обриков? Добриков? Ховриков?

«Бобриков», — прочитал я на врученной нам бумаге.

Алексей Петрович Бобриков, запомните это!

Майор проводил нас до крылечка. Он пристроил к войне путавшегося под ногами недоросля, для верности определив к нему опекуном обстрелянного воина. Пятидесятилетний служака, не раз на дню слушавший сводки Совинформбюро, выдал нам воинские требования на проезд в бесплацкартном вагоне (теплушке) и благословил нас на ратные подвиги.

— Вы, ребята, того... в ящик не гикайтесь...

Вечная слава тебе, орденосеиц и трудяга, хлебнувший лиха и в Гражданскую, и на финской. Да святится имя твое, приводить которое не стоит. И все прочие имена собственные и разные наименования будут даны в беллетризованном искажении, в стыдливо-трусливой подмене.

И мы поехали. Оглушенный шумами новой жизни, я напрасно искал в себе мелодию «мананы», она заглохла на многие месяцы. Я отгонял от себя мысль о матери, которая страдает сейчас, читая мое жалкое послание. Я думал об Этери, о вкусе раздавленной губами виноградины. Но не только о ней: я смутно догадывался о том, какой важности для себя решение принимал Алеша Бобриков, когда, сидя на скамеечке рядом с глуповатым малолеткою, то есть со мною, высмотрел в чаще жизни, вдруг ставшей военной, спасительную для себя тропу. Поразительно, с какой легкомысленностью поверил он придурковатому хвастуну и наивному гордецу; не исключено, что, поварившись в госпитальном котле, он унюхал там запах деликатеса, весть об иной, не окопной судьбине, а может быть, и сам здраво рассудил, что такие курсы должны существовать и другого пути, как на такие курсы попасть, ко мне примазавшись, у него нет, потому что к

моменту встречи с зугдидским школяром все его двоюродные и троюродные братья и сестры были уже арестованы и умирали в лагерях, та же судьба постигла отца, мать, дядю и тетю. Лишь позже сорвавшийся в бега Алеша узнал случайно и достоверно, что мать покончила с собой в тюрьме. Отца его не расстреляли, что в некотором смысле почетно, не убили, а — забили палками на лагпункте, о чем Алеше рассказали сами палочники. Встреча с сосунком и нефальшивыми документами вытаскивала Алешу из эшелонно-окопной колеи на путаные стежки-дорожки; ему, много лет жившему под чужими фамилиями, представлялась редкостная возможность легитимизироваться, как бы воскреснуть, он ведь назвался Бобриковым, когда его в июне 1941-го забривали на Украине под грохот немецкой артиллерии. Восстать из пепла — вот что задумал он! А значило это для него чрезвычайно много: он был последним в дворянском роду и обязан был оставить истории документальную повесть о себе. В коловерты войны, в судорогах и суматохе, в месиве людей — только здесь и только в это время можно было придумать себе новую биографию и прилепить ее к настоящей фамилии, которой уже перевалило за триста лет.

Спецкурсы ему сам бог послал. Они вытаскивали его из окопов, где он был одним из многих, где не находилось применения его многообразным способностям.

— Путь к Берлину лежит через Сталинград! — браво сказал Алеша, когда в Ростове мы пересаживались на сталинградский поезд.

Что оказалось верным для всей страны, стало справедливым и для нас.

Удивительные, невероятные приключения выпали на нашу долю, уже на втором году войны я не завидовал более Джиму Хокинсу из «Острова сокровищ», а книгу эту я любил пламенно. Мы повидали потом злодеев много пострашнее старого пирата Сильвера. Мы и в Берлин вошли — правда, уже после капитуляции его. На стене рейхстага мы не расписывались. Алеша не врал, у него были свои счета со столицей Германии. Неделью жили мы в роскошной квартире на Ляйпцигерштрассе, 10, из окон ее хорошо обозревалось Министерство авиации, принадлежала же квартира сбежавшей оперной певице, а прислуживали нам две хористки, какой месяц уже прозябавшие без работы по приказу Геббельса, запретившего театральные увеселения. От голода и страха были они так воздушно-легки, что танцевали на белом рояле. Обе причем ходили нагишом, обе уверяли нас, что за тринадцать лет нацизма и запретов они перестали ощущать себя свободными немками, а сейчас — как бы восстанавливаются, реабилитируются... Одной из них я подарил маузер, то есть зажигалку Алеши, что его обидело.

Вихри враждебные веют над ними. — Алеша учит молокососа Леню жить, показывая дурные примеры. — С цыганенка сдирают кожу. — Их Сталинградская битва. — Великий путь по Волге. — Освоение коровника

Смерчи, тайфуны, торнадо, грозы, кипящие желтыми молниями, — нет, ничего подобного я в небе не видел, но землю как бы искорежили потрясавшие мир звездно-планетарные явления. Я был так напуган, что до Ростова не слезал с верхней полки, опасаясь злодея, что железным крюком вытянет меня в окно.

Направление воздушных потоков, якобы сметающих с лица Земли все живое и неживое, определить было невозможно, и если, понятно, воинские эшелоны везли наскоро одетых и обутых людей на запад, а восток людей манил остаточной тишиной мирного времени, то что гнало семьи в Крым или Донбасс — никому не ведано, странно, таинственно. Весь мир, кажется, был взбаламучен, пернатые, хвостатые и четвероногие метались по все сжимающейся поверхности планеты, ничего не понимая и своими стонами, лаями, клекотами спрашивая у людей: да что же это с вами происходит? Год спустя я имел беседу с волком, на которого натолкнулся, когда — с рацией на спине — километров на двадцать уходил от группы для передачи очень длинного текста. Присел — и увидел серого хищника, который, ничуть не напуганный, придирчиво наблюдал, как растягиваю я антенну и забрасываю ее повыше и подальше. Наблюдательный и чуткий, он не делал ни шагу ко мне, но им же отмеренным расстоянием давал понять: ближе — нельзя. Исстрадавшиеся глаза его спрашивали: да что же это с вами, людьми, происходит, почему растревожен лес? Возможно, много веков назад пращи и палицы двуногих заставили волков подойти к людям и почувствовать радость оттого, что рука человеческая легла на их загривок.

В ту пору на железных дорогах творилось то же, что и во всех военкоматах, где кто рвался на фронт, а кто заполучал отсрочку от призыва, намереваясь отсиживаться в тылу. Тысячи людей набивались в вагоны и ехали на запад, сталкиваясь с убегавшими на восток. Не очень дружелюбно встречали тех и других жители взбаламученных войною городов.

Без Алеши я бы не добрался до Сталинграда. Напористый и хитрый, он в совершенстве знал станционное хозяйство Юга и Востока, подцеплялся к любому эшелону, втискивался в самый удобный вагон, не

доверяя всемогуществу документа, подписанного майором. Найти в скопище людей земляка или родственника — это он умел, закадычные друзья поили нас и кормили, ни минуты не сомневаясь в том, что с Алешей они когда-то провели приятные часы. С украденным котелком бегал я на котлопункты за кашей, великорусский мат, восточная божба и грузинский лай окружали меня, и ни разу меня не турнули, не прищучили и не обшмонали, как выражался Алеша. На моем лице, сказал он, написана полная благонадежность и вера в скорую победу.

Вера эта сильно поколебалась в Ростове, и вовсе не потому, что мимо нас промчались, испуская дурной дух, сразу десять санитарных поездов. Я стал свидетелем необыкновенного явления, на моих глазах произошло омовение черного цыганенка. Его, голого, мать подтянула к бурной и мощной струе водопроводной колонки, подставила под нее и визжащее смуглое тело натирала песком, потому что мыла — догадался я — на третьем месяце войны в стране уже не было, что уж тут говорить о снарядах, патронах и винтовках.

О, как он орал, как извивался этот полюбившийся мне мальчишечка, над которым впервые проводилась водно-песочная экзекуция! Как страдал он!

Десять дней прорывались мы к Сталинграду. Знакомый город удивил меня тишиной и мирным житьем-бытьем. Алеша мог бы найти и здесь подзабытую родню, однако доверился мне. Прямо от вокзала по Рабоче-крестьянской улице пошли мы к станции Сталинград-2, недалеко от которой жили старые друзья отца. Они и дали нам ночевку. Алеша строго предупредил меня: о спецшколе — ни слова! Утром он смотался куда-то, наказав сидеть и ждать, вернулся к вечеру, чрезвычайно озабоченный. Мы простились и ушли в ночь, спрятал меня Алеша на речном вокзале, сам отправился на разведку, новости принес тревожные. Спецкурсы приступили к эвакуации, так никого и не обучив. Погрузка через час, начальник — зверь, берет только годных и нужных, отсеб большой, надо поэтому идти в атаку, не заботясь о тылах.

На пароходик еще не начали сносить ящики и мешки, а мы уже были на нем, прокравшись мимо сонного часового. В носовом кубрике Алеша нашел земляка, из-под Пскова на этот раз, и тот разрешил нам вздремнуть. Но мы не спали. Мы видели, как парни и девушки, еще не одетые в гимнастерки, таскали на себе имущество курсов, и сходня прогибалась под тяжестью их. Белый пар окутал трубу, гнусаво проскрипел гудок. Судно, перегруженное людьми и ящиками, выбралось на середину Волги и поплыло в сторону Горького. Только тогда предстали мы перед

начальником курсов. «Забрали в военкомате!» — отвечал я, когда у меня спросили паспорт (метрику я припрятал). Школьные документы убедили начальника, что мне, бывшему десятикласснику, по крайней мере семнадцать лет. «Восемнадцать!» — было решение начальника: избавиться от нас он уже никак не мог, не выбрасывать же за борт парней, у которых на руках направления из военкомата.

Восемь дней и ночей плыли мы по великой русской реке. Немцы за это время вышли к Ленинграду, охватили Киев, продвинулись к Вязме, отсекли Крым. Ноги не держали меня на палубе, хотелось прыгнуть в воду, доплыть до берега и бежать впереди по-черепаши чапающего парохода. Никто, к моему удивлению, такого желания не испытывал. Очень серьезных, степенных и медлительных людей набрали учить диверсантскому делу, где нужна быстрота, отвага, прыгучесть. Все спали, ели и читали. Кто-то, правда, подал мысль: а не заняться ли теорией? Всех торопящихся одернул начальник: никто не должен знать, кто мы и что находится в заколоченных ящиках!

Эти ящики мы сгрузили в Горьком, машины привезли нас в городишко на границе двух областей. Там было много церквей, два кинотеатра и базар, лес подступал к окраинам этого мирного поселения, а за лесом раскинулись совхозные поля. В недавно отстроенной начальной школе расположилось начальство. Распаковали имущество, в секретных ящиках лежали столярные и плотницкие инструменты. Мы разобрали их и набросились на коровник, который через сутки превратился в казарму. Нас построили: пятьдесят три человека в строю, Алеша был не единственным красноармейцем; уже в Горьком к нам прикрепили бойцов, отозванных с фронта. Будущие учителя наши и наставники сделали перекличку, посоветовались и разбили нас на группы, красноармейцы, ранее принявшие присягу, стали помкомвзводами и приколоты к петличкам треугольники. Хотели было по группам-взводам расселить нас в перестроенном коровнике, но оказалось, девушки (их было девять) требуют особого ухода и специального помещения. Вновь застучали топоры, деля уже раскроенный на комнаты коровник и разгораживая уборную. Умывальники решено было оставить общими.

19 сентября я принял присягу. В этот день немцы взяли Киев, было очень горько. Зачитали приказ о зачислении всех на курсы. Стало известно, что относимся мы к какому-то разведуправлению при Генштабе, но именоваться будем «школой пожарников».

За те недели, пока Этери наигрывала мне «манану», я похудел на два с половиною килограмма и, волею начальства, повзрослел на два, то есть на

три года, став восемнадцатилетним, что и отмечено было в моих документах. Оправдывая щедрость руководства, я старался быть старше своих настоящих лет, но так и не научился пить и курить.

Прыжки, бег, стрельба, морзянка — мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь... — Предательство Алеши. — Первое знакомство с женской плотью. — Д'Артаньян присматривается к маршальскому жезлу: Леонид Михайлович Филатов — уже младший сержант

Жадно и пылко набросился я на учебу, радуя наставников. Я метался между ними, не зная, кому отдать предпочтение и чему посвятить свободные от занятий часы. Одно время я увлекся минами, освоил несколько типов, проник, мне казалось, в таинства взрывателей всех конструкций, но истинное наслаждение получил я от прыжков с парашютом, радость доставлял сам процесс раскладки его на брезенте, я любовно прощупывал каждую стропу и зорко следил за помогающим мне напарником. «Р-5» и «У-2» — с них падали вниз, я полюбил эти верткие самолетики. Приходилось прыгать с парашютами разных типов: ПД-41, ПД-6. Приземление скоротечное, прыгали, не защелкивая карабина на тросике, да я еще гордо отказался от приспособления, которое инструктор называл соской и которое так подвязывало правую руку к вытяжному кольцу, что оно выдергивалось как бы само собой. «У меня три прыжка!» — напомнил я в запальчивом гневе, на что выпускающий инструктор заметил добродушно: «Там разберемся...» Провалившись в бездонную свободу, выгнув спину, падал я, ощущая власть над собою, небом и черными людишками на заснеженном поле, над общей площадкой приземления. Птицею, пикирующей на врага, летел я к цели, а потом стал добычею когтей парашютных строп. Приближалась земля, отдаляя сладостный миг, пережитый минутами раньше, когда ни под ногами, ни в руке не ощущалась опора. Свистящий ветер напевал мне «манану», и последним аккордом ее был удар земли о мои ноги. Восхищенный собою, я не стал ссориться с инструктором и согласился с тем, что первый парашютный прыжок был совершен мною 25 октября 1941 года, о чем и была сделана запись. С полным правом носился теперь на моей гимнастерке значок парашютиста. Некоторые мастера этого спорта прикрепляли к значку металлическую пластинку с цифрами — количеством прыжков, и я надеялся, что к концу войны у меня их будет «15», «20», а то и больше, до Берлина ведь — тысячи километров, десятки десантирований в тыл. Своими расчетами я поделился с инструктором по радио, и специалист по работе на ключе поставил передо мной задачу:

стать непревзойденным радистом! В таких острая нужда. Треть всех радистов гибла сразу же после приземления или до него, треть неизвестно куда пропадала, едва успев отправить единственную шифровку. Остальные всего месяц-другой выходили на связь, чтоб затем умолкнуть навсегда. Признания инструктора только подстегнули меня, я весь отдался радиоделу и на тот случай, когда буду ранен, научился и левой рукой отбивать на ключе морзянку.

Бег я полюбил еще с детства, я занимался им и в Сталинграде, и после него. За три недели скитаний по железным и водным дорогам страны тело мое изныло от желания ускоренно передвигаться и усиленно дышать. Вставал я на курсах за сорок минут до подъема и к началу общей физзарядки (от нее меня освободили) трижды обегал — под дождем, снегом или солнцем — лесок. Насыщенный кислородом и мечтами воздух прокачивался через легкие, свежая кровь промывала организм, я бежал как бы впереди себя, и каждый пружинящий шаг сбрасывал с меня беды и скверны минувших суток. Временами чудилась «манана» и гнусавая просьба флейты не забывать селение, которое защищало уже двенадцать мужчин, и я в том славном числе. В день присяги я написал матери и Этери, ответ пришел не сразу. Мною гордились, в один голос мать и Этери сообщали мне о дяде Гиви и тете Нино, о том, сколько винограда собрано (цифры зачеркнула цензура). Делая круг и возвращаясь к исходной точке бега, я намеренно сбивал дыхание, чтобы восстановить его через минуту, и в таком же рваном ритме мелькали передо мной картины предрекаемого будущего: автоматная очередь, косящая врагов, генерал, вручающий мне орден, изловленный мною Гитлер, — и я уже не бежал, а летел над землею с восхитительным ощущением свободы.

И Алешу я видел перед собою — где-то рядом, вместе со мной косящего немцев и с таким же, как у меня, орденом. Ему великодушно просталась измена.

Да, Алеша меня предал!

Еще не начали перестраивать коровник, а мой друг и верный товарищ забыл, с кем сидел он на скамейке 28 августа, кого привел он в гомон военкомата, с кем делил вагонную полку. Что парень он компанейский — это я знал и видел, но никак не ожидал такого грубого разрыва. Я стал для него одним из тех, кого судьба случайно объединила под крышею казармы. Он переметнулся в другую группу, он дружил сразу со всеми, ни словом, ни жестом не выделяя меня. А я страдал, мне было больно, я полюбил и я уважал красноармейца Алешу, интересного и загадочного, из незнакомого мира пришедшего ко мне, умевшего прикидываться туляком, костромичом

или украинцем, скорого на руку и быстрого в речи, справного и ладного. От Алеши протягивались какие-то дополнительные ниточки к Этери, которой я уже написал о друге и которого она заочно полюбила.

Горько мне было, очень горько, и все же верилось: будем мы вместе и генерал обоим пожмет руку, поздравляя с успехом.

Вера укрепилась, когда во второй половине ноября Алеша поймал меня в Ленинском уголке и в самое ухо прочитал суровое наставление. Он не оправдывался, он во всем винил меня, слишком юного для того, чтоб понимать нависшую над нами угрозу. Неужели, грозно спросил он, я не вижу, как происходит отбор курсантов на задания? Кого из нескольких десятков выуживают недоверчивые командиры из Генштаба? Младенцу ясно, прошипел Алеша, что сдружившихся на курсах ребят обязательно разлучат!

Он прав был, мой дальновидный друг. С начала ноября на курсах стали появляться те, кого мы шутливо называли работодателями. Вместе с инструкторами решали они, кого брать на фронт в ближнюю разведку, а кого посылать за линию фронта. Совещались тайно, оставляя нас в неведении. И кое-кого увозили с собою. Ни скромных проводов, ни словечка после ужина, ни адресочка на память: девчата и парни, с кем вчера еще ходил на увольнение в город, ночью исчезали. Их тихо будили, они ни о чем не спрашивали, забирали из тумбочки полотенце и мыло, скатывали матрац — и утром пустая койка напоминала о том, что нас ждет. И Алеша подметил правильно: не ценили юношескую дружбу командиры из Разведуправления! А если парень и девушка сидят часто рядышком на скамье, когда крутили кино, то разлуку им инструктора обеспечат!

Почему — об этом догадался Алеша:

— Потому, что друзьям или влюбленным легче сговориться на нехорошее. А малознакомые или чужие будут друг за другом следить. Понимать надо, Леня.

Учебу на курсах Алеша считал никудышной. Лес, куда нас возили на ориентирование, исхоженный, патроны на стрельбище дают по счету, разоружать мины не позволяют, организацию немецкой армии мы не знаем, допрашивать пленных не учат, с приемами ближнего боя только знакомят. Вывод один, заключал Алеша: самим добираться до сути, именно самим, потому что инструкторы обо всем докладывают начальству и косятся на всякое рвение.

Суровый нагоняй, учиненный мне в Ленинском уголке, пошел на пользу. Я написал Этери, что Алеша мне уже не друг, и старался не попадаться ему на глаза. При редких же встречах мы обменивались

многозначительными взглядами, поднимая незаметно кверху большой палец. Мы верили, что попадем в ту группу, что полетит в немецкий тыл, и что наступит день, когда поверженный Берлин будет под нашими ногами.

Я продолжал бегать, и в скором времени ко мне присоединилась Таня. Дневальный будил ее, она выбегала вслед за мною на чернеющую дорогу (снег лежал на полях) и держалась за спиною минуту или две, а потом отставала; организм ее, до войны трусивший мелким хозяйственным шагом, явно уступал моему, закаленному и натренированному, но Таня, наверстывая упущенное, крепла с каждой пробежкой и выполняла уже норму ГТО. Раньше я девушку эту не замечал, ни с кем она не дружила и не пыталась учить нас вдевать нитку в иголку. Однажды увидел ее в городе — она с руки, как птенца, кормила зареванного мальчугана. Еще до морозов всех девчат свели в одну группу, они часами сидели у раций, сутулясь и не поднимая глаз. Позвоночник, наверное, кривился, спина затекала — этим я объяснял тягу Тани к бегу. Группы строились на физзарядку, когда кончалась наша ежеутренняя пробежка, и мы расходились умываться. Воду привозили в бочках, ее всегда не хватало, не раз мы оказывались рядом, и с некоторым удивлением я посматривал на ноги Тани. Была она выше меня ростом, на сантиметр или два, крупнее. Что бедра ее более развиты и объемнее — это понятно, четырехглавые мышцы у мужчин и женщин, знал я из анатомии, устроены по-разному, но икроножные мышцы-то бегунов и бегуний — одинаковые, должны рельефно выделяться, но у Тани, которая весила больше меня, их, этих икроножных, будто не было вовсе, ноги тоненькие, как у Этери, и как могли нести они на себе массивную фигуру моющейся справа от меня девушки? Спрашивать я не решался и однажды, не вытерпев, стал прощупывать Танины конечности. Больно ударив меня по рукам, вся покраснев, она сказала, что не ожидала от меня такого хамства и еще до утреннего построения доложит начальнику курсов о моем недостойном поведении. Не сразу понял я, в чем обвинен, а потом признался, что именно интересовало меня. Из долгого взгляда Тани убрались колючки, она подумала и заявила наконец, что слова свои берет обратно и докладывать не станет, потому что верит в мою искренность. В знак полного доверия ко мне она сама протянула ногу и несколько раз согнула ее в голеностопном суставе. В ответ я предложил ей охватить ладонями мои бицепсы. Так мы и подружились. Однажды мы побежали рядом, и Таня сказала, что война кончится не скоро, что ей обязательно надо вернуться с войны живой и здоровой, потому что мать ее совсем слабенькая, а братику всего семь лет, но чтоб выжить и победить, мало удачи, нужна жестокость, прежде всего — к себе, нельзя в эти страшные

месяцы позволять то, что до нападения немцев разрешали себе миллионы людей. От жестокости к себе и своим появится и ненависть к немцам — такую мысль внушала она мне, и я был полностью с нею согласен.

Пустели койки в казарме, ряды наши редели, чтоб пополниться, привозили ребят и парней в гражданском платье, приезжали и красноармейцы, и как-то утром я не увидел Тани, дневальный же ткнул пальцем в ту сторону, где — по сводкам — громыхали сражения. Мне стало грустно. Падал редкий снег, парный след оставили на дороге полозья саней, увозивших Таню на войну.

Наступала и наша очередь. Алеша все рассчитал точно: воевать мы будем вместе, это уже решило начальство. Каждую ночь я ждал толчка дневального, но судьба распорядилась иначе. Меня и Алешу задержали на курсах, мы подменили посланных на задание инструкторов, новый набор едва уместился в коровнике, я учил парней и девушек бегать на лыжах, развинчивать немецкие мины, стрелять навскидку. Учебные планы стали нацеленными и жесткими. Немцев под Москвой разгромили, и вместе с радостью вошло опасение: а вдруг без нас победят? Не победят, решил я, потому что прикинул: если в одном большом сражении не разгромили немцев, то сколько же их надо для окончательной победы?

Дружба наша еще более окрепла после дежурств на станции. В помощь патрулям НКВД курсы ежедневно посылали на станцию подмогу, очень часто выбор падал на меня и Алешу. Ни одного шпиона мы, грустно признаться, не поймали, но Алеша научил меня с одного взгляда определять человека: кто он и куда путь держит.

Настал торжественный день. Мне и Алеше присвоили воинские звания младших сержантов. О треугольничках в петлицах я написал Этери и матери, их ответом была посылка. Я гордился собой. Докладывая о себе по уставу, я комкал не такое уж обязательное слово «младший». И звонко выпаливал: «...сержант Филатов по вашему приказанию прибыл!»

Увлечение музыкой. — Наконец-то — на фронт! — Мужественный командир Калтыгин учит их военному делу. — Полковник Костенецкий, исходя из высших государственных интересов, посылает необученный молодежь на верную смерть

Еще в октябре через город прокатилась волна малодушно отступавших москвичей, и нам достались инструменты какого-то спешившего на Урал ансамбля. Часть их перенесли в Ленинский уголок, и я, неделю потерпев аккордеон, начал сносно играть на нем. Столько же времени ушло на пианино, балалайка же забренчала у меня с первого щипка. На рынке был выменян за три пачки махорки учебник музыки профессора Павлюченко, нотную грамоту я освоил быстро, ухо научилось беспокоиться, а потом страдать от наглости звука, искажавшего лад. Такие же слуховые неудобства испытывал я, когда на общих собраниях начальство превозносило, в назидание и подражание, подвиги «славного советского разведчика товарища К.». Во всех повествованиях о нем ощущалась фальшь. Своими сомнениями я поделился с одним инструктором, и тот поддержал меня.

— Что верно, то верно, — сказал он раздумчиво. — Вот хвалят его за то, как он, окруженный в путевой будке, вырвался все-таки. А кто, спрашивается, звал его в эту будку? Ведь нельзя же задерживаться у железнодорожной колеи! Немцы патрулируют вдоль и поперек, на особо важных участках охраняют перегоны бронетранспортерами, а он... Нет, так нельзя. Не позавидуешь боевым друзьям этого героя. На собственную задницу ищут приключений.

Грубовато, конечно, но справедливо. Тем более что сам «товарищ К.» благополучно выскакивал из всех капканов, чего нельзя было сказать (и об этом не говорилось!) о его подчиненных.

Так и запомнил я фальшивящий звук «ре минор», почему-то объединенный с «товарищем К.».

Сидеть в тылу было стыдно, не раз и не два писали мы рапорты. Уже гибли те, с кем ходили на стрельбище, пополнение на курсы прибывало и убывало, и я не знал, что писать Этери, у которой пропали без вести два племянника и двоюродный дядя. Наконец начальство намекнуло: скоро, скоро, завтра или послезавтра. К весне таинственность ночных исчезновений улетучилась, потому что техник-интендант, выдававший

приданое, то есть малопоношенное обмундирование для дороги и фронта, загодя узнавал, кого снаряжать в дальний путь, и приносил отобранным курсантам груды одежды на примерку да связку сапог, сдергивая с матраца простыню и освобождая наволочку от подушки. Все на курсах знали поэтому, кто не выбежит на физзарядку и не пойдет в столовую на завтрак.

День прошел, другой, неделя, а мы продолжали спать на простынях. Победное шествие к Берлину началось — этот день я запомнил — 10 марта. Алеша разбудил меня ночью, рядом с ним стоял инструктор, на отрешенном и белом лице его синели глаза, от сини все зеленое казалось черным. Нас накормили. Я заглянул в Ленинский уголок и прикоснулся пальцами к желтеющим клавишам пианино. Инструмент был таким чутким, что от одного касания рождался звук многоголосого гудения толпы немых. (Никогда я не пробовал подбирать на инструменте «манану», эту мелодию я носил в себе, как тайну, и я знал, что через всю войну пронесу ее.)

Сухой паек на трое суток, красноармейские книжки, предписание следовать до станции Горюхино в распоряжение командира в/ч номер такой-то... «Не подводите!» — сказал на прощание начальник курсов. Луна и звезды освещали наш путь, полуторка подвезла нас к свердловскому поезду.

Солнце было за нашей спиной, когда мы вышли на площадь у трех вокзалов. Трижды проверялись патрулями наши документы, я торопил Алешу: пора, пора на поезд! Опять темный ночной вагон, матерщина и чей-то истошный крик со слезами и проклятьями. На станции Горюхино в несметном количестве сидели на снегу раненые, ожидая вагонов. Никто ничего не знал и о нужной нам в/ч не слышал. Наш путь лежал к Берлину, мы пошли поэтому в сторону падающего солнца. Каждый шаг приближал нас к победе, я был уверен: погибну героически, но так погибну, что останусь в живых!

Заночевали в избе, в пяти километрах от пункта назначения. И опять вставало солнце. Дорога вела через заснеженное поле, в шинели было жарко. Из-за косогора поднялись скворечники поселка с немаловажным военно-штабным значением, потому что с вечера — мы подсчитали — в его сторону прошло двенадцать мотоциклов и девять легковых машин. По количеству шинелей у двухэтажного дома мы догадались, что подошли к штабу. Нас привели к майору, ехидному толстячку, который перед разговором с нами снял нарукавники, те самые, что у всех бухгалтеров, обтиравших локтями столы. Нас дотошно расспросили, майор позвал на помощь двух капитанов, те, перебивая нарочно друг друга, задавали нам

подчас глупые вопросы. Осведомились наконец, сыты ли мы. Позвонили куда-то и сказали, что полковник Костенецкий в отлучке, с нами он побеседует послезавтра. А сейчас (капитаны хмыкнули) придет наш непосредственный начальник старший лейтенант Калтыгин Григорий Иванович, ему мы обязаны подчиняться, по всем вопросам обращаться только к нему или через него, отныне он для нас — царь, бог, воинский начальник, он выше командующего армией, и нам повезло, очень повезло, мы будем воевать под знаменами Григория Ивановича Калтыгина, который ждет нас не дождется, он мечтал о таких, как младшие сержанты Бобриков и Филатов, мечтал!.. (В хвалебном пассаже ухо мое уловило неверную нотку, не укрылась она и от Алеши, он легонечко толкнул меня локтем в бок: бди!)

Мы ждали. Того, с кем придется прыгать с парашютом, пролезать через минные поля, ходить по немецким тылам и добывать свежие, ценные и самые правильные разведданные.

Темная исполинская фигура мелькнула за окнами, потом кто-то проутюжил сапогами приступки, счищая грязь, и бухнула дверь. Вошел командир без шинели, гимнастерка в ремнях, портупея, два ордена — Красной Звезды и Красного Знамени, пистолет в кобуре, руки длинные, до колен, как у гориллы.

— Калтыгин, по вашему приказанию... — доложил он, не прикладывая руку к фуражке и тоном показывая, что только по случаю он здесь, заглянул сюда не во исполнение приказа.

— Пополнение получай, Григорий Иванович. Подучи сержантов. И готовься к заданию. Вся группа в сборе. Мы для тебя специально отобрали самых лучших.

Старший лейтенант Калтыгин глянул в нашу сторону, но так нас и не увидел. Чему удивился и поднял глаза к потолку, уж не к нему ли прилипло пополнение? Пожал плечами: где, мол, пополнение-то?

Оскорбленные, мы во все глаза смотрели на майора, ища в нем заступника. А тот приказал нам выйти. Долго беседовал с Калтыгиным. Мы ждали покорно, в душе нарастала досада. Нет, не ожидали мы такого приема!

Бухнула дверь, заскрипело крыльцо. Калтыгин протопал мимо нас, обдав меня и Алешу жаром неостывшего гнева, но дав знак следовать за ним. Гусятами за гусыней топали мы по грязи за грубым старшим лейтенантом, который привел нас в бревенчатое строение, когда-то бывшее школой. На стене комнаты кособоко висела доска, нагроможденные друг на друга парты упирались в потолок. Калтыгин повернулся к нам, разительно

изменившись. Само добродушие смотрело на нас, заботливость и надежда, что он, бывалый командир, не осрамится перед еще более бывалыми сержантами, хоть они и младшие.

— Орлы!.. Вот мы и вместе!.. — произнес он с глубочайшей радостью. — Кровь из носу — так я сказал себе, когда узнал, что готовят в тылу двух настоящих разведчиков... Кровь из носу, но затребую их для себя, потому что не могу без них, не могу! Воевать так воевать, как говорил Наполеон. А повоевать нам придется на всю катушку...

Он изливал вовсе не казенные слова... А мы таращили на него глаза! Росту Григорий Иванович был, нам казалось, за два метра, и сила в нем угадывалась колоссальная, в скрипе новенького командирского ремня чудилось постанывание мышц в неутоляемой жажде прыжка, работы, напряжения, удара, которым Калтыгин мог прихлопнуть барана. Григорий Иванович не стоял, а был водружен на землю, он раскачал бы ее, пожалуй. Атлант, что и говорить. Небосвод раздался бы вширь под напором его широченных плеч, а для замера объема легких Калтыгина требовался не спирометр, а цистерна. Оставалось загадкой, как мог мужчина такой комплекции ужом вилять по немецким тылам. (Когда ослепление наше прошло, мы более трезво оценили нашего командира: рост 178 сантиметров, вес 92 килограмма.)

— ...и мамашу родную забудьте до конца войны, и батька родного тоже, — проникновенно продолжал Григорий Иванович, задушевно рокоча. — Я ваша мамка таперича, я! И отец заодно! А вы — сынки мои!

Речь его оборвалась, потому что в комнату вошел странно одетый товарищ: галифе из серо-стального коверкота, такая же гимнастерка, на ней — ни единого знака различия, но от начищенных хромовых сапог исходило сияние, наводящее на мысль о шпалах или даже ромбах в петлицах. Правда, примышляемое воинское звание понизилось, когда вошедший суетливо задвигался по комнате, неизвестно что ища, да и прическа была чересчур вольной: чуб с казацким забросом.

— Гриша, ты чего пристаешь к юношам?.. Да не страшай ты их! Обогрей, накорми, напои. Ребята они справные, я тебе говорю...

Григорий Иванович корпусом развернулся к товарищу в коверкоте и хrome. Речь его лишилась пафоса и напевности.

— Справным был конь у моего деда Онуфрия, и того цыгане умыкнули... Прислали, понимаешь, пополнение, молоко на губах не обсохло. — Жестокая обида звучала в голосе. — От мамкиной титьки с ревом отрывали желторотиков. Как мог, отпихивался от таких подчиненных... Цацы пионерские. Свалились на мою грешную голову. И

спихнуть их некому, кому нужна мелюзга эта. Сопли, что ли, подтирать им, а?

Постреляв узенькими глазками по углам, партам и нашим сапогам, человек удалился. Мы, обиженные, пылали возмущением, но защищать себя не решались. Молчали. Тем не менее Григорий Иванович просипел:

— Р-разговорчики — отставить!

Сменив затем гнев на милость, он без кривляний в голосе поинтересовался: сыты? мыты? что пишут родные? аттестаты где?

Нас поставили на все виды довольствия, а в бане мы могли повторить то, что сделал с нами Григорий Иванович: выскочили голыми на мороз и полезли в снег, совершив оздоровительную процедуру. Третий Алеша армейские порядки знал и поведение командира нашего объяснял так: человек он, старший лейтенант Калтыгин, с норовом, службу понимает, а тот, кто в коверкоте и хроме, определенно из органов, вот ему и нагородил чушь Григорий Иванович.

Жить в школе нам не разрешили, отвели в дом неподалеку, хозяйке строго наказали: больше никого не пускать. До линии фронта — шестьдесят километров, до штаба — десять, фамилия майора — Лукашин, он — из разведбатальона, капитаны приезжают и уезжают, а Лукашин сидит в поселке Крындино и первым выслушивает рассказы тех, кто возвращается с заданий. Хороший поселок с хорошим названием: им мы всегда потом называли штабы фронтов и армий, что неумолимо передвигались на запад. И во всех Крындиных старший — майор Лукашин. Он и определяет, кого куда посылать, где переходить линию фронта. Бомб на Крындино не сбрасывали, снаряды сюда не долетали. На всех фронтах шли упорные бои, каждый день гибли тысячи, лишь в Крындине не было ни одного убитого, зато живые могли повергнуть в тяжкие раздумья. Под вечер первого дня нашей новой службы из полуторки выкинулись двое бойцов, приземлились у крылечка школы, один из них так бурно, даже буйно хохотал, что уняли его выстрелом под ноги. Немедленно прибежал майор Лукашин, стыдить помешанного не стал, а что-то тихо сказал ему на ухо. И сумасшедший увял, умолк, испугался, его обыскали, вытащили гранату, повели в баню... Станный, очень странный народ прибывал в Крындино! Группами по два-три человека, кто в бинтах, кто в такой степени изнеможения, что, даже выпавшись и откормившись, они, бойцы эти, проявляли тупое безразличие: им бы расположиться в избе да поспать, так нет — валились у крыльца, что-то жевали, смотрели на солнышко. Кое-кто до Крындина не добирался, застревал в частях на передовой, их разыскивал сам Костенецкий, почему и не спешил осматривать нас и

определять, на что мы способны.

Утренний бег освобождал меня от мыслей о грядущих неудачах, Алеша тоже не сникал, принося очень неутешительные сведения о старшем лейтенанте Калтыгине. Видимо, это о нем славословили на курсах, когда ставили всем в пример «товарища К.». Немного разговаривал бы Алеша, так ловко умел он слушать и не верить; очень подвижное лицо его всегда выражало то, что хотел услышать собеседник.

Калтыгину не везло, «товарищу К.» удача не сопутствовала — такая горькая молва окутала нас. Вся группа его погибла в феврале при переходе через линию фронта, а ребята были опытными, умели заправски пересекать нейтралку и просачиваться сквозь немецкие окопы. Две недели же назад, тоже при возвращении к своим, Калтыгин с двумя разведчиками попал в засаду. Старшему лейтенанту грозило понижение, его могли отправить в дивизию, на передовую, сидеть у стереотрубы или по ночам притаскивать «языков», то есть заниматься работой, не соответствующей квалификации разведчика его масштаба.

Судьба обидела меня, с самого начала службы не обкатав придирками человека, которого каждый военнослужащий вспоминает, восхищаясь им и проклиная его. Имя этого человека — старшина. Это кривоногое, въедливое и туповатое существо с треугольничками в петлицах уставом вознесено над мало-мальски думающими честными людьми, которых он третирует, злит, обманывает, дурачит и веселит неумением говорить по-русски. Обкатанный Алеша хамство Калтыгина признавал нормою, ни уши, ни щеки его не краснели от глупостей отца командира, я же терзался жестокой обидой. Потом уж полюбил я Григория Ивановича, дурного и самолюбивого, хитрого и щедрого, и любовь эту ощутил — до боли в сердце — в какой-то, не помню, день осени 1944 года. Я просыпаюсь в кузове «студебеккера», ногами к заднему борту, угасающая осень, небо я вижу в обрезанном овале, оно — на переходе от серости к голубизне; так туго натянут брезент, что ухо различает попискивание воздуха, трущегося о него; Алеши еще нет, его и меня третьи сутки таскают на допросы к нашему московскому опекуну, меня отпустили три часа назад, вот-вот отпустят и Алешу; черная фигура его переваливается через борт, Алеша находит меня холодной рукою, ложится рядом, набрасывает на головы наши плащ-накидку, зубы его стучат, Алеша шепчет: «Гришке — каюк!.. Гришку — под нож! И нам всем крышка!» Вот тогда-то и почувствовал я любовь к отцу нашему, командиру и благодетелю, тому, кто меня и Алешу втапывал в грязь, вечно скуля и жалуясь Лукашину и Костенецкому на приданных ему «пацанов». Но он же и грудью защищал нас и от немцев, и

от того же Костенецкого, и от московского Начальника нашего. Он, бывало, униженно просил о снисхождении, тут же гордо отвергая нашу помощь, к чему мы привыкли, потому что при всех шараханьях Калтыгина, при всех его отступах вправо и влево генеральной линии своей жизни он не изменял, следовал ей неукоснительно... (Да никакой линии вообще не было, а всего-то, сообразил я позднее, — знаменитый русский национальный характер, растрясенный революцией и собранный воедино руководящими указаниями начальства, повсеместного и всепроникающего!) В Крындине, пинаемый Калтыгиным, стал я думать, учился размышлять, вглядывался в Григория Ивановича и людей, нас окружавших, мог бы многому не удивляться и привыкнуть к тому, что удары по тебе наносятся и сзади, и тем не менее как громом поражен был, когда в мае 1943 года предали меня — и Алеша, и Григорий Иванович. Мог бы и в апреле 1942-го, там, в Крындине, догадаться, что и Костенецкий предаст всех нас троих, отправляя на верную смерть.

Но в марте полковник не торопился увидеть нас. Лукашин прикрикнул на Калтыгина, и Григорий Иванович взялся за дело. Для начала он разжаловал нас, мы убрали из петлиц треугольнички, ходили в стираном рванье и дырявых шинелях. За школою рос могучий, поцарапанный осколками дуб, на него мы забирались и поочередно, навьюченные и увешанные оружием, прыгали на землю с пятиметровой высоты, и развалившийся на солнышке Калтыгин отпускал язвительные шуточки, слух у него оказался острым, звяканье металла, рассованного по карманам, не только улавливал, но и указывал, где что неверно лежит.

— Не на бабу прыгаешь! — орал он. — На землю! Кормилицу и спасительницу!

Пот заливал глаза, волосы под каскою мокрые, мы прыгали и вновь забирались на дуб, добиваясь бесшумного приземления. Когда не к чему было придраться, Григорий Иванович изрекал пошлости о предметах в мошонке. Пистолет, нож, автомат, гранаты, диски, обоймы, рация, паек — все это прилипало к нам вместе с кожей, мы научились держать на себе гремящие и стесняющие движения предметы, перемещать беззвучно и быстро невесомое тело свое в любом направлении, броском, пулею, ножом или кулаком опережать устремленного на тебя немца.

Очень грамотный Алеша сказал мне, что наш командир знаком с методом Станиславского, учением Павлова и Уставом караульной службы. По сведениям Алеши, Григорий Иванович кончил еще до войны добротные разведкурсы. Навыки бесшумного проникновения отрабатывались нами и в лесу, там еще лежал снег, встречались и мины. Трудились мы безропотно,

учились жадно, захлеб, и Григорий Иванович оттаял, вернул нам знаки воинского различия.

Паек мы отдавали хозяйке, она нас и кормила, Алеша бегал с котелком на кухню к радистам, Лукашин дважды ловил его и распекал за жадность. Наконец было получено задание, с ним ознакомили только Калтыгина, и то лишь усеченно, не сказано было, когда, где и кого. «За языком пойдем!» — объявил Григорий Иванович.

Еще неделю готовились мы, Григорий Иванович не мог не похваливать нас, мы очень старались, прыгали с парашютом ночью, метали ножи точно в цель, согласованно передвигались в лесу, умели слушать птиц и деревья, наловчились бесшумно, быстро и бережно укладывать пленяемого на землю, оглушив его и ослепив. Тем не менее от Лукашина мы знали, что Калтыгин жалуется на нас, и весьма обоснованно. Мы никак не вписывались в его расчеты. Я, к примеру, на радиста группы не тянул, в радистах у Калтыгина ходили обычно невзрачные худосочные девушки, он вообще предпочитал держать рацию отдельно от группы, прятать радиста на хуторах или в лесной глуши. Дальнюю разведку поручал он придурковатому на вид мужичку, и Алеша вполне годился на эту роль, мне же еще предстояла нудная и долгая учеба на хваткого молодца с отличной диверсионной подготовкой.

Однажды утром после завтрака сидели на крылечке и гадали, что придумает на сегодня куда-то убежавший Калтыгин, какую науку преподаст и много ли будет материться. Спасая легкие от Алешиной самокрутки, ушел я к зеленеющим яблоням и проморгал момент, когда к избе подъехал «виллис» с Лукашиным и Костенецким. Вошел в избу — а там оба командира слушали, развесив уши, вранье Алексея Бобрикова. Еще на курсах я понял, что биография моего друга — темна и загадочна, но что уличить его во лжи — невозможно: Одесса, откуда Бобриков, под немцами, а Стрыйский военкомат, призвавший его, разбомблен и сожжен, — попробуй проверь, пошли запрос. Появился я вовремя, избавил Алешу от вранья, переключились на меня: чему обучался на курсах, что пишут родные, нет ли жалоб на Калтыгина. Крестьянская изба, две лавки, между ними стол, два младших сержанта, майор и полковник, — так сидели, так за вопросом следовал ответ, дневной свет слепил, Костенецкий казался черным, смотреть на себя он не позволял, под взглядом и словами его глаза мои опускались все ниже и ниже, но уши-то — не отведешь в сторону, встревоженный слух мой нотно записывал речитатив и провальное молчание оркестра, то есть Алеши и Лукашина, которые, будто воды в рот набрали, как-то выжидательно безмолвствовали, словно пригнулись перед

близким взрывом. Отвечал я быстро, паузы между вопросами затягивались, и наступил момент, когда не поймешь, тишина это или грохот. Резко поднялся Костенецкий, блеснула золоченая оправка его очков, потом пугающе странный взгляд Лукашина — и бухнула дверь, забила крыльями курица в сенях, мы увидели отъезжающий «виллис», переглянулись, и вдруг забежавший по избе Алеша сказал то, что я боялся услышать:

— И-эх!.. Он похоронку на нас готовит!.. Ты понял, понял это, Леня? Не-ет! Не получится! Мы с тобой придем в Берлин, придем! И не с черного холопского входа, а — пар-радные двери р-разобьем!

Наступал день и час первого рейда по тылам немцев, то есть начиналась та работа, к которой нас готовили, брезжил рассвет новой жизни, и я очень волновался. Точно так, как в утро, когда меня повели в первый класс. Наверное, схожие чувства испытывали юноши, под ручкой с девушкой идущие в загс, или парень, впервые допущенный к станку. Несколько раз пробуждался я во сне, растревоженный неясными видениями будущего похода за языком. Но старшие товарищи давали мне пример мужества: Алеша жарко спорил с хозяйкой из-за какой-то поломанной штакетницы, а наш командир Григорий Иванович, падкий на чернявеньких и смуглявеньких (как, впрочем, и на белявеньких), пристроился к новой поварихе не без пользы для вечно голодного Алеши. А я уединялся в шалашике, где наигрывал на губной гармонике. Здесь меня посетил верный друг Алеша. Чтоб не загоревали мать и Этери, получив похоронку, я дал клятву себе и ему — вернусь, выполню приказ полковника и не погибну при этом. Поклялся и Алеша, но не указал, кого он не хочет опечаливать.

Что-то изменилось в планах Костенецкого, самолет отменился, нас повезли на передний край. Несколько часов сидели мы, привыкая к фронтовым шумам, в окопах. Ужасное впечатление произвели они на меня! Красноармейцы и командиры чуть ли не под себя опорожняли кишечник и мочевой пузырь, потому что пройти до отведенного под сортир окопчика было небезопасно. Я страдал, но не настолько, чтоб не вслушиваться в тишину нейтралки. Ночью мы куда-то поползли, просачиваясь через оборону немцев, я ужом вился вторым, глаз не сводя с виляющих и брыкающих пяток Григория Ивановича, почти впритык, а когда встали, то — в ночном лесу — замыкал группу. Калтыгин — если не врал — в девятнадцатый раз пересекал линию фронта, все ему было знакомо и привычно, нам же казалось, что немцы идут или ползут за нами, стерегут справа, слева и впереди. Когда рассветало, когда небо засияло над верхушками деревьев, залегли у дороги и перебежали ее, слыша где-то справа голоса немцев. Григорий Иванович преподал нам еще один

полезный урок, избавил от страха простейшим приемом. Сел, снял сапог и стал перематывать портянку, медленно и вдумчиво. Вполголоса выругался, пообещав набить морду кому-то из тех, кто в Крындине ведал портянками и сапогами. Потом улыбнулся нам — несколько виновато... Мы глубоко вздохнули и выдохнули, тяжелый и давящий страх отпал, отделился, вспорхнул и улетел. А немцы, если вслушаться, шли не окружать нас, а дурашливо аukaлись. У Григория Ивановича был большой соблазн дать нам, то есть мне и Алеше, на растерзание какого-нибудь приبلудного немца, то есть научить нас не бояться мертвых и присутствовать при таинственном процессе превращения живого человека в неживого. Педагог все-таки, воин, мастер, дававший подмастерьям легкую поначалу работу, чтоб те свыкались. Да, был такой соблазн, но благоразумие взяло верх: немец, пропавший на виду немцев, — это уже переполох, по нашему следу пошли бы.

Два ночных перехода — и мы были у цели, в пяти километрах от аэродрома, на который нацелились. Григорий Иванович, педагог и психолог, был для нас уже богом, с большой и малой буквы. Руки его еще тянулись к куреву, а мы уже подскакивали к нему с двух сторон, Алеша чиркал зажигалкой, а я отрывал из курительного пакетика листок и не обижался, когда отец командир изрекал пошлятину.

— Да, Ленечка, да, — говорил он мне. — Скоро и ты примешь боевое крещение! На бабу залезешь!

Драма на болоте. — Позорное возвращение и арест. — Делегат связи Любарка. — «Кантулия», 17 прыжков и 8 немцев. — Григорий Иванович Калтыгин — капитан!

Представлялось так: подгоняя взятого нами немца (не тащить же фашиста на себе!), мы затемно приближаемся к указанному ранее участку фронта, ползем к нейтральной полосе, встречаем там нетерпеливо ждущих нас бойцов из дивизионной разведки, благополучно попадаем в свои окопы, Костенецкий и Лукашин обнимают нас, после чего мы с почетом въезжаем в Крындино, где приветливо дымится банька.

Так бы, наверное, и произошло, не сплестись обстоятельства иначе, в такой невероятный узел, что распутать его не сумели в штабе фронта, да я и сам не могу до сих пор разобраться, складывая кубики, на которых нарисованы эпизоды нашего первого дальнего похода за языком.

Калтыгин и Алеша взяли немца — и мы оказались загнанными в болото, что вовсе не означало погружения в него по шею. Мы лежали на плотных сухих кочках, столь многочисленных, что локти удобно расставлялись на них, позволяя стрелять прицельно. Читая не раз об отступлениях наших войск, слыша порою о паническом бегстве красноармейцев, я негодовал и злился, но лишь теперь понял, что, пожалуй, никто малодушно не оставляет позиций и уж мало кто стремглав мчит в тыл, бросая оружие. Люди в бою ищут такое место на поверхности земли, где пули не касаются их, не убивают и откуда можно послать в противника наибольшее количество пуль. Что мы и делали, что и загнало группу в болото. Слишком молод я был для философских обобщений по болотному поводу этому, догадывался однако, что кто-то из нас, прыгая с дуба, умудрился и гранату подорвать, и автомат разрядить, приведя немцев в боевое состояние, как только они обнаружили отсутствие плененного майора. Сутки шли к ночи, близился наш конец. Справа, слева, спереди — немцы, сзади — булькающая, квохчущая и рыгающая метановыми пузырями трясина. Немец, не брошенный, разумеется, нами, ворочался в брезентовом хитоне. Одолевали комары: болото все-таки, а снадобья от кровососущих насекомых на складе не нашлось, оно, вернее, находилось на особом учете. Немцы затаились в редком березняке, его мы ошибочно приняли за край леса. Патронов оставалось мало, стреляли мы редко, всякий раз без промаха, что немцев надломило. Время от времени

пленному освобождали рот, немец звал на помощь, и в березняке поэтому не решались пустить в ход минометы.

Ни о матери, ни об Этери так и не вспомнилось мне, а о том, что скоро смерть, — и в голову не пришло. Рядом — наш командир, к нему подполз Алеша, они долго совещались, о чем — я догадывался. Гонимые немцами, зная местность по карте, мы почему-то вперлись в болото, которое не было обозначено топографами. «Раз-зявы!» — услышал я голос Калтыгина и не стал гадать, кого он так называет, нас или Костенецкого с Лукашиным, это они вооружили нас негодной картой. Поднялась осветительная ракета, а когда померкла, то темнота стала еще гуще. Я лег на спину и услышал далекий протяжный свист, переходящий в гул и на полтакта опережавший тягучую барабанную дробь. Звуки издавались устройством, которое двигалось по рельсам. До железной дороги — сто километров по карте, мы, значит, рядом с необозначенной узкоколейкой, о которой догадывались еще в Крындине: не на телегах же возят гравий из карьера. Все наши вопросы отменялись картой 1939 года, засомневались и оба капитана, готовые нас к выброске в этом районе, но, сказали они, не посылать же самолет на аэрофотосъемку, и уж очень вы, посетовали капитаны, недоверчивые и настырные.

Со стороны березняка донесся собачий лай, прибыла полевая жандармерия. Теперь мы совещались уже втроем. Я рассказал об узкоколейке, Алеша и Калтыгин сделали признание: не того немца взяли, майор, да не тот, нечего его и допрашивать, документы, что при нем, скажут больше.

Еще одна ракета повисела и рассыпалась. Мы продолжали совещаться, теперь уже молча, лежали голова к голове и думали. И то, что было решено, не выразилось никакими словами, но каждый из нас понял, что делать. Ветер дул справа, уходить, следовательно, то есть уползать, надо влево. Алеша выдернул тряпку изо рта майора, и под стоны, а затем и крики мы добрались до края березняка, прошмыгнули мимо немцев и уже не таясь побежали к насыпи. Как ни безграмотно составлялась карта, а леса оставались на ней лесами. Узкое болотце замочило наши следы, у ручья мы попетляли и на восходе убедились: погоня отстала. Полежали полчаса, поднялись. Ни слова не было сказано, мы словно боялись друг друга. Рожки автоматов (у нас были «шмайссеры МР-38») почти пустые, три пистолета, ракетница, две гранаты и ножи, естественно. В сумке у майора — хлеб и сало в целлофане; плитка шоколада, хранимая Алешей, размякла, до линии фронта же — семьдесят пять километров. А нас преследовали не столько немцы, сколько собственные ошибки да просчеты

крындинского начальства. Мыслями вслух не обмениваясь, мы сомневались уже в том, что нас ждут у отметки 37,4, мы карте совсем не верили. Нашим спасением было молчание, в котором рождались верные решения.

Сигнал ракетами не дали, уж очень тихо было на указанном участке фронта, нас немедленно засекли бы. Двумя километрами южнее, в кромешной тьме, рискуя вляпаться в пяточки поставленных мин, ошиблись в очередной раз и скатились в воронку, полную трупов. Еле выбрались, пострашнее собачьего лая был запах. Еще раз упали, теперь уже в окоп охранения, где спали красноармейцы. Переползли в другой окоп, оттуда в траншею. Калтыгин впервые разлепил уста: «Раз-зявы...» Говорить все же пришлось, командир батальона приказал нас арестовать. Обезоруженных, привезли нас в Крындино, машина подъехала к дому, где Лукашин. Тот вышел, позвал Костенецкого. Полковник посмотрел на нас, вопросительно глянул на майора: а это — кто? Нас, правда, меня и Алешу то есть, он мог и не помнить, всего раз-то видел, но Григория Ивановича знал ведь.

Измученные, голодные, еле державшиеся на ногах, мы не умели уже удивляться.

Нас немедленно разделили и развели по домам, к каждому приставив часового. Дали немного поспать и стали допрашивать, «снимать показания». В чем нас обвиняли — сказано не было, в меня вцепился капитан из самого Разведуправления да Лукашин, и по вопросам выходило, что я-то как раз ни в чем не повинен, а провалил задание старший лейтенант Калтыгин, только он. Если перелицевать вопросы и снять интонацию, сделав ее утвердительной, то грехи нашего командира выглядели страшными. До последнего часа утаивал он от нас цель и смысл операции, выбрал неверный маршрут, засаду устроил не в надлежащем месте, взял не обер-лейтенанта из аэродромной obsługi, а случайного офицера, специалиста по топливу и маслам. Отрывался от немцев он тоже неправильно, сам себя загнал в болото. Фронт перешел не в указанном месте, что могло привести к нежелательным последствиям. Капитан из Разведупра, суровый татарин с хищными глазами, шел дальше Лукашина, он гнул меня, заставляя признаться в том, что никакого немца мы вообще не брали и немцев вообще не видели, отсиживались в лесу, а когда продовольствие кончилось, подались к нашим окопам. В боестолкновениях не участвовали, никто ведь не ранен, волдырь на пятке — вот что нашли врачи, осматривая меня. Признавайся!

Слезы душили меня от такой несправедливости. Но, кажется, не так уж плохи были мои и наши дела. Однажды вели меня к Лукашину, и по

дороге встретился Алеша, тоже с часовым за спиной, и Алеша во всю глотку запел: «С одесского кичмана...»

Веселый голос, сытый, и сам Алеша не походил на подследственного, одет чисто и по уставу. Взбодренный им, я отказался подписывать обличающие Калтыгина показания, хоть тот и оболгал нас. Мы, написано было его рукой, не выполняли его приказы, пленного майора не уничтожили. И еще много чего — уши мои и глаза отказывались принимать — насочинил о нас Григорий Иванович Калтыгин, которого покарали-таки: исчез наш командир, шли о нем разные слухи.

Кончилось наконец следствие. Утром проснулся, а под окном свистит по-разбойничьи Алеша. Мы обнялись, мы в общую кучу свалили наши беды, мы обменялись нашими повзрослевшими мнениями. Чистые перед законом и армией, мы простили Григорию Ивановичу все его кляузы, потому что он нас многому научил. Нам помнился тот момент, когда Григорий Иванович виновато улыбался, снимая сапог и разматывая портянку, в чем никакой нужды не было, кроме единственной и благородной: избавить нас от тяжелого, мышцами ощутимого страха. Пообтершись в армейской среде, потолкавшись среди писарского сословия, без которого не может существовать ни один штаб, понаслушавшись разного сброда, всегда лепившегося к тем, кто воюет по-настоящему, набравшись словечек, одинаково звучащих что в Разведуправлении, что в райпотребкооперации, — мы с Алешей пришли к согласованному мнению: старший лейтенант Григорий Иванович Калтыгин пал жертвою интриг, его подсидели, он перебежал кому-то дорогу, а еще точнее — он отбил у кого-то «бабу». Что означало последнее, было для меня не совсем ясно. В Крындино переехал узел связи, одна радистка — младше меня по званию, всего ефрейтор — иногда улыбалась мне, но вместо того, чтоб прикладывать руку к пилотке, выписывала в воздухе пальцем какие-то слова, на чем и была поймана начальником узла связи, майором, тот показал мне кулак и пригрозил отправкой в дивизию.

«Баба», конечно, «бабой», но на них в Берлин не въедешь, нас поэтому снедал интерес: а как же это так получилось, что мы неправильной картой пользовались?

Добрый Лукашин отказать нам не мог и посвятил в суть. Дали нам на задание самую точную, как казалось, немецкую пятицветную карту-верстовку, то есть масштаба 1: 42 000, а та — копия нашей карты, составленной по съемкам 1929 года. Кого винить — непонятно. Ну а пока надо радоваться, в самообразовании мы поднялись до высокого уровня, узнали о многогранной проекции Мюфлинга, о координатной сетке

Гаусса — Крюгера. Не хуже любого немецкого офицера умели разбираться в обозначениях, тем более что на полях карт давались пояснения! (Эх, знать бы заранее, какие беды принесут нам наши знания!) Когда я завел однажды речь о карте Берлина, так нужной нам, Алеша тихо вразумил меня: «Карта не понадобится. Я этот город обшмонал вдоль, поперек и горизонтально-вертикально!»

Карты для тренировки выдавал нам Любарка, тот самый человек в серо-стальном коверкоте, при котором Григорий Иванович обозвал нас желторотиками и молокососами. Имел он и воинское звание — лейтенант, но считал себя выше всех командиров. Должность его звучала витиевато, иногда он называл себя делегатом связи, намекал на особой важности документы, к которым допущен, но, понимали мы, ни к шифровке, ни к дешифровкам его не привлекали, он и русского языка-то не знал. «Пакет в зубы — и аллюр три креста!» — даже на такое не был он способен. Посыльный спецсвязи всего лишь, фельдъегерь, для пущей важности бравший с собою двух автоматчиков, когда из штаба фронта вез толстое засургученное послание. Такие вояжи случались редко, значительно чаще садился он на велосипед и укатывал в Особый отдел, где вышептывал все новости хозяйства Костенецкого.

Теперь он прилип к нам, работал не без выдумки, и сколько ни предупреждал меня Алеша, я всякий раз обманывался. Любарка выкладывал какую-либо якобы услышанную им и меня касающуюся пакость, а я сдуру опровергал ее, приводя в доказательство факты, его интересующие. Еще дурнее был сам Любарка. Мне, непьющему, полагалась водка, ее он и выпивал, а чтоб я не жаловался, рассказывал разные истории, и я узнал, что до войны Костенецкий учил студентов и был доцентом кафедры, знатоком Германии, по военкомату же числился рядовым, таковым и стал служить, охраняя штаб ПВО Московского военного округа, случайно был узан учеником своим, комбригом, так и попал германист в разведорганы. А Лукашин — тот и вовсе из бухгалтеров. До финской войны, правда, служил в разведке и был оттуда с позором выгнан. Что до Калтыгина, так его каждая собака знает, перед всеми он выслуживался, умеет ходить на задних лапках, да не всякий раз бросают ему кусок мяса. Очень на него злы, пристрелил он перебежчика, немецкого офицера, сиганувшего через Буг в сентябре 1940 года. Приплыл он, держа в зубах очень ценную карту, но кому-то выгодно было этой карты не иметь, — сокрушался пьяненький Любарка, красными глазками ощупывая меня.

Он был старше меня лет на десять, я не мог поэтому гнать от себя

фальшивого, масленного, гаденького человечка. Он к тому же владел притягательным трофеем — аккордеоном «Кантулия», хранил он его вместе с сумками своими в каморке штаба, у Лукашина. Инструмент, к которому так тянулись мои пальцы, покоился и безмолвствовал — в обитом кожей футляре. Играть Любарка не умел, поганил мелодию, изредка позволял мне касаться клавиш и кнопок; меня же сотрясало чудо: из вещного, осязаемого предмета начинало исходить нечто таинственное, рождающее зрительные образы, воспоминания и запахи.

Что с нами делать — не знал ни Лукашин, ни Костенецкий. Алеша откровенно бил баклуши и не раз возвращался под утро. Меня же отправили в овраг, на стрельбище, учить радисток узла связи держать правильно в руках пистолет и стрелять из него. В скором времени я сделал открытие: со стыдом признался, что задерживаю руку на талиях девушек, когда готовлю их к стрельбе из положения «лежа». Было очень приятно. Еще восхитительнее — обнимать их, проверяя положение тел при стрельбе «стоя». О моих волнениях радистки догадывались и придвигались ко мне поближе или громко возмущались. Кое-кто шепотом предлагал встретиться вечером, но я, здраво рассудив, от свиданий уклонялся и на тренировочных занятиях держался от девушек подальше, поскольку убедился: тяга к девичьему телу каким-то непостижимым образом снижает меткость моей стрельбы. Я стал мазать, я уже не в «десятку» или в «девятку» всаживал пули, а с разбросом по всему кругу мишени. Это было отвратительно, тревожно, смертельно опасно! Я мог не убить немца и подставить себя под его пулю! Нет, нельзя общаться с девушками, эдак до Берлина не дойдешь.

В тире зугдидского парка я стрелял из духовки лучше всех. Отличался меткостью и на курсах. Угодить Григорию Ивановичу я, разумеется, не мог, но брюзжал он скорее по привычке. Восстанавливая былое умение, я представлял себя то в тире, то на курсах, пока не вспомнил совет бабушки, когда она брала меня с собою в лес по грибы. «Ты его, подосиновичек, — говаривала она, — в глазах держи, он с глаз и перепрыгнет на траву». Первый убитый мною немец полетел, прошитый очередью, в яму, как он лежал там — неизвестно, второй же старательно опустил на коленки и лег неподвижно, лицо к небу, правая рука вытянута поперек тела, левая так согнута, словно хотела почесать плечо. Утвердив в памяти этого немца, я всякий раз видел его, когда касался спускового крючка, и пули мои стали отныне зрячими. Алеша подбрасывал ремень, и пока тот падал, я успевал продырявить его отверстиями, между каждым ровно два сантиметра.

Жетончик же я решил смастерить из медальона, подсунутого Алешей. Семнадцать раз уже прыгал я с парашютом, и если бы мне разрешили

носить ромбовидный жетончик под значком парашютиста, то цифра 17 яснее ясного говорила бы всем, сколько раз покидал я самолет. А на обратной стороне жетончика я решил нацарапать число убитых мною немцев. Таковых на середину мая 1942 года насчитал я всего 8 (восемь). Конечно, кого-то я ранил очень тяжело, кто-то, дернувшийся при попадании моей пули, скончался. Наверное, я убил больше, но в пионерском отряде я присягал быть честным, таким же поклялся быть, вступая в Ленинский комсомол; во всех характеристиках до войны отмечалось: воспитанный, добросовестный, уважает старших, помогает младшим. И чтоб оставаться честным до конца, я ограничился цифрой 8, твердо зная, что еще до Берлина обе цифры на жетончике изменятся в лучшую, то есть в большую, сторону.

Однажды, хорошо поспав после обеда, мы вели тягучий разговор о том, куда податься вечером, где достать рожки к «шмайссеру», будет ли сегодня кинопередвижка. Вдруг солнце за окнами заслонила могучая фигура, мы ахнули: Калтыгин!

Григорий Иванович ворвался в избу, все сокрушая на пути к нам. Заскулил отброшенный его ногою пес, испуганно закудахтали куры, грохнуло висевшее в сенях корыто, дверь едва не слетела с петель. «Ребятки вы мои!.. — распахнул он нам объятия. — Орлы! Соколики! Наконец-то мы вместе!» Новенькие ремни скрипели на нем, в петлицах — по шпале, вроде бы разжалованный и судимый трибуналом старший лейтенант Калтыгин повысился в звании до капитана. Орденов, правда, не прибавилось, но шумности, самодовольства, угроз Лукашину и Костенецкому — хоть отбавляй. При них он, конечно, укоротил язык, а те сбежались на него, недоуменно взирали на исключенного из списков части бывшего подчиненного. «Прибыл для дальнейшего прохождения службы!» — рявкнул начальникам Григорий Иванович, вручая им пакет. Начальники покрутили его в руках, но вскрывать не осмелились, какая-то чрезвычайно грозная пометка была, видимо, на пакете. Любарка метался между ними и нами. Выбрал руководство, засеменил вслед ему. Из вещмешка размером с грузовой парашют Григорий Иванович извлек разные гостинцы для «мальцов» да стопку советских карт 1941 года. Десять пачек «Беломора» предназначались Алеше, мне протянут был «Самоучитель игры на балалайке», заодно Григорий Иванович на неделю выцарапал у Любарки «Кантулию». Хозяйке ничего не досталось, кроме самого Калтыгина. Как пришедший с мороза человек льнет к печке, так и наша хозяйка норовила то задом, то передом коснуться Григория Ивановича. А тот, фигурально выражаясь, бил копытами и раздувал ноздри.

Мы покатывались со смеху, наблюдая за играми непарнокопытных. Потом ушли, развалились в саду и обсудили новости, припомнили наводящие вопросы, что задавались нам во время служебного расследования. Мы не верили, что вдумчивые, аккуратные, въедливые командиры штаба ошиблись, давая нам заведомо негодную карту.

Много ошибок совершили мы, но еще больше — начальство, и получалось, что вся задуманная штабом операция — обман, повод для расправы с Калтыгиным, который Костенецкому — как кость в горле, и, наверное, благом была б ему гибель Калтыгина. По душам потолковав уже со многими разведчиками (что, кстати, запрещалось), мы узнали, что «командир товарищ К.» всегда так выполнял задания, что вреда от выполнения было больше, чем пользы, и боевые друзья Калтыгина находили смерть там, где ее не могло быть. Вот и решено было от Калтыгина избавиться, дав ему заведомо невыполнимое задание, а что и два мальчика погибнут с вредоносным Калтыгиным — на это начальству наплевать. Неужели такой ценой достигаются все победы?

Долго и горько говорили мы в саду. До самого конца войны длился этот разговор, только перед Берлином дошло до нас, что все задания либо перевыполнялись, либо недовыполнялись, что война — это часть жизни, если не вся жизнь, которую никогда не объяснишь, она никогда не удастся, и как не знает ребенок того, что будет с ним в старости, так и разведчик, приступая к операции, обязан готовиться к худшему и доверять только себе, жить текущим днем, уповая на сегодняшнюю луну и завтрашнее солнце, если оно, конечно, засияет!..

Но до конца войны — шагать еще и шагать, стрелять и прыгать. Приказом наркома обороны СССР срок окончания войны был определен — полгода или «ну еще год». Безмерная любовь и уважение к Вождю мешали мне вслух засомневаться в точности предвидения. Упорные бои шли по всему фронту, Ленинград и Севастополь осаждены. Никто в победе не сомневался, но не каждый был уверен, что доживет до нее. А я все еще пребывал в пятнадцати годах от роду, рост — 166 сантиметров, вес — 52 килограмма. Я мог сто раз подтягиваться на перекладине, за 26 секунд одолевал 200 метров, с расстояния 50 метров всаживал кучно очередь из автомата в мелькнувшую мишень, мышцы мои крепили с каждым днем, объем груди, как пошутил врач, порадовал бы незамужнюю даму. Моим отдыхом был бег.

Алеша уверял меня, что по старому военному обычаю Берлин на трое суток будет отдан войскам на разграбление, и наша задача — успеть к началу тотального грабежа, попасть в дом № 10 на Ляйпцигерштрассе. «А

почему только трое суток?» — удивился я, и Алеша ответил что-то невразумительное, а потом сказал, что выяснит обстоятельно, почему города с разным количеством населения, расположенные и в долинах, и в предгорьях, и на равнинах, не удостоены четырех суток, потребных для захвата имуществ. В этом была какая-то загадка, ее надо было разрешить, а пока же мы — я, Филатов Леонид Михайлович, и Бобриков Алексей Петрович — поклялись: в день и час капитуляции Берлина начать тотальный грабеж дома № 10 на Ляйпцигерштрассе!

Филатов с содроганием пишет об Учителе. — Разоблачение симулянта. — Первое явление судьбоносного Чеха. — Возвращение в детство: пионерлагерь. — «Ну влипли!»

И наконец-то Чех — человек, который в лице моем обрел Ученика; был он не русским, конечно, и не японцем, разумеется; его не отнесешь ни к славянам, ни к индейцам, ни к любой другой нации или расе. Не исповедуя никакой религии, он был мусульманином, католиком, иеговистом и вообще кем угодно. Любую скрипучую дверь он мог открыть бесшумно, не пользуясь никакими техническими штучками (для почти молниеносного вскрытия сейфа кое-какие железки ему все-таки потребны были). Присмотревшись и чуть поднатаскавшись, он, взяв в руки ножницы, профессионально постриг бы английского лорда, австралийскую овцу и марсельскую проститутку. Он был всем и ничем, его телесной оболочкой мог быть сельский врач, планета Юпитер, мычащая корова, лысый луг, зябнувший накануне снегов, и мальчик из-под Зугдиди, в которого он вселился.

С него, с Учителя, и надо было начать это повествование, но Страх, Любовь и Ненависть намеренно замедляли течение событий, взнуздывая перо, пресекая его бег; брезжила Надежда, что удастся запихнуть этого страшного и любимого мною человека в скопище людей, промолчать, затаить в себе трепетание звуков, не влезающих в нотные линейки. Отдаляя момент встречи с ним на страницах этих, я с излишними подробностями описываю знакомство с Алешей и Григорием Ивановичем. И тороплюсь, тороплюсь поскорее увидеть наставника своего, тренера с большой буквы, потому что Учитель — это сказано чересчур громко, вне времени, в каком мы жили, а время подсылало к нам в воспитатели тех, кто продлевал нашу жизнь до возможности мирно почить; потому я и комкаю рассказ о первом задании в тылу немцев, а там ведь были эпизоды, достойные упоминания. Майора-то немецкого мы сутки тащили на себе, и майор на минутном привале вдруг стал диктовать нам завещание — с перечислением родственников, имущества и банковских счетов. Часом позже случилось невероятное: посланный вперед на разведку, я нос к носу столкнулся с немецким солдатом. Метр с чем-то разделял нас, у обоих — автоматы, кто первым выстрелит, тот и не будет мертвым. Но от неожиданности и страха мы мгновенно переместились в каменный век и первобытными охотниками

вступили в рукопашный бой, используя «шмайссеры» как дубины, размахивая ими и издавая воинственные вопли. Неизвестно, чем кончилась бы эта схватка, не поспеши на крики Алеша; я стер пену со своих губ и вернулся в XX век... И еще позамысловатее вспоминаются случаи, но пора, пора заговорить о Тренере.

В тот памятный день меня вызвали к Лукашину, в дом его, откуда протягивались провода к столбам и крышам. Как служится, как живет, как бегаешь — к таким вопросам доброго ко мне командира я привык. Стоял навтыжку, потом — по приказанию — сел. Три окна, печка, письменный стол с телефонами, дверь в смежную комнату, запах трубочного табака — за стеною, следовательно, сидел Костенецкий и все слышал. Лукашин вздохнул и сказал, на меня не глядя, что, по наведенным справкам, я обманул руководство и неверно указал дату рождения: 28 августа 1926 года я родился, а не того же месяца и числа 1925-го, как это значится в документах. Между тем, продолжал он, не дождавшись от меня ответа, лица мужского пола 1926 года рождения призыву не подлежат, мне на день текущий вообще не исполнилось и шестнадцати годков, и если я сейчас вот напишу рапорт, где признаюсь в обмане, то рапорту будет дан ход и меня, без сомнения, из рядов Красной Армии уволят, отменив принятую мною присягу.

Наверное, я покраснел от стыда за обман. Затем я сознался: да, обманул. Но решительно отказался писать рапорт. Я хочу воевать и буду воевать!

Для меня все было давно решено, да и понимал я: нет времени уже гнать меня прочь из Крындина, горы бумаг изведут, объясняя тому, кто повыше и старше, почему оголена группа Калтыгина. А если жалеют, что сомнительно, так о чем раньше думали, когда посылали на задание с ненастоящими картами?

С Алешей, я узнал, тоже беседовали, но у Лукашина не о возрасте говорили, жалеть Алешу никто не собирался. Пришел приказ об особой проверке военнослужащих, призванных военкоматами западных областей Украины и Белоруссии; Алексей Петрович Бобриков называл себя в документах так: приписной. Что означало это — не знал, наверное, сам Алеша, но именно приписные возбуждали недоверие и подозрительность.

Калтыгина тоже вызвали, он вернулся чрезвычайно подавленным.

— Беда, соколики! Собирай шмотки, аттестаты я уже получил.

Жил он через дорогу, в школе, туда и пошел быстрым шагом. Хозяйка всплакнула. Нас она считала уже сыновьями, а Григория Ивановича — отцом их. Схватила хват, полезла в печь. Мы запихивали в мешки скудное

имущество. Григорий Иванович снял с гимнастерки все ордена и медали, на плече его болтались казавшиеся игрушечными два «шмайссера», в ногах — все тот же объемистый вещмешок. Ни щи, ни каша в рот не лезли.

Красноармейских книжек своих мы не видели уже месяц, их нам на руки не выдавали — чтоб не покидали Крындина. Заспорили: идти за книжками к Лукашину или здесь ждать, когда само начальство проявит заботу.

Все мы внезапно умолкли, потому что обнаружили: уже не одну минуту среди нас находится человек, которого мы видим то у печки, то в углу, то сидящим за столом, но который продолжает тем не менее стоять у двери. Он как бы исчезал из поля зрения, чтоб возникнуть то здесь, то там. Нам показалось даже, что хозяйка прошла сквозь него, когда несла стопкой сложенные миски. Потом раздался звук, отрывистая нота. Что-то сгустилось в пространстве между столом и дверью, и мы наконец увидели командира, капитана, летчика.

— Вы поступаете в мое распоряжение, — произнес он, не нажимая ни на одно слово в коротком предложении, имевшем по смыслу значение приказа. — Всем сесть и написать родным, что переводитесь на другой фронт и в другую войсковую часть, номер полевой почты пока неизвестен. Приступайте.

Алеша заточил о край стола химический карандаш, я достал пузырек с чернилами. Один Григорий Иванович бездействовал.

— У меня нет родных, — заявил он.

— Тогда напишите товарищу Сталину... Или он вам — не родной?

Калтыгин как сидел на табуретке, так и продолжал сидеть, не желая подчиняться. На него и раньше накатывали приступы неповиновения, ори на Григория Ивановича, матери его и облаивай — наш командир с места не двигался и рта не раскрывал.

— Я — летнаб, — представился всем авиационный, воздушный, но не прозрачный капитан, он же летчик-наблюдатель, и без рывков или движений переместился к табуретке, на которой восседал непокорный Калтыгин. Замер перед ним. И вдруг издал сдвоенный звук, за пределами октав, а затем молниеносно вышиб из-под него табуретку.

Произошло чудо. Калтыгин продолжал сидеть — но не на табуретке, а неизвестно на чем. На воздухе, наверное. Тело покоилось в пространстве уступом. Мы вскочили с лавки и бросились к Григорию Ивановичу, чтоб подхватить его тело. Подсунули руки под его мышки, но командир наш будто окоченел, и только после пронзительного вскрика летнаба мышцы Калтыгина обрели эластичность, а тело — вес.

Как будто ничего не произошло, Григорий Иванович, посаженный на лавку, сказал миролюбиво:

— Товарищу Сталину пусть маршалы пишут... Образцы почерка тебе нужны? — деловито осведомился он у нового хозяина, который не счел нужным ему ответить.

Что-то все-таки Калтыгин написал... Под окнами уже стояла полуторка. Мы полезли в кузов, капитан — в кабину. Ехать было удобно, сидели мы на тюфяках, одеялах и подушках. Два часа нетряской езды — и мы въехали в лес. «Пионерлагерь № 8 Наркомзема», — прочитали мы на арке. Окна барачных заперты досками, многоголосый щебет птиц заглушал мотор полуторки, летнаб указал на легкий дощатый домик, где в далекие сладкие времена спали пионервожатые. Мы переоделись в б/у третьей категории, то есть в рванье, подобранное, однако, по росту. Получили красноармейские книжки с татарскими фамилиями. Пищу, сказал летнаб, будут привозить трижды в сутки и оставлять ее у арки, туда же следует сносить пустые котелки и бачки. Оружие применять только для самообороны. Расположение пионерлагеря не покидать. «До завтра!» — крикнул летнаб из отъезжавшей полуторки.

О табуретке, вышибленной из-под него, Григорий Иванович не вспоминал. Да он, наверное, и не знал, что в течение нескольких секунд тело его опровергало все законы физики. Шагом рачительного хозяина обошел он пионерские жилища, заглянул в домик, проверил воду в ручье, развернул карту, сориентировался. До Москвы не так уж далеко, на денек-другой можно отпроситься в столицу.

Во многих гнилых местах — знали мы — перебивал Григорий Иванович Калтыгин, осваивал их успешно, в разные одежды облачался, идучи на задания, к бутафории и бутафориям стал привычен, — и уж ему-то не пристало удивляться превратностям судьбы, тем более что не так-то уж плохо все вокруг выглядело: крыша над головой есть, жратву обещали подвозить, в наркомземовский пионерлагерь этот ни один заброшенный через фронт немец не сунется. Не крындинская изба, конечно, с хозяйскими щами.

Однако Григорий Иванович насупил густые брови, подозвал нас к себе и как-то жалко выдохнул:

— Ну влипли!..

Учитель находит Ученика. — Экзамен на аттестат диверсионной зрелости

Летнаба этого мы прозвали Чехом. Никаким авиатором, конечно, он не был, хотя несчетное количество раз подбирал парашютные стропы, мягко опускаясь в намеченной точке земного шара. Служил он, по нашим догадкам, где-то на пересечении трех или четырех наркоматов, должности не имел, а просто консультировал тех, на ком останавливался выбор начальства. Его и Маньчжуром можно было прозвать, что-то восточное проглядывало в облике, в Харбине и Мукдене он бывал, тамошнюю эмиграцию знал досконально. И в Испании воевал, кое-какие испанские словечки проскальзывали в речи, он намеренно обнаруживал некоторые частички своей бурной биографии. Готовя нас к худшему, он рассказал об уязвимых точках главных тюрем Европы, и однажды, повествуя о Панкраце, пражской тюрьме, водя пальцем по схематическому разрезу этого заведения, заметил: «Вот этот коридорчик, запомните, очень любопытный, в конце его — звуковая яма, и что случится за поворотом — здесь не слышно, чем я и воспользовался...» С этого признания и стали мы называть его Чехом.

Поначалу мы видели его редко. Дюжина инструкторов сразу заслонила его, увела в тень. Строго по расписанию приезжали они воспитывать нас. Очень продуктивно научились мы стрелять из всех видов оружия, включая английское и французское, водить автомашины всех марок, познакомились с немецким бронетранспортером. Бывали дни, когда мы не слезали с мотоциклов, сам Чех приезжал на «цундаппе», глушил его, оставлял в кустах неподалеку от домика и возникал вдруг так, что казалось: он и ночевал здесь. После грубой обработки сырого материала Чех приступил к шлифовке подопытного контингента. Мы познали костодробительные и мышцераздирающие приемы при контактах с хорошо вооруженными людьми.

Несколько дней подряд мы ни на секунду не расставались с оружием, мы спали в обнимку с автоматом, мы ели, в одной руке держа ложку, в другой — гранату, мы поливали водой из ручья не столько себя, сколько навешанное на тело оружие, и настал час, когда в разных местах и в разное время сделанное оружие стало как бы рожденным вместе с нами, оно еще придано было нам в утробе матери, мы покидали чрево, оглашая мир

младенческим криком и очередью из «шмайссера». За эти три недели мы освоили то, на что в мирное время ушли бы годы, и «шмайссер» стал мне так же привычен, как ученическая ручка с пером «88».

В один из приездов Чех вывалил на стол в домике более сотни железок, разобранные пистолеты всех систем. Он завесил окна накидками, завязал нам глаза и предложил на ощупь собрать из груды металла то, что сможет стрелять. Мы трудились два часа, отличился Алеша, скомплектовав румынский «мобель» и польский «вис». У меня получился «вальтер» и ТТ, успехи Григория Ивановича были скромными — всего «браунинг». Что таилось еще в горе деталей на столе — о сем ведал только Чех.

Кто из нас на что способен — это он узнал скоро, помог ему случай. Чех, возможно, специально подстроил его, когда решил однажды прогнать нас через полосу препятствий, на которой пионеры и пионерки сдавали нормы ГТО. Чех несколько усложнил полосу, разбросав на дистанции бега пустые бочки, мотки колючей проволоки да набив гвоздей в доски и бревна. По пояс голые, мы выстроились, я оказался самым маленьким, был короче Алеши на три сантиметра. С меня и начал Чех, сказав «Алле!» и щелкнув секундомером. Между мною и бревном, первым препятствием, радужными пятнами противно поблескивала лужа, у которой час назад стояла полуторка. Мочить и грязнить в луже брезентовые сапоги свои я не хотел, поэтому обежал ее, взлетел на бревно, побалансировал на нем, спрыгнул, покрутился на перекладине, побежал по трассе, издали примериваясь к доскам, упал, пополз, схватил пустую бочку и бросил ее в яму, бочка стала опорой, я одолел яму, так в нее и не свалившись. «Две минуты сорок три секунды!» — провозгласил Чех, когда я вернулся на исходную позицию. Сказал, однако, что еще пять секунд сброшено будет с моего времени, ведь я бежал первым и Бобриков учтет мои ошибки. «Алле!» — И Алеша рванул вперед. Лужу с блестками нефти он обогнул не справа, как я, а слева, где посуше и потверже, выиграв у меня несколько секунд. О расположении гвоздей на бревне он узнал по частоте моих скользящих шагов, ширину канавы определил заранее по разбегу.

— Две минуты тридцать четыре секунды, — констатировал Чех и дал знак следующему, Калтыгину: — Алле!

Две минуты двадцать секунд — определил я заранее время Григория Ивановича, и начало бега подтверждало мой расчет.

Тремя бросками, тройным прыжком Калтыгин перелетел через лужу, напрямик, кратчайшим путем устремляясь к бревну... Восхищение было во взглядах, какими мы обменялись с Алешей. Григорий Иванович перепрыгнул, можно сказать, не столько лужу, сколько психологический

барьер, неоглядной смелостью выгадав пятнадцать секунд. На бревно он взлетел так легко, что я загодя укоротил его пребывание на нем секунд на пять и глазам своим не поверил, когда Григорий Иванович, летящий на побитие рекорда, позорно шмякнулся на землю. Бревно ему удалось проскочить только после третьей попытки, а при соскоке с перекладины он кувыркнулся, не устоял на траве и боком повалился на нее.

Алеша горько вздохнул и приподнял ногу. Да я и сам понял уже, в чем ошибка.

Подошвы сапог Григория Ивановича, не пожелавшего огибать лужу, были замочены и заскольжены, те пятнадцать секунд, что выиграл он, растерялись на бревне, загубились частыми падениями на трассе пробега. Более того, он проколол гвоздем ногу.

Итог плачевный: три минуты одиннадцать секунд. Мы сдержанно позлословили над «товарищем Яруллиным» — кажется, под такой фамилией значился Калтыгин у инструкторов. Ждали приговора Чеха.

А тот впал в глубокое раздумье, в отрешение от сегодняшних и завтрашних забот. Он молчал — вжатый в себя, в полном сосредоточении на мысли, имевшей для нас — мы это понимали — решающее значение. Он размышлял — он, равнодушный ко всему, к вещам и людям, человек с особым устройством желудка, потому что никогда не видели мы его потребляющим пищу, — приезжал к нам рано утром, покидал нас поздним вечером, на обед и ужин приглашали мы его, а он всегда отказывался; ладошкой зачерпнет воды из ручья, пополощет ею рот — вот и весь суточный рацион мужчины.

В руке Чеха продолжал тикать запущенный им секундомер, определял он, видимо, скорость чего-то другого. Наконец он щелкнул, выключая его. Поднял на нас глаза. Они, что нас уже не удивляло, бывали голубыми, карими, серыми. «Хорошо...» — проямлили бескровные губы. В этот момент и решилась наша судьба, о чем позднее признался мне Чех. В способе, каким Григорий Иванович преодолевал трудности, им же созданные, наш наставник (и мой Учитель) увидел знамение эпохи, точное и крайнее выражение мудрости времени: всегда и во всем действовать наикратчайшим путем, грубо и прямо, ни в коем случае не учитывая возможных последствий, и чем эти последствия тяжелее, тем лучше для дела, потому что только в безвыходных ситуациях оправдывается подобная логика борьбы и противостояния. Размышляя о нашем будущем, не мог не знать Чех и о том, что группа наша, оставив в болоте пленного живым и отрываясь от немцев, несколько суток молчала. Мы нашли единственно правильное решение, так ни разу не раскрыв рот. Одно лишь то, что мы,

такие разные, могли поступать и думать вместе, предопределяло успех. Мы дополняли друг друга, составляя единое целое. В нашей троице воплотился идеальный образ давно лелеемого Чехом всесокрушающего коллектива, где роли каждого, очертившись зыбко, могли исполняться любым. (Лет через тридцать с таким же тщанием тренеры начнут подбирать хоккеистов для ударной тройки нападения.)

— Хорошо... — еще раз промолвил Чех и повел меня в лесную чащу. Приказал встать на пенек и раздеться догола, после чего внимательнейше изучил — зрительно, обонятельно и тактильно — мое тело, заглянув даже в задний проход. Прощупал все мышцы, кончики его пальцев касались неровностей моего черепа, поглаживая каждый бугорок. Десять, пятнадцать минут длилось это штудирование, Чех то приближался ко мне, то отходил, делая круги. Подошвы мои приятно ощущали срез ели, понадобившейся наркомзему и спиленной им. Был полдень 14 июля 1942 года, года еще не прошло с того момента, как я, крохотный листочек, ураганом сорванный с вечнозеленого людского дерева, не раз прибиваясь к земле, не раз же и взмывал к небу, чтоб в нежной духоте воздуха мягко опуститься на косой спил. Музейным экспонатом стоял я на солнцепеке — в младенческой наготе, вдыхая запахи перегретых древесных стволов, ароматы нескошенных трав и внимая рассуждениям Чеха о превосходстве голого человеческого организма над человеческим же телом, с макушки до пят увешанным пулербросающими приспособлениями. На руках сражающихся людей — около пятидесяти миллионов единиц легкого стрелкового оружия. Люди эти стреляют друг в друга, они убийцы, не несущие наказания. Они кажутся себе всесильными. Но они немощны, они безоружны перед человеком с голыми руками. Они мгновенно теряют свои боевые навыки, сталкиваясь с теми, у кого нет ни пистолета, ни винтовки, ни автомата. Они даже стреляют в безоружных не целясь и чаще всего — мимо них. Самую острую опасность для вооруженного человека представляет как раз безоружный, чем надо и пользоваться. У безоружного человека выбора нет, если он, конечно, не стал безоружным ради плена... Мне, внушал Чех, надо сполна использовать отпущенные природою данные, и прежде всего то, что выгляжу я незрелым мальчиком, недоразвитым, никто не видит под моей гимнастеркой превосходной мускулатуры...

Приказано было одеться, что я и выполнил. Теперь мы шли по лесу, не выдавая себя ни шорохом, ни дрогнувшей веткой, ни вспугнутой птицей.

— Вот береза, — сказал Чех. — Ты видишь ее, белоствольную, зеленолиственную. Но зажмурь глаза, представь себе, что перед тобою —

ель. Представь, вызови в воображении образ ели, держи этот образ в себе и начинай, открывая глаза, вмещать образ в реальную березу. Подмени березу елью. Это трудно. Но тренируйся каждый день. Ты воспитаешь в себе то, что я разовью потом до умения предвидеть, до способности предвосхищать. Тренируйся, учись. И твой противник будет предумышленно... Взгляд! Взгляд! — вбивал Чех в меня слова, будто вонзал копья. — Ты должен вогнать в соперника эпизод из ожидаемого тобой будущего, пусть он увидит себя пронзенным пулею, истекающим кровью... Пусть он вступает в схватку с тобою, подавленный мыслью о невозможности победить тебя!..

Девять — утробных, так сказать, — месяцев прослужил я в армии и понимал, что главное в службе — знать, в каком порядке высятся над тобою начальники. Чех был выше всех, и Чех устроил нам изуверский, иного слова не подберешь, экзамен.

В двух километрах от пионерлагеря пролежала дорога, параллельная той, по которой к штабу корпуса проносились автомашины. На развилке ее Чех установил табличку «Объезд» со стрелкой, которая погнала весь автотранспорт в сторону пионерлагеря. Самодельный шлагбаум пресекал все попытки шоферов проскакать мимо трех красноармейцев, то есть нас. Мало кто из них верил, что ничем не оборудованный КПП — настоящий, были мы безоружными, в чем и заключалась провокационная затея Чеха. Кое-кого это приводило в ярость, многих сбивало с толку, а некоторые выдирали из кобуры ТТ. И было за что угрожать нам. Чех не ознакомил нас ни с реквизитами, ни вообще с образцами воинских документов Красной Армии на этот месяц, надо было учиться на ходу, всматриваясь в глаза беснующихся командиров, отделяя то, что называется уликами поведения, от естественного гнева или терпеливого спокойствия спешащих в штаб людей. Однажды из остановленного автобуса донеслось: «Не подходи! Взорву!» Я подпрыгнул, чтоб увидеть нутро автобуса, — и (молодой, глупый!) развеселился. У человека в командирском плаще висела на груди сумка, похожая на ту, которой хвастался Любарка, в поднятой руке — связка гранат, двумя пальцами зажата коробка спичек, а на сиденье — ведро, определенно с бензином. Шофер автобуса в страхе воткнул голову в приборный щиток. Две «эмки» шарахнулись от крика в сторону. Что делать — я не знал.

Зато знал Григорий Иванович, людей знал.

— Да не нужны мне твои документы, — миролюбиво сказал он человеку, который уже подносил спичку к коробке. — Ты мне скажи, у кого в штабе фронта самые длинные усы?

Ответ последовал не сразу. Человек соображал.

— У техника-интенданта первого ранга... Фамилию не скажу.

— Михайличенко его фамилия... Поезжай.

Пропустив затем обе «эмки», он объяснил:

— Шифровальщик, это точно...

Любарка, вспомнилось, доставлял документы не столь важные, как шифры, но автоматчиков для охраны требовал.

— Так то Любарка, — сплюнул Григорий Иванович. — Дурак Любарка. Немцы как раз охотятся за теми, у кого охрана.

Косвенно подтвердив теорию Чеха об уязвимости вооруженных людей, Григорий Иванович обеспечил нас и практикой, посигналив глазами и указав на двух красноармейцев, у которых он проверил документы и которым разрешил идти дальше. Вид у них был заморенный, на просьбу Алеши о табачке ответили согласием, полезли в карман за кисетом, были тут же нами свалены на землю и связаны. Алеше достался ППШ, мне — винтовка, вещмешки мы оставили нетронутыми. Подкативший на мотоцикле Чех осмотрел нашу добычу, поговорил с красноармейцами, вытряхнул на траву содержимое мешков. Красноармейцы, как и предполагал Григорий Иванович, были совсем недавно переброшены немцами за линию фронта. Поломавшись для форсу, наш командир посвятил нас в тайну ясновидения. Красноармейские книжки в действующей армии были введены приказом от 7 октября 1941 года, а весь многолетний опыт Калтыгина говорил: в нашей армии даже приказ об отступлении не будет исполняться немедленно, и красноармейские книжки, выданные в том же октябре 1941 года, не могли не возбудить подозрения.

Чех объявил, что экзамен нами выдержан, но к новому заданию мы не подготовлены, кое-какие шероховатости устранятся накануне выброски, в детали предстоящей операции он посвятит нас позднее, а пока же — в Крындино, двое суток отдыха, закрепленные за нами мотоциклы можно оставить себе, Костенецкий предупрежден.

Григорий Иванович приоткрывает тайну своего неземного происхождения. — Кто победил, или Философские споры на Ляйпцигерштрассе

Ни одного, понятно, документа у меня под рукой нет, отсутствуют они и в сейфах, память же дает обидные сбои, и то, о чем написано ниже, случилось то ли в лето 1942-го, то ли годом позже. (А может, и вообще не «имело места», потому что все — ложь, и если кто-либо когда-нибудь о чем-либо напишет правду, и только правду, то все последующие сочинения станут лишними, повторяющими предыдущее.) Но не в 1944-м, это уж точно, беспогонными катили мы на мотоциклах прочь от начальства, давшего нам волю до полуночи. В железнодорожном клубе на станции что-то намечалось, вроде бы даже танцы, на которые никто из нас не был охоч, но мне-то, щенку, хотелось полаять на что-то движущееся; подъехали и узнали, что «кина не будет», мотоциклы привалили к заборчику, сидели, посматривали, посмеивались, друг от друга не отходили: обламывая строптивого Калтыгина, Чех в документы его вписал какую-то нелепость, на что и клевали патрули. Вот, оберегая его, и держались мы вместе, глаза на народ. А народу было — сельдей в бочке меньше, на путях дремал состав без признаков паровоза, над вагонами курились дымки, котловым довольствием станция не обеспечивала, предоставляя взамен кипяток в неограниченном количестве. На базарчике торговали яблоками, вокруг и поверх его витали обычные сделки, шла менка, и гулом своим, гомоном, мельканием азиатских лиц, залихватским хохотом и визгом зажатых в кольцо молодых затопленное людьми пространство напоминало стан кочевников.

Красноармеец, появившийся перед нами, не сразу привлек внимание. Людская волна выкинула его под наши глаза; он смешно — локтями — подтянул кверху присползшие шаровары, привычно ковырнул в носу, что в городе означало бы нечто подобное взгляду человека на часы, высыпал остатки махорки на оторванный от газеты клочок бумаги правильной формы, закурил и сплюнул. Раскосые глаза его выражали следующее: меня не тронете — и я вас не беспокою, а уж об остальном договоримся...

Кое по каким признакам я тренировки ради (Чех наставлял: учись — ежедневно и ежечасно) установил, что этот низкорослый боец уже дважды побывал в госпитале, женат, воевать начал год назад, побывал в окружении,

родом из тех мест, где славянство подпитывалось кровью и соками разных вотяков, черемисов и удмуртов, и большую часть жизни провел, за лошадьё идучи. Эшелон его формировался трое суток назад, где-то за Москвой, там же он и побрился у полкового парикмахера; в сидоре его, оставленном в вагоне и не брошенном в кучу, а прикрученном к чему-то капитальному, несъемному, неумыкаемому, хранился бритвенный станок с лезвием «Звезда».

Такой вот корявый мужичонка маячил перед нашими глазами — почесываясь, поглядывая на торжище. В кисете его еще оставалось махорки на две-три закрутки, тем не менее он, докурив свою сигарку, стрельнул у кого-то самосадику, на будущее, вприпас: как только скрылся в толпе богатей, одаривший его табачком, мужичок ссыпал прибыль в кисет, явно не подаренный и не домашний, а сшитый из портянки.

В этот момент Алеша ногою осторожнейше тронул меня, призывая к бдительности и вниманию; я чутко осмотрелся и тихо поразился.

Григорий Иванович выглядел полным придурком: нижняя губа отвесилась, лицо обмякло, в глазах — ужас, как у человека при первой бомбежке, и бомбой, еще не рванувшей, был этот жадноватый красноармеец. Калтыгин порывался то ли встать, то ли травой вжаться в землю. Решился: встал. Утвердился на покачнувшихся ногах. Сделал шажок. Второй.

— Хатурин!.. Хатурин Федор!.. — позвал он заискивающе, угодливо даже.

Красноармеец глянул на него искоса, через плечо и восстановился в прежней позе независимого наблюдателя. Видимо, решил, что ослышался. Тогда Калтыгин наложил пятерню на его плечо, разворачивая к себе.

— Да я это, — произнес как-то искательно Григорий Иванович. — Не узнаешь?

Тот, кого называл он Федором Хатуриным, прищурился, взгляделся в него и непонимающе покачал головой, сожалея, что не может доставить удовольствия мил человеку, удовлетворить притязания того на давнее знакомство.

— Да из Тарбеева я, как и ты... — с некоторой досадой сказал Григорий Иванович, однако себя почему-то не называл. — Как живете там?.. Воронова Нюся — как она?

— А все так же она! — тут же ответил Хатурин Федор, скрытно поглядывая на лепившегося к нему незнакомца, но так и не узнавая его, что, впрочем, было неудивительно. Для простого тарбеевского колхозника командир был крупным начальником, от которого надо всегда держаться

подальше.

— Тебя-то я хорошо помню, — оживлял Григорий Иванович память Хатурина. — Ты на Анке Шивановой женился, из Вешняков, а жил за прудом, рядом с Крикуновыми. Как они, Крикуновы?

— В порядке Крикуновы, — все так же бодренько отвечал Хатурин, и о каких тарбеевцах Григорий Иванович ни спрашивал, ответ для него находился один и тот же, соответствующий интонации вопроса. На всякий случай Хатурин добавлял словечки «благодарствую» или «спасибочки», что позволяло догадываться: Калтыгин так еще и не признан земляком, словечки эти деревня пускает в ход при встрече с опасным городом. Для той же цели Хатурин Федор искал глазами в толпе кого-либо из знакомых, окликнув которого можно уйти от приставаний. А Григорий Иванович начинал злиться: разговора не получалось.

— Да ты в кусты не смотри, землячок... Тебе что — махра нужна? Времени у меня в обрез, а то бы я тебе ящик ее притаранил...

Из кармана галифе он достал пачку «Северной Пальмиры» и великодушно распахнул ее. Помявшись из вежливости, Хатурин выколупил из плотно набитого ряда стройную длинную папиросу, которая никак не хотела держаться в его заскорузлых пальцах, — танковая башня, водруженная на стог сена, выглядела бы уместнее.

Тут-то и прояснилась память тарбеевца. Командиров он уже повидал, а вот «Северная Пальмира» сразу ввела дарителя в господский, барский чин: хозяином жизни оказался человек, называвший его земляком.

— Благодарствую... — промямлил Хатурин, и папироса в пальцах его поплыла и замерла над коробкою, которую продолжал держать открытой Григорий Иванович, намереваясь, видимо, предложить Хатурину не церемониться, а набрать папиросин побольше, а то и все забрать.

— Спасибочки, — подтвердившим голосом отказался от дара Федор Хатурин, и пальцы его папиросину уронили — на землю. — Мы уж как-нибудь своим добром обойдемся, оно и привычнее... — забубнил он, и с каждым звуком голос его прибавлялся весельем, свирепеющим весельем. Мелькнул и застыл на мгновение взгляд — ненависть была в нем.

— Живой никак? — будто удивился Хатурин, ухмыляясь и тяжело дыша, показывая кривые желтые зубы. — Х-ха! — выдохнул он с торжеством и по-собачьи встряхнулся, в долю секунды успев обежать взором станцию, эшелон и две тысячи красноармейцев, саранчою покрывших землю и растревоженно гудевших. — И когда тебя только могила примет?! Но примет, обязательно примет, помяни мое слово — примет!

Он повернулся и зашагал — быстро, странно как-то, будто гнал перед собою консервную банку, рывками шел, размахивая короткими руками, продолжая, наверное, посылать проклятья земляку. Врезался в толпу и смешался с нею.

Ни единого слова, ни одного жеста не проворонил я... Глянул на Алешу — а того нет, Алеша пропадал целый час; хмурый как туча, Калтыгин тихо бесился, догадываясь, что его подчиненный настиг тарбеевца, выскреб из него все невырвавшиеся обвинения, вымотал весь клубок...

Неделю спустя Алеша улучил момент, рассказал мне, кто такой Григорий Иванович Калтыгин.

Нет, не в Тарбееве родился наш командир, а в селе Иржино, в двадцати километрах от Арзамаса. В Тарбеево семья перебралась в 1917 году, Грише в ту пору было пять лет. Рос он загнанным ребенком, старшие братья отличались некрестьянской хваткой и вскорости сиганули в город, изменили фамилии, заматаив следы и давая младшему писать во всех анкетах, что о судьбе их он никакими сведениями не располагает. Все хозяйство Калтыгиных — конь, корова, птица, двор и двенадцать десятин (много это или мало — я не знал, да и Алеша, рассказывая мне, мог поднапутать). Держалось хозяйство на Грише. Школу первой ступени кончил он еле-еле, не до учения было, спину гнул на пашне и огороде, а при согнутой спине глаза на девок не поднимаются. Неизвестно, как сложилась бы жизнь Григория, если б в 1929 году нищий район не приютил агитатора, проповедник этот держал при себе маузер, что идеям его придавало убедительность, идея вообще возвышается, когда она при оружии, агитатор к тому же был из тех, кому кажется: ежели поднапереть плечом еще немножечко, то стена людского горя рухнет и воцарится райская жизнь. Гришка Калтыгин, зараженный идеей, сколотил в Тарбееве ячейку, открыл сельский клуб, где громил Бога и попа из соседней деревни. Постигая азы веры, Григорий пашню забросил, приболевший отец обоснованно возроптал, тем более что агитатор сам определил себя на постой к Калтыгиным, по какой-то желудочной болезни ел мало, но, уверял Хатурин, за столом «гоношился» и был в конце концов выдворен. Неумный агитатор отличался еще и повышенной возбудимостью, стал таскаться по молодухам, беря с собою Григория, который открыл новую область приложения своих недюжинных сил. Между тем агитатор смело отрапортовал в район о полном торжестве идеи, а Григорий записал отца в колхоз вместе со всей живностью, включая кур. Когда же ночью отец все-таки вернул себе корову, Григорий вновь реквизирует ее, получил в

награду (агитатор пожертвовал) маузер и, несмело помахивая им, погнал отца в район. А уж за матерью приехали оттуда сами милиционеры, тем же днем. Кого заодно с матерью везти в район — на них указывал Григорий Калтыгин, ведя милицию по главной сельской улице и помечая мелом дома особо вредных кулаков и тех, кто препятствовал Гришке и агитатору портить девок. Усердие было замечено, агитатора послали учиться на красного профессора, но деревенскому житию Гришки пришел конец: оставшиеся мужики готовы были разорвать его на части, и будущий капитан РККА двинулся в район, но почему-то оказался не у дел. Еще чуть-чуть — и пришлось бы удариться в бег, превратиться в бродягу, кочевника, много таких развелось в ту пору, вырванные из семей дети бежали в направлении, указанном свистком паровоза, обживали бараки или вливались в расплотившиеся банды...

Что стало дальше с Григорием Ивановичем — это мы с Алешей когда-нибудь да узнаем. Но сценка на станции, сама фигура Федора Хатурина так отпечатались в нас, что мы о нем помнили всю войну. Более того, на той же Ляйпцигерштрассе раскрепощенные нами хористки затеяли спор о том, что же произошло в период между июнем 1941 года и маем 1945-го: мы выиграли или они, немцы, проиграли? В щуплых и озорных хористках горел огонь святого бюргерского патриотизма, они знали к тому же, что мы их не только не пристрелим, но и дадим разграбить часть Берлина, а именно квартиру оперной бабы, когда-то написавшей донос на мать Алеши. Они поэтому не стеснялись, никого и ничего не боялись, они орали, как на спевке, о том, что азиатские орды все-таки в Германию вторглись, как ни старался Адольф предотвратить это нашествие. Мы же с Алешей сцепились: я, воспитанный Чехом, уверял, что Великая Победа, до которой один шаг, произошла, случилась, возникла, явилась — волею неведомых нам обстоятельств и сил явно inferнального происхождения, а друг мой тыкал пальцем на окно, под которым жгли костер солдаты какой-то там дивизии, и кричал: «Хатурин Федор — вот кто победил! Он!» И, отпихивая лезших к нему хористок, напоминал: миллионы Хатуриных — лучшие солдаты этих лет; упорство их доводило немцев до озверения, до исступления, потому что уничтожить таких солдат было невозможно: размажь их по земле траками «тигра» — и вдогонку услышишь, как по броне чиркнет пуля из мосинской трехлинейки 1891 года. Из века в век таких Хатуриных держали в худом теле, стреножили царевыми грамотами, постановлениями Правительствующего Сената, указаниями волостных и районных начальников. Жизненным поприщем этого затюканного и замордованного мужичка всегда была земляца, земельный надел,

семидесятисантиметровый слой почвы, в благодарность за труды дававший пахарю прокорм, пищу для него и скотины. Ее, землицы, всегда было мало — чтоб показать себя на ней, чтоб развернуться по своему умению и хотению. Но, когда земли стало необозримо много, плоды рук оказались неразличимыми в совокупном продукте, копаться в земле почему-то расхотелось, сколько ни заставляли трудиться разные райсельхозотделы и уполномоченные. В семье и в самогоне проявлялся мужичок, и если уж напивался, то бил бабу смертным боем, мудохал. В первые дни войны такие мужички могли сотни верст бежать в панике, то есть планомерно отступать вместе с корпусами и армиями. Но наступал вдруг момент такого упадка сил, когда ноги уже не держали бегущего, когда он, фигурально выражаясь, сваливался на дно ямы, откуда уже не выбраться, поднимал голову к небу и видел: вокруг ощеренные немецкие автоматчики. Вот тут-то и просыпались в мужичке исполинские силы и страсти, все неизрасходованные гражданские права, и, спасая никчемную свою жизнь, которая казалась немцам уже конченной, он проявлял диковинную смекалку и расчетливую отвагу, в него вселялся никем еще не измеренный дух общности со всей вспаханной и неспаханной землей России, срабатывали еще не познанные механизмы психики, на все инстинкты русского человека испокон веков накладывались ощущения-рефлексы от громадности и громоздкости державы, границы которой неизвестно где, от самолюбивого неприятия всего иноземного, от простора и шири, которые никогда не убудут, от осознания зачуханности своей, неотмываемой до того, что ею можно гордиться, от проникновения в собственное величие, потому что от дедов и прадедов знаемо: на твоих костях государство держится, только на них, поэтому государственные мужи и могут дурить, потешаться, паясничать, скоморошничать, торговать в убыток, голодать, сидя на мешке с деньгами, устраивать гульбища при пустой казне, дурным глазом смотреть на соседей, пугая их несметной ратью...

Незримые железные маски. — Городской транспорт на лесной поляне. — Летим, прыгаем и приземляемся. — Михаил, основатель династии Бобриковых

Пора, однако, возвращаться в Крындино. Туда прибыл Чех. Всех нас троих рассадили по разным классам школы, под диктовку своего Тренера-Наставника (или Учителя — кому как нравится) я заполнил анкету из более чем шестидесяти пунктов. Ни одно слово и ни одна цифра в ней не соответствовали правде, я обрел новую фамилию, я теперь не в Сталинграде родился и не 28 августа, моими родителями стали абсолютно незнакомые мне люди. Я учился в разных школах разных городов СССР и даже успел поступить на первый курс Института иностранных языков. Все написанное мною было враньем, кроме почерка, но и его я лишился, потому что после заполнения анкеты и написания автобиографии к столу подсел вошедший в класс командир, в котором я узнал инструктора по агентурной работе, этому делу учил он меня еще там, на курсах. Естественно, мы сделали вид, что не знакомы. Чех соглашающе кивнул, прочитав написанные мною документы, лживые от начала до конца. Собрав со стола все бумаги, командир унес их с собою, а Чех проверил мое умение сосредоточиваться на внутреннем объекте. Я созерцал себя, надеясь услышать «манану», потом рывком прыгнул в реальность. Вернулся командир, все анкеты, автобиография, обязательства и подписки стали машинописными, я вывел какие-то закорючки под ними, затем рукописные плоды моего полуторачасового труда скомкались — при мне же — и сунулись в печку. Командир кочергой оттянул вьюшку, зажженная спичка воспламенила бумаги.

Примерно так же покончено было с прошлым Алеши, который Алешею оставался только для нас и то наедине, чему он порадовался. Нас ждали громкие и героические дела. Другого мнения о происшедшем был наш командир. Григорий Иванович грустно — чего от него не ожидалось — промолвил, наливая за ужином водку себе и Алеше:

— Нехорошо они с мальцом нашим поступили... Мы-то безродные как бы, сгинем — и никому дела нет. А мамаше Леньки даже похоронки не пришлют.

Алеша звякнул стаканом о стакан, выпил и бодро ответил:

— Не каркайте, Григорий Иванович!.. Предчувствие у меня есть: все

мы до Берлина дойдем. А уж что после — извиняюсь, догадок нет...

Тут только до меня дошло, что отныне мы — и я в том числе — безвестные, ничейные, мы не значимся ни в одном списочном составе, нас вообще нет в армии, мы вроде бы и не рождались даже. Тем не менее все наше перечеркнутое и сожженное прошлое существовало, подтверждалось этим ужином, небывалой грустью Калтыгина, жалеющего меня, Алешею, в котором я жил еще тем, зугдидским, мальчуганом. И Лукашиным — этот заглянул к нам перед ужином и твердо обещал: все письма будут храниться у него, вернемся — он из рук в руки передаст их нам. И Костенецким. Полковник долго за час до ужина, как равный с равным говорил со мной, увлечение музыкой полковник приветствовал, однако же считал, что время мною упущено, серьезным музыкантом не стать уже, нет смысла поступать после войны в консерваторию; университет, филологический факультет с последующей специализацией — вот к чему надо стремиться. Музыка может только способствовать речевым навыкам. «Кантулия» не «Кантулия», но аккордеон ждет меня!

В эту ночь нас увезли в пионерлагерь. Полоса препятствий дополнилась немецким штабным автобусом, мы решетили его одиночными выстрелами и автоматными очередями, вскакивая внутрь через окна и обе двери. Однажды, нацелкавшись кнопкой секундомера, неудовлетворенный Чех полез в продырявленный автобус, сел в центре на распотрошенное пулями сиденье, махнул рукой: «Давай!» — и запустил стрелку. Штурм длился несколько дольше прежнего, одна из пуль срикошетила и обожгла Чеху шею. Поджав бескровные губы, он недоверчиво смотрел на циферблат. В автобусе пованивало горелой ватой. Оценки мы не услышали. Зато получили ценный совет, один из многих:

— На будущее: достаточно бросить кирпич на крышу автобуса — и все в нем сидящие глянут вверх. Или пригнутся. На этом отвлечении внимания можно сыграть.

Он все знал и все умел, тихий голос его становился вкрадчивым, когда, смотря куда-то под ноги и водя по земле прутиком, Чех излагал секреты своего ремесла. Он показывал нам, как проверять парашют, как прыгать на горящий лес и что делать, если в горах потоки воздуха тянут тебя в ущелье, откуда не выбраться. Трижды мы прыгали с больших высот, согласованно приземлялись. Однажды покинули самолет втроем, держась за руки: я, Чех и Алеша. Мы поняли, что воздух так же плотен, как и вода, и в нем можно плавать, кувыркаться и покоиться, в воздухе есть щели, ямы, горки.

С самым заданием познакомили нас поэтапно; Григорий Иванович потребовал макет местности с объектом, на который нас нацеливали. Макет

вылепили — но без названия населенных пунктов, с картой не сравнишь. Назначили наконец день вылета: завтра после захода солнца. Карты развернулись на последнем инструктаже в пионерском домике. Ни Костенецкого за столом, ни Лукашина — полковник и майор начальствуют отныне над нами только «по хозяйственной линии». Десять суток отводилось на задание. Вот район высадки (карандаш Чеха обвел его кругом), вот маршрут следования, вот место ожидания, вот предполагаемый путь автобуса или легковой машины. Цель — портфель в руках одного из едущих. Подробности — за час до запуска моторов. Тогда же — шифры. В зоне ожидания — полное радиомолчание, только прием.

Сто шестьдесят килограммов — с таким грузом мог прыгать богатырь Калтыгин. «Ломовая лошадь», — пожаловался он неизвестно кому. Подлетел Алеша: «Григорий Иванович, родной, позвольте облегчить вашу участь, отдайте спирт...» Мой счет был не в килограммах, я мысленно выводил цифру 22 на ромбике под значком парашютиста, и я верил, что на обратной стороне ромбика число убитых мною лично немцев перевалит за дюжины. Верил, потому что видел отчетливо каждого немца, падающего навзничь. Из плотного времени Чех выкраивал минуты, чтобы позаниматься со мною. Мысль, наставлял он, опережает действие, и действия надо подгонять под уже созданные воображением финалы. Я начинал мнить себя Великим Диверсантом и воспитывал свое тело образами себя. Я успевал за три секунды швырнуть гранату и повалить мишени, стреляя по ним из двух пистолетов сразу. Во мне прибавилась масса и сила мышц, они подчинялись мысли, узелочки, сплетения и бугорочки мускулов контролировались неумным воображением.

Мы спали четырнадцать часов, солнце катилось к западу, когда Чех в палатке давал нам последние напутствия. Зачихали моторы «Ли-2». Поднялись в самолет по лесенке, Чех награждал каждого мягким шлепком по затылку. Взлетели наконец. Высота набиралась большая, в ушах позванивало. Мы вновь увидели солнце в иллюминаторах, потом засияли звезды. Над линией фронта пролетели в темноте. Мне почудилось на мгновение, что из кабины пилотов доносится «манана».

На полет отобрали, уверял Чех, самых опытных летчиков, да мы и сами чувствовали, что самолет ведут знающие ребята. Встали со скамеек одновременно с красным сигналом. Первым пошел перегруженный Григорий Иванович, Алеша с рацией — за ним, я падал растопыренной лягушкой, пока не увидел оба белеющих купола.

Приземлились мы очень удачно, искать друг друга не пришлось. Лес рядом, парашюты закопали и поделились грузом. Через час определились,

выйдя на дорогу. Шли по ней до первых фар, проехал семитонный «бюссинг» с охраной. Теперь — еще одна дорога, перейти ее Григорий Иванович вознамерился с ходу, но Алеша одернул его: нельзя! Уж очень везло с самого начала, это опасно. Отошли от дороги, взяли севернее, слышали журчание помеченного на карте ручья и по нему добрались до южных окраин лесного массива. Перестроились: верткий Алеша впереди, за ним Григорий Иванович, я, самый прыткий, то замыкал цепочку, то двигался параллельно, забегая и отставая. За сутки прошли семьдесят километров, короткий привал отвели на естественные нужды. Я, мальчик, начинал уже понимать, что такое настоящая мужская работа.

Еще восемнадцать часов хода — и мы оказались в точке ожидания. Чех знал, что приземлились мы в намеченном месте и в точно предсказанное время. Я принял шифровку, Алеша расколдовал ее и сжег, поднеся к ней щегольскую зажигалку свою в виде дамского браунинга. С вещицей этой он не расставался, дразня меня ею: «Вот начнешь курить — подарю!» Спать залегли в мелком кустарнике. Каждый уже знал: цель — добыть некий портфель. И каждый уже начинал догадываться: начальство наше совсем спятило — нет, не таким путем узнаются секреты в портфелях!

Теперь еще одна дорога — шоссейная, оживленная, ни разу не бомбленная, партизан отсюда удалили три месяца назад, за портфелем, видимо, охота шла не один год, если верить Григорию Ивановичу; всегда командир наш преувеличивал важность задачи, поставленной перед его группой. С высокого вяза рассмотрели биноклями дорогу, определили место перехода. Дождались темноты. Рацию спрятали. У меня и у Алеши к этому шоссе был особый интерес, мы поэтому особо приглядывались к мотоциклистам.

Еще раз проверились и в полночь оставили дорогу за спиной. Лес редел. Сели, стараясь не дышать: мы были на краю минного поля, вышли к нему правильно, собачий нюх Алеши нас не подвел, он распознал ельник в густоте лесных запахов, а мины немцы поставили сразу за ельником.

Когда засветлело, я пополз, пальцами ощупывая траву и воздух. Мины оказались обычными, противопехотными, соединенными в цепь по контуру леса, шахматный порядок чередовался с разбросом наугад. Мешали муравьи, особо злые. Сзади успокаивающе посвистывал Григорий Иванович: не спеши, отдохни. По сделанному проходу прополз Алеша, стал помогать. Мины оставили в земле, зарубками поместили безопасный выход из леса. Под ногами — желтая хвоя и прошлогодний лист, деревья росли так плотно, что кроны их закрывали солнце и шум свой отдавали ветру. Было тихо, таинственно, куда-то подевались птицы. Мы будто в тумане

бтели. Отвернули пласт мха, пописали и покакали в общую кучу. Вздремнули по очереди. Воды во фляжках — на сутки, не больше, вся надежда на то, что в таком лесу обязан биться ключ. А нет его — не беда: моча человеческая и для ран целебна, и жажду утолит, и примочкою послужит, и... да мало ли на что способна она.

Ключ, однако, нашли, напились, наполнили фляжки. У зарослей дикой малины Григорий Иванович остановился, примерился — и к местности, что наяву, и к значкам на карте.

— Здесь поскучаем, — сказал он.

Алеша откурился и подсел ко мне.

— Посольский приказ ликвидировали аж при Петре Первом, — продолжил он рассказ, начатый еще на аэродроме, перед вылетом. — А он — Наркомат иностранных дел той эпохи, людей туда отбирали грамотных, и Михаил, фамилия которого да будет тебе неизвестна, работал во втором повытье, в отделе, ведавшем дипотношениями со Швецией, Молдавией и некоторыми другими странами. Роду Михаил был, как знаешь, худого, но выдвинулся быстро, за три года — от устного толмача до переводчика, способного готовить тексты и сравнивать их с иностранными версиями. На чем и погорел, но дал как бы запев, зачин песне, которую подхватил весь род его...

Я слушал. Я очень внимательно слушал. Я помнил, что дед мой по отцу — землемер, а по матери — сельский учитель, но кто были их родители — это уже терялось во мраке неизвестности, в глубине давно отшумевшего века, покоилось на дне эпох, и я мог предками своими считать всех славян от Пскова до Киева, весь народ от литовской границы до степей с татарами. А щепетильный Алеша брезговал таким массовым родством, он, стебелек, питался давно, казалось бы, иссохшими корнями, оживляя их тем, что знал и помнил о предках. Этот Михаил (фамилию Алеша остерегался произносить) был нещадно бит батогами, за дело бит, потому что при составлении ноты намеренно совершил ошибку, искажил титул государя, а это умаляло достоинство всего государства Российского. Алеша, однако, находил оправдание Михаилу. Нота, то есть грамота, была составлена в выражениях, где сквозняком погуливало холопство и раболепие, наследие той поры, когда униженная татарами Русь юродствовала, подставляя свою задницу под плетки иноземцев. В Михаиле, предполагал Алеша, заговорила обыкновеннейшая гордость, формы проявления ее столь у нас причудливы, что европейцу не постичь их. (Я слушал разинув рот.) Чем лечил задницу Михаил — потомкам знать не дано.

— Подъем! — сказал Григорий Иванович.

Мы поднялись и пошли. Я твердо решил: дети мои беспамятными не будут, я собою обозначил точку, от которой разойдутся линии, устремленные в будущее, в смутную даль коммунизма. После взятия Берлина я стану студентом, я буду работать в Наркомате иностранных дел и писать грамоты, то есть ноты, а по вечерам трогать клавиши «Кантулии», исполняя «манану» вместе с флейтой Этери.

Два «мессершмитта» снизились и прошли над лесом, видеть нас они не могли, но обнаружили бы деревья, покореженные взрывом мины, заметили бы и дымок, потому что посадочный курс пролегал над зеленым массивом, не при всех ветрах, разумеется. В воздухе отрабатывали курсанты свои летные часы, садились и взлетали, на аэродроме приземлился и транспортный «юнкерс», тот, на котором доставят документ, ради чего и сбросили нас.

В лесу хорошо пахло, птицы пели на все голоса. Я все более утверждался в мысли, что только благодаря мне Верховный Главнокомандующий получит сверхсекретный немецкий документ, отметит это обстоятельство в каком-нибудь приказе, и потомки мои, роясь в бумагах далекого XX века, встретят мою фамилию.

Два кореша из Вюрцбурга. — Экскурсия на шоссе. — Известный Друг подает сигнал. — Перочинный ножик — голубая мечта бесстрашного советского диверсанта. — Бобриковы безумствуют

Двое суток ушло на то, чтоб осмотреться и понять, где мы и как удачнее перехватить посылку из Берлина, тот документ, за которым нас отрядили. В глубине леса — объект, обнесенный забором и минами, сторожевыми вышками и колючей проволокой, подходить к нему Чех не разрешал, немцы тоже не подпустили бы, да и не на объект (Калтыгин называл его «фольварком») нацелились мы, а на дорогу, по которой поедет с документом берлинский связной. Его, конечно, будут охранять, на аэродроме учебного авиаполка он не задержится, сразу направится к объекту, автомашина или бронетранспортер покатают по дороге, огибающей лес, притормозят у мостика через мелководную речонку, перевалят на другую сторону, еще раз остановятся у КПП, чтоб резво одолеть пять километров и замереть перед воротами фольварка. По уверениям Чеха, связной прибудет не один, с группой старших офицеров, а тех надо, по обычаям всех армий всех стран, ублажать, хозяин объекта не поскупится на угощение, до Беловежской пуши далеко, охоту не организуешь, на рыбалку немцы не поедут, но уж в городе — а до него рукой подать — можно отвести душу. Часть офицеров смоется в Минск, и связной, проторчав на объекте двое-трое суток, на аэродром отправится с поредевшей свитой, причем, убеждал Чех, охрана будет ослаблена. Значит, портфель с документом брать надо в тот день, когда за связным прибудет самолет, а в какой час берлинский Любарка тронется в путь — это подскажет человек с объекта, сочувствующий советскому командованию: около КПП он выронит смятую пачку сигарет «Бергманн Приват».

С этого КПП мы и не сводили глаз. Первая неожиданность: не полевая жандармерия несла дежурство, а солдаты отдельного батальона, расквартированного в городе, и сменялись они не через шесть или восемь часов, а сторожили дорогу посуточно, от тягот службы отдыхая в санитарном фургоне с покрашенным крестом. Два солдата на пост, сутки службы, сутки отдых там, в городе, караульную парочку, следовательно, знали в лицо шоферы всех автомашин объекта, и подмена солдат уже невозможна, а на ней и строился наш план, затрепавший по швам, выходить же в эфир и спрашивать, что делать, было нам запрещено. Чех

внушал: «В любом случае действуйте по обстановке!» С наступлением темноты я подползал к фургону, слушал разговоры солдат, днем же рассматривал их в бинокль. Два пожилых немца словоохотливостью не отличались, их постоянно клонило ко сну и тянуло к еде, они, как промолвил однажды Калтыгин, отрываясь от бинокля, «службу поняли». Языки их не развязал бы достаточно жесткий допрос, да что они могли знать?!

Зато другая парочка болтала без умолку, им было о чем посудачить, вспоминали они родные края, женщин Вюрцбурга и всех тамошних знакомых, очень хвалили французенку и почему зря крыли начальство, бросившее их дивизию на Восток. Здесь их ранило — к счастью или к несчастью, неизвестно, к единому мнению солдаты не пришли, сходились же они на том, что война эта — дерьмо, скорей бы она закончилась, пора везения может оборваться в любой момент, ротный командир — парень неплохой, но старшина своего дождетса, мордой в сортир его сунут, надо ж, до чего додумался — строевые занятия проводит не на сухом плацу, а в луже посреди двора! Мастикой заставляет натирать уборную! А они — не новобранцы, они честно служат уже четвертый год, не считая обязательной трудовой повинности перед призывом!

Звали их Францем и Адельбертом, причем последнего напарник и земляк издевательски именовал то Адди, явно намекая на фюрера, то Берти, имея в виду какую-то Берту из Вюрцбурга, которая водила экскурсантов к епископской резиденции, к концу осмотра так распаляясь, что готова была отдаваться любому туристу. Понимал я немцев плохо, через пень-колоду: баварский диалект все-таки, но запоминал все словечки и доосмысливал их. Тому и другому — по двадцать два года, у обоих прострелены легкие, Франц в марте побывал в отпуске и давал ценные советы земляку, кого из писарей умаслить, чтоб побыстрее добраться до Бертиных ляжек.

Плохие, очень плохие немцы! Гадости про Берту, солдатские анекдоты, которые не смог бы понять германист Костенецкий, жратва, бабы — и ни словечка о том, когда прибудет связной.

Мы уже сосчитали и запомнили все автомашины объекта, был среди них и штабной автобус, точно на таком же учили нас расправляться с пассажирами за восемь или десять секунд. Эта неповоротливая колымага, битком набитая офицерами, каждый вечер отбывала в город и возвращалась около полуночи, персонал фольварка весело проводил время, начальство ездило на «хорьхе» и «опеле», чешский грузовичок «татра» привозил и увозил постовых. И ни одного мотоцикла! А он так нужен был нам, мы

ведь рассчитывали на полевую жандармерию, она с мотоциклов не слезала. Пришлось поэтому совершить марш-бросок, уйти из заминированного леса, вернуться к шоссе, высматривать мотоциклистов. Трудились всю ночь, убитых затащили в лес и упрятали в землю, один мотоцикл оставили у прохода через минное поле, второй покатали с собой. Устали так, что ныли плечи и слипались веки. На КПП — полное спокойствие, никаких признаков скорого берлинского присутствия, я отдал Алеше бинокль, заснул и был разбужен: сочувствующий советскому командованию человек просигналил — самолет ожидался сегодня. Франца и Адельберта уже сменили, у пожилых солдат обнаружился нюх на прибытие начальства, они покинули фургон и торчали у шлагбаума, автоматы перебросили на грудь. Солнце было в зените, когда пустой автобус, сопровождаемый «хорьхом» и «опелем», миновал КПП, по пыльной дороге доехал до мостика, сбавил ход, осторожно покатыл по хлипкому сооружению, потом выбрался на твердый устойчивый грунт и свернул к аэродрому. Прошло полчаса. Учебные полеты отменили, «мессершмитты» не стрекотали, в воздухе показалась черная точка, укрупнилась, «юнкерс» прошел низко над лесом, постовые задрали головы и навели в фургоне кое-какой порядок, подмели пол и спрятали примус. Время тянулось медленно, автобус не показывался. Покусывая травинку, Алеша сказал, что, возможно, все труды наши напрасны. У документа, который надо получить с боем, изменились адресаты рассылки, точнее — развоза, век не видать нам теперь этого сверхсекретного циркуляра. Или так: сам адресат выехал на аэродром, ознакомится с документом, распишется и вновь спрячется в фольварке. Документ, зная, предназначен людям, которые так нужны на месте службы, что вытаскивать их в Берлин нецелесообразно. А о том, чтоб вытащить в Москву хранителя секретов, и речи не было в Крындине.

И страх, и надежда были в опасениях Алеши... Подвел итог Григорий Иванович, сказал, что нам-то, молодым и глупым, еще ничего, как-нибудь обойдется, а вот с него — семь шкур спустят, голову отпилят, почему, завопят, не принял своевременных мер, почему?

Обсуждать приказы, как известно, не принято в армии, но, скажите, чем иным еще заниматься воинам в часы вынужденного безделья? И все мы выразили осторожное сомнение в навязанной нам Чехом тактике. Какой бы важности и секретности документ ни был, а похищать его открыто, с пальбой и грохотом — глупо. Видимо, ради шумовых эффектов и задумана вся операция, они, эффекты эти, только часть обширного плана, в котором предусмотрено и наше почти недельное ожидание самолета из Берлина.

Еще не появился убывший на аэродром автобус, а пожилые забежали

пуще прежнего, стараясь показать, что не зря сидят в тылу и шлагбаум не поднимут до тех пор, пока не проверят документы даже у тех, у кого не положено их требовать. Впереди — «хорьх», затем автобус, уже не пустой, на всех шестнадцати сидячих местах — офицеры не ниже капитана, почти у каждого — портфель, поди пойми, в каком из них самый ценный груз. Замыкал процессию «опель», там дремали двое в штатском, предъявили они постовым какие-то жетоны. Впрочем, те их знали в лицо — местные, значит, из города. Шлагбаум подняли и опустили, пожилые сплюнули и поплелись к фургону. В автобусе, на наше удивление, офицеры принадлежали ко всем родам войск, судя по цвету кителей и погон: голубовато-серые (люфтваффе), сине-голубые (жандармы), на плечах кавалеристов — ярко-желтое, у артиллеристов — серо-зеленое шитье. Одно было ясно: не на час и не на два рассчитан их приезд, совещание-инструктаж, — предположил Калтыгин, — если не инспекция.

К этому времени у нас уже сложился план захвата, нападение на штабной автобус мыслилось не у КПП, а у мостика. Калтыгин и Алеша, переодетые в добытую на шоссе форму жандармов, на там же захваченных мотоциклах окажутся у речки в тот момент, когда к мостику подъедет автобус, изобразят либо поломку мотоцикла, либо неуверенность в том, что мостик выдержит тяжесть переполненного штабного автобуса. При всех вариантах офицеры ступят на землю, в автобусе останется тот, кто с берлинским документом. Десяти секунд хватит, чтобы уложить офицеров. От меня же требовалось: захватить КПП и заблокировать дорогу, на что я с воодушевлением согласился. Была у меня своя радость, свои надежды, осуществиться они, правда, могли только тогда, когда на КПП дежурили «мои» немцы, Франц и Адельберт. Я жаждал овладеть перочинным ножиком, талисманом Адельберта!

Этот складной нож я высмотрел давно, в первый день наблюдения, зоркие глаза мои, оснащенные к тому же биноклем, залюбовались отнюдь не солдатской принадлежностью. Помимо двух широких и длинных лезвий нож вмещал в себя семь или восемь блестящих на солнце предметов — пилочки для ногтей, ножнички, шило, расческу, ложку, вилку и прочее, так нужное в быту, но малопригодное истинному диверсанту, у которого за поясом нож, называемый финским. Адельберт же нарочно демонстрировал Францу универсальные возможности своего ножика, он дразнил им земляка, как только тот начинал злословить, и Франц преображался, становился угодливым, начинал выпрашивать нож, сулил за него подарить Адельберту перед отпуском копченого поросенка. Примерно так же поддразнивал меня Алеша красивенькой зажигалкой-маузером, и я решил в

долгу не оставаться, сразить Алешу еще более внушительной вещицей. У всех разведчиков Костенецкого была эта страсть — бахвалиться какой-нибудь трофейной штуковиной, вызывая зависть у необстрелянных, не ходивших за линию фронта. Изощрялись, как могли, однажды приволокли странный набор из прямых и изогнутых трубок с утолщениями, что это такое — никто не знал, споры разрешил майор Лукашин: «Да это ж кальян, милок!» Рассматривая чудный нож, мысленно держа его в руках, я радовался тому, что отныне и у меня будет нечто, равноценное Алешиной зажигалке, и предвкушал сладкий миг торжества. Чтоб удалить моих друзей и соратников подальше от КПП, и поддержал я пылко идею захвата портфеля у мостика.

Неизвестный Друг выбросом пачки из-под сигарет указал наконец точное время, в этот час Франц и Адельберт будут стоять у шлагбаума. Я возрадовался: ножик — у меня!

В глубоком сне пребывали мы до рассвета решающего дня. Утром уничтожили все следы нашей стоянки. Вне видимости КПП сделали дополнительный проход через мины, Григорий Иванович и Алеша переоделись в немецкое, я же прикинул, что Франц и Адельберт схожи со мной по комплекции.

Все девять суток питались мы очень умеренно, но с восходом солнца позавтракали плотно, взрезали дерн, очистили кишечник и уложили на место травяной прямоугольник. Первый самолет поднялся в небо, под шум его проверили мотоцикл. Стали друг перед другом и вполголоса сказали, кто что делать будет.

Легли, чтоб отвлечься, и Алеша продолжил историю семейства Бобриковых.

Тот самый Михаил, что бит был нещадно, высочайшей милостью сосланный в Пустозерск, так там и скончался, и дело его возобновил племянник Ондрей. Возник он на поприще театра, в русской труппе, при дворе. Сохранился список труппы, набранной из мещан и подьячих, Алешиной фамилии среди нескольких десятков актеров нет, но один из преподавателей театральной школы в Немецкой слободе упоминает о нем, существует и челобитная, написанная Ондреем, племянник жаловался на тяготы из-за недоплаченного алтына, это слезное прошение датировано 1676 годом. В последующем Ондрей на судьбу не гневался, он выбился в люди, он реформировал сцену, а полсотни лет спустя потомки его установили, что Ондрей приложил руку к созданию комедии об Адаме и Еве, написана она языком настолько русским, что ставит под сомнение авторство известных хронисту драматургов. Ондрей же был первым,

пожалуй, из тех, на кого пало око цензуры. (Я был весь внимание, потому что ненавидел цензуру, похабившую письма Этери.) Вообще же цензурного комитета в ту пору не существовало, поправился Алеша. На страже нравственности стояли доверенные лица, они и определяли размер щелей, сквозь которые царица с детьми смотрела спектакль. Но с этими стражами и поцапался Ондрей, батогов он избежал, его просто вытолкнули вон из кремлевских покоев. А при Федоре Алексеевиче служителей театра поприжали, и Ондрей от нового искусства отошел окончательно. Не соблазнило его приглашение стать режиссером «потехи» на Красном пруду в честь взятия Азова. Неизвестно, когда он умер и скольких сыновей имел, но одного из них пустил по морской линии, по-своему отреагировав на Азов: сына отправил в Навигацкую школу, вскоре переведенную из Москвы в Санкт-Петербург, и сын, Федор, оставил след и в истории русского флота, и в стенаниях русской военной мысли. Отличился Федор в Финском заливе, когда разгромлен был шведский флот. Опытом строительства крупнотоннажных судов Россия не располагала, шведов сокрушила армада галер, бравших на abordаж свейские бриги и фрегаты. Воодушевление после победы было полным, буйные головы, взяв пример с разгоряченного викторией Петра, на совещаниях, походивших на ассамблеи, требовали создания флота из мелкоосадистых шняв и карбасов. Одиноко прозвучал трезвый и непрокуренный голос Федора, он уже за прорубленным в Европу окном видел океанские шири, он ратовал за флот, способный на всех широтах противостоять британскому. Молва с одинаковым усердием как идеализирует, так и погружает в грязь, миф о демократизме Петра возник на реальной основе, царь все-таки самолично тюкал топором по дереву и стрелецким шеям, идеи Федора он отверг, обматерив его; при неисчислимых богатствах России государям ее дешевле обходилось воровство Меншикова и прочих, нежели полезные суждения холопов. Федора затерли в Коллегию, поручив надзор за деятельностью мануфактур...

...И до конца войны Алеша раскручивал передо мною историю Бобриковых... И до чего ж приятно было слушать его сейчас! Раздвигался лес, и расширялась дорога, воображение взлетало к небу, все, свершенное предками, становилось упокоенной историей, к которой причастны и мы, эту историю еще придется слушать и слушать, от первого театра до наших дней столько событий произойдет, мы будем внимать им, лежа в другом лесу. Мы, следовательно, одолеем сегодня немцев и утащим портфель с документом, мы через двое суток предъявим его командованию и заслужим благодарность, мы отоспимся, наконец! Повару прикажут налить нам щей

погуще да побольше, хлеба дадут по настоящей фронтовой норме, не урезанной! Мы отпаримся в бане, врачи смажут болячки, следы укусов комарья и клещей, забинтуют раны, если таковые будут, ведь впереди — бой. Нам пока везло, нас охраняли сами немцы, мы находились в запретной зоне, западная граница ее проходила по речке Мелястой, у моста через которую и решено было устроить засаду.

Мальчик и перочинный ножик в королевстве кривых зеркал. — Кровопролитное сражение у речки Мелястой. — Ай да Леня, ай да молодец! — Бригада «Мертвая Рука»

Весь тыловой (и фронтовой, наверное) быт немцев покоился на точном времени приема пищи. Батальон в городе завтракал рано, поэтому еще до восьми утра на КПП привезли смену, Франца и Адельберта, земляки бережно составили на землю бачки с едой. Офицеры фольварка за стол садились позже. Около девяти у шлагбаума приостановился «опель», едущий в город за почтой. Вне всякого распорядка дня зарокотал над лесом «Ю-88», целясь на посадочную полосу. Мы переглянулись: все правильно, Неизвестный Друг не ошибся, портфель сегодня повезут на аэродром. На руках вынесли мотоцикл с коляской на дорогу, изгиб ее не позволял постовым видеть нас, но слышать — могли, и друзья мои покатали мотоцикл, а я вернулся на свой наблюдательный пост. Телефонные провода связывали КПП с фольварком, я не раз уже подсоединялся к линии и порядки знал. Рыкнул в фургоне аппарат, Франц в ответ заорал: «Так точно!» Оба неторопливо пошли к шлагбауму, ожидался, я понял, автобус. Хорошо бы — с «хорьхом». Тогда бы я, умертвив постовых и забрав складной ножик, бегом помчался бы к Мелястой, предварительно обрезав провода, опустив шлагбаум. Ни один немец на колесах не осмелился бы поднять его и поехать к речке.

Дважды уже автобус покидал фольварк и возвращался за полночь, всякий раз оставляя в городе двух или трех офицеров, и в это утро я не удивился, насчитав девять человек всего. Заметил я и того, кто — по нашим догадкам — прилетел из Берлина с документом. Сидел он сразу за шофером, где портфель — увидеть я не мог, мешала широкая спина одного из немцев, это не понравилось мне. Тревожило и поведение постовых. Франц и Адельберт прибыли на КПП голодными и злыми, осыпая друг друга баварскими ругательствами, Адельберт, всегда державшийся несколько пришибленно, замахнулся на Франца, тот будто не заметил.

Шлагбаум поднялся и опустился, Франц остался на дороге, Адельберт из фургона позвонил, доложил, шмякнул трубку об аппарат. Десять, пятнадцать, двадцать секунд... Шестьдесят! Брошенная вчера пачка сигарет указывала: портфель повезут сегодня!

В намечавшемся боесоприкосновении я решил на практике проверить

суховатую теорию Чеха. «Смотри в глаза врага, как в зеркало, и ты увидишь в них себя! Не отражение твоей фигуры, а ужас, презрение, недоверие или радость, которые внушены тобою. Ты будешь контролировать себя и управлять врагом!»

Поупражняться захотел я, чтоб заслужить благодарность Тренера. И проверить в работе финку, я лично сделал ее в походной мастерской батальона железнодорожных войск, исходным материалом послужил стропорез. Дважды я прыгал с запасным парашютом, тогда-то и дали мне нож-стропорез, который я, по совету Алеши, заначил.

В фургон я вошел, когда Адельберт, стоя спиной ко мне, слушал телефонную трубку. Положил ее и рукой потянулся к полочке с мисками и ложками; он так и застыл с протянутой рукой после моего удара носком сапога в задницу. Медленно-медленно повернулся. Он смотрел на меня, как на яркий свет, сомкнул веки и помотал головой, отказываясь верить глазам. Он даже воздел их к потолку, надеясь увидеть дыру, пробитую моим падением с неба, а когда понял, что я — живой и чужой человек, то всего лишь удивился, обнаружив перед собою мальчишку, завернутого в маскировочный халат. Следуя наставлениям Чеха, я представил себе, как убью сейчас немца, как умерщвлю его наиболее рациональным способом — тычком стропореза в одно чрезвычайно уязвимое место, чтоб не струилась темно-красная жидкость, увлажняя и вымазывая одежду. Страх запрыгал в его глазах, наполнил их и выплеснулся на лицо, он сделал было движение плечом, перемещая «шмайссер», но я уже накачивал себя ненавистью к врагу, я уже видел его мертвым, и Адельберт открыл рот, готовясь произнести слова молитвы, и одновременно с тычком ножа я сомкнул пальцы на его гортани. Расстегнул китель и дернул за штанины, стянув предварительно сапоги. Переоделся. Все свое, снятое, упаковал в сверток. Полез в карманы, ощупал их — и растерянно обежал глазами фургон. Произошло невероятное, страшное!

Ножа не было! Того произведения искусства, которым я любовался издали! Ни в карманах, ни в солдатской сумке Адельберта перочинного ножика с двенадцатью лезвиями не было! Я метнулся в угол, к бачкам с едой, приподнял крышки их — нету! Пошарил по полочке с мисками, заглянул в котелок с кофе, потряс примус. Злость поднималась во мне такая, что я едва не пристрелил Франца, который наигрывал на губной гармошке в пятнадцати метрах от меня, привалясь спиной к полосатому бревну. Нет ножа! Нечем дразнить Алешу! Не обступят меня со всех сторон разведчики, глаза на боевой трофеей, на вещественное свидетельство моих ратных подвигов, на возвышающее меня доказательство того, что я уже

бывалый воин, настоящий красноармеец, а не «сынок», не «малыш», как называли в Крындине младшего сержанта Филатова.

В суматошной одержимости сунул я руку в сумку для противогаза, отвинтил крышку фляги и наклонил ее. Нет ножа, нет!

Выскочив из фургона, я изо всей силы заорал Францу:

— Ты, скотина, у тебя нож?

Не отрывая от губ гармошку, он проиграл музыкальную фразу, означавшую «А пошел ты к...».

Я еще раньше подозревал его в нечестных поступках, а уж его хамское отношение к экскурсоводу Берте меня возмущало. Терпение мое лопнуло, к тому же с секунды на секунду ожидал я начала боя у речки Мелястой, надеялся уловить хлопки выстрелов. Тишина стояла полная, из-за берлинского «юнкерса» жизнь на аэродроме замерла, издевательская мелодия Франца разносилась по всему лесу.

— Отдай нож! — завопил я, подскакивая к шлагбауму.

Франц как-то размыто глянул на мои сапоги, поднял глаза выше — и гармошка шмякнулась на землю. Он увидел мой нож, заткнутый за ремень, и боялся глядеть на меня, потому что уже понял, кто стоит перед ним. Еще ниже наклонив голову, он полез в карман и протянул мне ножик Адельберта.

И тут же упал. Я оттащил его в кусты, потому что услышал приближающийся автомобиль, и выскочил на дорогу в тот момент, когда перед шлагбаумом остановился «хорьх». Два человека сидели в нем, шофер и — на заднем сиденье — майор, староватый мужчина, отлично выбритый, наодеколоненный. Шофер смотрел на меня с легким вопросом, и я понимал, чему удивляется он. Меня он раньше не видел, но допускал, что знакомый и привычный ему постовой заболел и заменен другим. Но и новой смене на КПП сказали же по телефону, что «хорьх» осмотру не подлежит. Так давай, приятель, поднимай свое длинное полосатое полено, руку к пилотке — и будь здоров!

Я же неотрывно смотрел на руки майора. Он сидел чуть подавшись вперед, сунув ладони под пах, и, когда глаза наши встретились, я как бы с отдаления, из фургона увидел то, что произойдет через несколько секунд: на меня ударит взрывная волна от взлетающего на воздух «хорьха», и автомобиль этот, объятый пламенем, я увидел в глазах майора — не саму автомашину, а смирение перед неминуемой гибелью, к которой уже был готов майор, и, опережая взрыв, я выстрелил — в плечо его ниже погона, потом вровень, затем в погон, разрывая мышцы, сокращение которых могло бы потянуть руку вверх. Шофер вывалился из машины и на карачках

отползал от нее, ему досталась последняя пуля. Я же выхватил финку и вонзил ее в локтевой сгиб правой руки майора. Он был еще жив, я ощущал биение чужой, ненавистой мысли рядом с собою и угадывал желания, исторгаемые еще дышащим телом немца и грозившие мне гибелью. Рванув дверцу машины, я выхватил пистолет из свисавшей руки майора и разрядил его в сгиб локтя, а потом взмахом финки отсек руку от тела, подхватив ее. Кисть была окольцована браслетом, а от него к портфелю в ногах майора шла никелированная цепочка, нырявшая под клапан, к подрывному устройству.

Такой неожиданный разворот событий требовал хотя бы минутной паузы на обдумывание, на перестройку эмоций, но радость ошеломила меня. Портфель с подцепленной к нему рукою (из нее сочилась кровь) был наградой, трофеем более ценным, чем перочинный ножик с набором приспособлений на все случаи диверсионной жизни, и к нему следовало относиться бережно, я держал его на коленях, когда гнал «хорьх» к речке Мелястой, откуда почему-то не доносились выстрелы, и лишь по столбу дыма можно было догадаться, что там, у мостика, жарко.

Горел автобус. Он сгорел уже, он чадил, он походил на вагон товарняка после бомбежки, Калтыгин вытаскивал из остова его последний труп, все прочие лежали в линейку, и Алеша обыскивал их, зашвыривая в мотоциклетную коляску сумки, портфели, планшеты, личные документы. На мой индейский клич («О-го-го-го-а-а-а!...») они ответили проклятиями, но портфель, предъявленный мною, и два немца в «хорьхе» (шофера я тоже привез) оборвали истощенную матерщину. Не было времени разоружать портфель, я бежал вслед за мотоциклом, одной рукой прижимая к груди добычу, а другой утирая пот со лба, и все вокруг окрасилось в розовое. Григорий Иванович сидел за рулем, Алеша пристроился сзади; мы вонзились в лес под охрану минного пояса, чтоб помеченными зигзагами пересечь его и достигнуть шоссе. Алеша спрыгнул, побежал впереди, указывая дорогу. Наконец знакомый ельник, здесь мы остановились, разбросали ветки, выкатили спрятанный мотоцикл, отрыли перепрятанную рацию. Стали гадать, как отсоединить майорскую руку от портфеля. Кусачками нас не снабдили, и кто мог предположить, что документ окажется в заминированном портфеле? Перебить пулей цепочку — решил было Калтыгин, но тут же отверг эту идею: ударное устройство мины могло сработать от близкого выстрела, а я был так измучен, что руки тряслись; будь я спокоен — и цепочка распалась бы, расстрелянная издали.

Так ничего и не решили. Выждали момент и въехали на безлюдное шоссе, портфель и руку замотали в маскхалат, меня посадили за спиной

Калтыгина, Алеша оседлал запасной мотоцикл. Обогнали обоз, объехали кругом поселок с гарнизоном, потом вновь шоссе, навстречу попадались автоцистерны без охраны, промелькнул взвод велосипедистов. Кажется, нас не преследовали, да и отъехали мы уже от объекта достаточно. «Держись, Леня, держись!» — кричал мне Калтыгин. Ветер и движение сдули с меня розовое облако, я увидел, что руки мои в крови, и забеспокоился, как бы то же не увидели немцы, а стрелки на часах приближались ко времени сеанса, надо было докладывать Чеху. Свернули на проселочную дорогу, в луже обмыли руки и лица. Километров через двадцать заглушились, огляделись: опушка леса, солнце заходит, вдали чернеет свежесожженная деревня. Тишина, над головой постукивает белка. Вдруг захохотал и повалился на траву Алеша, катался по ней, всхлипывая, давясь смехом и суча ногами:

— Бригада «Мертвая Рука»!.. «Мертвая Рука»!..

Со страхом смотрел я на Алешу, который будто гасил на себе огонь, прижимаясь к земле то боком, то грудью, и в кудахтающем смехе его было безумие. Я и раньше догадывался, что друг мой психованный, что лишние полстакана водки низвергают его в глухонемую подавленность, из которой он выскакивает, корчась от удушливого смеха. Но, кажется, и Григорий Иванович знал о припадочности Бобрикова. Он продолжал спокойно курить, предостерегающе глянув на меня:

— Не подходи к нему. Пусть подергается... такое бывает... И с ним, и со всеми...

Наконец Алеша застыл, замер в позе окоченевшего трупа. Прошла минута, другая — и он легко встал на ноги. Лицо его и глаза были светлыми и чистыми. Осторожно развернув маскхалат, он пригляделся к накладным замкам портфеля, к браслету, попросил что-нибудь тонкое и острое, я протянул ножик, и коротким шильцем Алеша отомкнул браслет, все остальное доверено было мне, извлеченную из портфеля гранату отнесли в кусты подальше, долго рассматривали парусиновый пакет, обшитый холщовыми нитками: ни сургуча на нем, ни диагональных полос разного цвета, какими немцы обозначали секретность почты и важность отправителя. Развернули рацию, дали знать Чеху: задание выполнено, находимся там-то и там-то. Наметили маршрут, предстоял бросок на восток. Быстро темнело, еды осталось совсем немного, мучила жажда, Григорий Иванович приняхался и послал Алешу к воде. «Руку бы закопать», — предложил я, Григорий Иванович буркнул: «Найди ты ее теперь...» Так и уехали, спеша на восток.

Еще сутки мотались мы по этому краю, пуще всего опасаясь партизан. Мотоциклы бросили, бензин кончился, голод утолили, когда добытые в

автобусе бумаги перекладывали из коляски в мешок: в офицерской сумке нашлись бутерброды. Осмотрели предполагаемую посадочную площадку, Калтыгин остался доволен. В шесть ушей слушали воздух, зажгли костры, самолет еще не остановился, а мы уже бежали к нему, меня, самого легкого, вбросили вовнутрь, вослед полетел «Север» с питанием. Григорий Иванович забрался сам и подтянул Алешу, ни спать, ни дремать не пришлось, «Ли-2», уклоняясь от грозы, то взлетал, то падал. Когда же пробили облака, то внизу увидели знакомый аэродром. «Благодарю за службу!» — прохрипел Григорий Иванович, первым спрыгивая на землю.

Скромное ликование руководства, или до-ре-ми-фа- соль-ля-си-до... — Младшелейтенантские кубари, долго сверкавшие на небе, наконец-то падают на землю. — Странная просьба Чеха. — Приключения перочинного ножика: что лучше — баба или манная каша? — Первый парень на деревне и жеманная переводчица Инна Гинзбург

Да, Григорий Иванович первым спрыгнул, первым оказался на земле, а все остальное основательно мною забыто, потому что обнаружилось позорное обстоятельство: я так устал, что из последующего помню только хлестание банного веника и визг Алеши. Мы долго отпаривались, Чех смазал наши болячки чудодейственной смесью трав и меда. Командование, сказал он, признало задание выполненным, за что и благодарит нас. Все трое будут, добавил он, представлены к правительственным наградам.

Да, я устал, в чем стыдился признаться. Сказалась привычка к утренней десятикилометровой пробежке, ее-то и был я лишен. Но Чех-то — мог предвидеть катастрофу, перенесенную моими мышцами, моим мозгом. Я близко, так можно выразиться, общался с двумя немчиками из Вюрцбурга и понял, какие они гадкие людишки, и таилось во мне тягостное недоумение: и как это так случилось, что миллионы таких немчиков до самого Сталинграда все гонят и гонят нас, и даже если б на всем протяжении тысячекилометрового фронта произошли тысячи кровопролитных, как на речке Мелястой, сражений, то и к исходу года войска наши не подошли бы к Берлину. Война затягивалась, конец ее мыслился — как мы договорились с Алешей — кровавым кошмаром, ибо мой друг решил что-то страшное совершить с Берлином, городом, который оскорбил его некогда. После расправы же со столицей Германии предполагалась демобилизация, я видел себя спрыгивающим с полуторки рядом с домом, ко мне бежит, крыльями раскинув руки, моя Этери, и наши объятия прерывают звон орденов и медалей на моей гимнастерке с погонами капитана.

Много дней будет длиться пир в селенье, не истощатся, как бурдюки, рассказы фронтовиков, и я, конечно, расскажу о том, как сражался с фашизмом, как десять суток подряд сидел в засаде и как добыл сверхсекретный портфель...

Но, представляя себе смутно расправу с Берлином, отчетливо видя пиршественный стол в селенье, я так и не мог мысленно даже раскрыть

рта, чтоб поведать сельчанам и моим бывшим одноклассникам, что делал я, отрывая портфель от тела немца. Что-то замыкало мои уста, фальшивая нота вторгалась в мелодичный лад — и я сникал. Я чувствовал: что-то здесь не то и не так, и впервые я учуял этот, как принято сейчас говорить, внутренний дискомфорт тогда еще, когда писал отчет о захвате портфеля, и даже много раньше, после сидения или лежания в болоте. Мало того, что слова не соответствовали тому, что делалось: деланное казалось выдуманным от начала до конца, ибо не могло такого быть, враки все это, сказки!

И не я один страдал от невозможности словами выразить мысль. Мы думали о судьбе портфеля, который, наверное, никому не нужен — ни немцам, ни нашим, и кровопролитное сражение на речке Мелястой, короткий бой у шлагбаума — все впустую. Настоящий документ, уверял Алеша, добывается не с боем, а втихую, незаметно прочитывается и еще скрытнее водворяется на прежнее место. Я возражал: а не в том ли смысл всего учиненного нами кровопролития, чтоб внушить врагу: да, мы, русские, такие глупые...

— Сколько ж веков можно придуливаться... — вяло возразил Алеша.

Весь день скрипели наши перья, каждый из нас писал о том, что видел и что делал, начиная с момента приземления в тылу немцев, и как оценивает он действия остальных членов группы. Было стыдно и больно хулить Алешу и Григория Ивановича, но, верный присяге и комсомолу, я не мог умолчать о том, что друзья мои нарушили приказ, подожгли, неумело атакуя, автобус, в результате чего часть документов сгорела. Не находил я разумным кое-какие свои поступки, их я перечислил и дал им суровую оценку. Так, переодеваться в немецкое надо было мне до захвата КПП, ведь форма-то у меня имелась, я снял ее с убитого на шоссе немца. Осудил я себя и за перочинный ножик, которого домогался: попытка овладеть им во что бы то ни стало могла дорого обойтись всей группе. Наконец, я счел нужным высказать свои соображения о Неизвестном Друге, том самом, который сочувствовал советскому командованию. Мне очень не нравилось его поведение, я сомневался в его искренности. Только он мог, единственный из немцев, знать о предстоящем нападении на автобус, и так уж получается, что не без его подсказки берлинский связной от автобуса отказался.

Предвидел Неизвестный Друг и захват портфеля в «хорьхе», иначе не позаботился бы о взрывном устройстве. Загадочна, продолжал я, сама схема подрыва портфеля, в надежности ей не откажешь, как и в дурости исполнения. Самоделка. Сущее безобразие.

Много чего душевного и задиристого написал я.

Изучив мой отчет, Учитель погрузился в размышления. Он сидел на топчане, по-восточному поджав ноги и окутываясь табачным дымом.

— Придется переписать, — произнес он сожалеюще. — Тот, кого ты называешь Неизвестным Другом, в состав группы не входил, оценивать его действия будут вышестоящие товарищи. Но за информацию — благодарю. Отчет надо переписать и все, касающееся нашего человека на объекте, опустить. И давай договоримся: ты, Леонид, никогда, никому и нигде не расскажешь о нашем друге и своих сомнениях... Никогда! Никому! Договорились?

Я поклялся, что исполню его просьбу, и быстренько переделал отчет. Чех одобрительно потрепал меня по плечу и мягко спросил, почему я все-таки не использовал немецкую форму, почему заранее не переоделся в нее. И тогда я смущенно признался: форма-то офицерская, немец-то, аккуратно подстреленный мною, был в лейтенантском чине, а я-то всего младший сержант!

Улыбка появилась на бледном лице Чеха.

— Считай, — сказал он, — что это недоразумение... Приказ о тебе и Алексее на подписи, через несколько дней вы станете младшими лейтенантами РККА, и... — засмеялся он, — ты вправе отныне носить форму немецкого офицера.

Десять дней дали нам на отдых, Чех отбыл в неизвестном направлении, — отсыпайся, резвись, хлебай щи! Но непонятная болезнь поразила нас, мы стеснялись друг друга, еда в рот не лезла, Алеша отказывался от водки, а Григорий Иванович не видел в соседней избе молодуху, ту, что норовила показываться ему. «Мочалка», — промолвил он грустно о себе и о нас, начавших понимать, какие беды выпали на нашу долю в том лесу, где мы просидели десять суток. Ожидание измочалило нас, тюрьмой был этот лесной массив, в нем лишнего шага не сделаешь, громкого слова не скажешь, мы всего боялись, спали по очереди, естественные нужды справляли так, будто под огнем немцев закладывали мины в устои моста. Я не курил и еще не брился, друзья же мои каждую затяжку растягивали, всякий раз она казалась последней, и бриться им приходилось ежедневно, золингеновскую бритву Чех из каких-то соображений у Калтыгина отобрал, и если Алеша привык бриться половинкою лезвия, защемленного в ветке, то наш командир изрыгал проклятия, морщась перед осколком зеркала. Куда охотнее они каждый день брали бы штурмом штабные автобусы, да и мне тоже отсечение (или отстреливание) руки майора было занятием менее трудоемким, нежели

нудное лежание у фургона, где препирались два немчика из Вюрцбурга.

Какой уж тут отдых, если нас так и тянуло разругаться и разбежаться... Еще и потому, что без намеков Чеха стало понятно: мы должны доносить друг на друга в отчетах, предварительно сговорившись. (Наш командир Григорий Иванович не всегда придерживался этого правила, он более склонялся к «большевистской критике», чем к «большевистской самокритике».)

Первым исчез Алеша, пристроился к телефонисткам и уехал с ними в штаб, а потом и Калтыгин испарился, слова не сказав мне на прощание. Я очень обиделся на них — и за то, что они бросили меня, и потому еще, что мой боевой трофей, то есть перочинный ножик на все случаи жизни, должного впечатления так и не произвел.

«Детские цацки!» — презрительно фыркнул Григорий Иванович, Алеша тоже ни во что не ставил драгоценную добычу. Раньше ты, сказал он, в носу пальцем ковырял, а теперь будешь с применением немецкой техники... Чтоб не ходить на ротную кухню, я забрал сухим пайком все положенное на нашу группу и отдал продукты доброй старушке, на постой к которой определили нас. Вся деревня — пятьдесят хат, живого в них — женщины да дети, их я угощал конфетами из тех сладостей, что прислал мне майор Лукашин, и всем показывал трофей — с боем добытый перочинный ножик. Но дети почему-то пугались, брать в руки полезный и красивый предмет отказывались. Обида терзала меня. Писем из дома не было, о «Кантулии» приходилось только мечтать, никто не приезжал с орденом и не награждал меня. Вспоминалось к тому же, как плевался Григорий Иванович, когда при нем заводил Алеша разговор о наградах, к которым мы якобы представлены. Черта с два увидим мы эти ордена-медали, ругался он матерно, неизвестно ведь, на какую фамилию выписаны наградные листы, мы ж сверхзасекреченные, мать твою так! И следовали проклятия в адрес Чеха, Калтыгин ненавидел его почему-то, хотя и признавал «башковитым».

Трофеем отягощал мой карман, и однажды я отправился на базарчик. Показывать ножик я пока не стал, решил с большей пользой провести время. Чех не раз советовал: учиться надо на чужих ошибках, слушай бывалых людей! Вот и нашел я этих людей у базарчика, под березами в тени сидели раненые, окруженные тыловым народом, и все они слушали раскрыв рты парнишку в госпитальной курточке и с рукой на перевязи. Парнишка заливал, конечно, о своих боевых приключениях и мытарствах, о том, как он, дивизионный разведчик, ходил по немецким тылам, как подрывал мосты и снимал часовых. Врал-то он врал, набивая себе цену, но,

внимательно слушая безбожный треп его, я понемногу приходил к выводу, что немецкие порядки он все-таки мало-мальски, но знает, научен правильно подкладывать мины под полотно железной дороги и умеет хорошо отрываться от погони. Мелькали в его рассказах детали, которые запоминаются только после того, как их прощупаешь. Я начинал ему верить, однако стоявшая рядом со мною медсестра презрительно кривила тонкие губы, показывая еще и вздернутым носиком, что парнишка — задавала, никакой он не разведчик и немцев только в киносборнике видел. Резко повернувшись спиной к рассказчику, медсестра пошла прочь, всем видом своим демонстрируя неверие, и походка ее говорила: мочи нет выслушивать это вранье! Я же, уязвленный ее поведением, двинулся следом за нею, догнал и возмущенно заявил, что парнишка говорит правду, что он действительно бывал в немецких тылах и отрицать его боевые заслуги — нехорошо.

Медсестра — не так уж и красивая, но, как сказал бы Алеша, фигуристая — отступила на шаг, чтоб рассмотреть меня. Губы ее по-прежнему кривились, а в глазах стойко хранилось недоверие ко всем, пожалуй, мужчинам. Она резко спросила, откуда мне известно, врет раненый или не врет, и мне ничего не оставалось, как вытащить из кармана перочинный ножик и протянуть его фигуристой медсестре.

Она подержала его в руках, поработала с ним, добрея с каждым лезвием, по одному высвобождая их и вновь защелкивая, а когда увидела маникюрные ножницы, то приняла решение. Глаза ее зажглись настоящим, хозяйственным интересом.

— Что ж, — сказала она, — можем и договориться на будущее... На денек опоздал ты, вчера бы пришел — так с полным удовольствием. Ты как — на послезавтра согласен?

Она подбросила ножик и поймала его, мой трофей произвел на нее сильное впечатление, потому что она предложила встретиться на этом же месте, через день. И хотя я молчал, поняла, что встреча может не состояться.

— Тогда так, — рассудила медсестра. — Я тебя сейчас познакомлю с Маней, она всегда безотказная, у нее ты и получишь свое, а уж с ножиком мы с ней как-нибудь разберемся.

Ничегошеньки не поняв, я тем не менее покорно поплелся за сестричкой. Путь был недолгим, Маня жила рядом, и я сразу подумал, что служит она в хлебопекарне. Сытый запах каравая, только что вытащенного из печи, окружал эту пухлую женщину, а грудь ее, начинавшаяся под шеей, напоминала тесто, переполнявшее квашню. Маня высунулась из окна и

подставила ухо медсестре, которая что-то нашептывала, одновременно показывая мой ножик. Глаза же Мани ощупывали меня со строгостью инструктора. Готовя петлицы к кубику, я выдернул из них угольнички, но сам себе казался бывалым бойцом, настоящим воином, чего не хотела признавать Маня.

— Нет, — возразила она, — толку с него не будет! Уж очень тощий он! Да и не баба ему нужна, а манная каша.

— Вот и подкорми его, — не сдавалась медсестра, — не пожалеешь, поверь мне, я их сколько узнала, он по виду только сопляк, а в этом деле ой-е-ей будет!

Манной каши я не хотел, о чем и сказал. Более того, я вознамерился угостить женщин конфетою «Мишка на Севере», и тогда Маня взвыла:

— Господи! Господи! От маманьки мальчика оторвали, на смерть определили, а в тылу полным-полно бугаев, мордоворотов!

Медсестра увела меня от разгневанной Мани, вернула ножик, а когда я сказал, что дарю его ей, гордо отказалась. Я, заявила она, честная девушка и задарма ничего не беру.

На том мы и расстались. Вечером же из проезжавшей полуторки выпрыгнули мои друзья. Отдых пошел им на пользу, Калтыгин выглядел так, словно только что отоспался на сеновале, Алеша хохотал и подмигивал мне, под глазом у него, правда, красовался фингал, о происхождении его мой друг отозвался кратко: «Не та землячка попалась!» Привезенные новости были худыми, газеты сообщали, что на Юге идут ожесточенные бои, писалось о ростовском направлении, почтовая связь с Кавказом прервалась, конечно, надолго, и писем от Этери не жди. Зато с обещанными наградами и званиями подвохов не было, Калтыгин лично видел приказ: он, правда, остался в капитанах, но мы — младшие лейтенанты, и все трое — с орденами Красной Звезды. В родное село под Зугдиди, рассчитал я, вернется герой многих диверсионных вылазок и операций, капитан Филатов (одна шпала в петлице), орденосец (десять штук, не меньше), обладатель значка парашютиста, под которым — пластинка с цифрами, понятными только капитану-герою.

На несколько часов заехал Чех, чтоб посмотреть на нас, легонечко поругать и похвалить. Пользуясь случаем, я попрактиковался с ним в баварском наречии, которым прожужжали мне уши Франц и Адельберт, расшифровал кое-какие их словечки. Всего-то запеканкой было то кушанье, которое они называли «кайзершмарреном», уважительно растягивая второе «а».

Возобновились мои утренние пробежки, до завтрака я успевал

накрутить семь или восемь километров, дышалось легко, радостно и хотелось оторваться от земли и лететь, лететь, лететь... Летя так однажды, я едва не сбил с ног младшего лейтенанта, девушку, черноволосую и гибкую. Это была Инна Гинзбург, переводчица из штаба армии. Она рассказала мне, что сражаться пошла с врагом добровольно, учась на третьем курсе Второго московского пединститута. Я обрадовался встрече, потому что давно уже хотел познакомиться с настоящим филологом, у меня, сына учительницы русского языка, обнаружились провалы в знаниях. Мысль моя блуждала в часы, когда писался Чеху отчет, на пере сушились чернила, когда я подыскивал слово, обозначающее ту часть руки немецкого майора, что была мною — отсечена? отстрелена? отрезана?.. Культя, понятно, — это то, что осталось при теле, а как назвать отделенный от руки локоть, то есть кисть и ладонь с пальцами? «Обрубок»? «Отрезок»? Или — «отстрелок»? Ведь я пулями отделил нижнюю часть верхней конечности и финкою отсек сухожилия.

Отдел с переводчиками занимал бывший дом-музей какого-то художника, в отведенной Инне комнате — два стола, стулья, лавка, на стенах — крюки для картин, давно снятых. Я подпрыгнул, ухватился за самый высокий крюк, подтянулся, потом мягко приземлился. Инна Гинзбург лупила на меня глаза. Спросил ее о нужном мне слове, для наглядности вытянув левую руку и полоснув ладонью правой по локтевому сгибу. Инна Гинзбург взвизгнула, закрыла пальчиками сперва глаза свои, а потом — уши.

— Фу! Гадость! Это очень неприличный жест!

Стала спрашивать, зачем мне это слово, и я не мог ей ответить. Однако она заинтересовалась. Расстегнула рукав своей гимнастерки, обнажила руку до локтя, показывая мне слабо развитые мускулы. Помня, как возмутилась на курсах Таня, когда я потрогал ее мышцы, к Инне Гинзбург я так и не прикоснулся. Зато она не скрывала восхищения, любуясь собственной верхней конечностью.

— Красивая у меня ручка, а?.. — и с сожалением застегнула рукав. Покрутила в пальцах мой перочинный ножик и равнодушно спросила, за сколько я его купил или на что выменял. Я обиделся, убрал ножик в карман, молчал. Инна же продолжала смотреть на меня, покусывая длинными ровными зубами пухлую нижнюю губу. Подалась чуть вперед и нежно осведомилась, сколько мне лет и находился ли уже в близких отношениях с женщиной. Превозмогая смущение и не желая казаться совсем уж ребенком, оскорбленный к тому же поварихой Маней, я, эти «близкие отношения» видевший только издали, но однако же к ним тянувшийся, — я

солгал.

Инна Гинзбург запылала таким гневом, что отскочила от меня на несколько метров:

— Фу! Мерзость!.. И как тебе не стыдно! Кто тебя совратил? Ты можешь назвать эту негодяйку?

Назвать я, конечно, не мог. Потупился. Инна Гинзбург успокоилась, походила по комнате, показала, что не чужда физических упражнений, ухватила, стоя спиной к стене, за два крюка, подтянулась, изобразив то, что при работе на гимнастических кольцах называется «крестом». Я увидел шляпки гвоздей ее совсем недавно отремонтированных сапог. Инна еще немного поболтала ногами, а затем продолжила допрос: с кем я провожу свободное от службы время, что читаю, хожу ли в кино, повышаю ли образовательный уровень.

Ответил я просто: извлек из кармана горсть презервативов и повторил грозное предупреждение Лукашина: «Кто подхватит трепак — под трибунал: за дезертирство или попытку уклонения от выполнения боевого задания!»

Инна Гинзбург расхохоталась, обняла меня и сказала, что в близких и неблизких отношениях ни с одной женщиной я не состоял. Достав гребешок, она расчесала меня, расспросила о довоенной жизни, погоревала над моей судьбой, умолкла, неотрывно смотря на меня, и строжайше предупредила: впредь мне ни с одной женщиной не сближаться, пока она, Инна Гинзбург, не оценит и не одобрит мой выбор.

— Сдается мне, — произнесла она задумчиво, — что я стану твоей роковой женщиной.

Подготовка к осаде белорусской Ла-Рошели. — Чех, как вечный Агасфер, учит не умирать ни при каких обстоятельствах. — Заговоренный от пуль Л. Филатов спасает друзей

Десять с чем-то дней бездельничали мы, от встреч с роковой женщиной Инной Гинзбург я уклонялся, поскольку не постиг значения этого слова, а объяснениям Алеши и Григория Ивановича верить было нельзя, они несли такую похабщину, что хоть уши затыкай. Мне так и слышалось лязганье жеребцовых зубов, когда друзья мои начинали свои ржанья о бабах.

Потому я и обрадовался, когда нас ночью подняли и увезли в тыл, переодели в мало ношенную командирскую форму, которая, на взгляд окопника, могла показаться выданной в Москве, и только в Москве, и принадлежать тем, кто сиднем сидел в самом Главном штабе. «А сукнецо — хорошее...» — промолвил Алеша, пощупав свою гимнастерку, тоном напомнив мне тот день, когда он в Зугдиди похвалил мой костюм. По пять-шесть часов в день мы расспрашивали, а может быть, и допрашивали двух окруженцев, месяц назад прорвавшихся через фронт; топали они в сторону Москвы аж из-под Шяуляя, более года петляли по Белоруссии, путь их на карте выглядел ветвистым, они одолели полосу препятствий наподобие той, что была устроена нам в пионерлагере, но в тысячи раз длиннее, они огибали немцев, прыжком перелетали через них; когда окруженцев этих привозили к нам, меня переодевали в какого-то нестроевого бойца, потому что Алеша и Григорий Иванович судьбу этих уже хорошо проверенных мужичков взяли за легенду, это они, выброшенные за линию фронта, станут этими окруженцами. Вот и запоминали они все деревеньки, где бедолаги отлеживались после ранений, и всех тех людей, у которых они просились на ночевку, фамилии старост и бургомистров, все происшествия у деревенок и райцентров. И двое этих бывалых бойцов (Калтыгин и Алеша, разумеется), настрадавшихся в окружении, в ста километрах от Бобруйска подберут сосунка, сбежавшего из лагеря военнопленных, только что забритого зугдидским горвоенкоматом и брошенного в бои.

Оруженосцы эти сохранили ту одежду, в какой переползли через нейтралку. Полусгнившее шмотье — все немецкое или почти все немецкое, что естественно и во что, конечно, обрядятся Алеша и Калтыгин за день или два до самолета. Для меня приготовили зипунчик с врезными, как у

полупальто, карманами на груди, ватные брюки, кое-где подпорченные так, чтоб становилось ясно: этот парень не раз ночевал у костра и угли выжгли о сем памятные знаки. Никакой, разумеется, рации. Оружие — все немецкое. Перочинный ножик с дюжиной лезвий я отдал на хранение, Алеше пришлось и щегольскую зажигалку в форме маузера-лилипута калибром 6,35 отдать Чеху, ту самую, которую я, придет время, вручу хористке в благодарность за успехи ее на определенном участке фронта. А вот вторая хористка, та, что превратилась — с моей помощью, надеюсь, — в лучшую драматическую актрису ФРГ...

Далась мне эта длинноносая распутница! Но постоянно сворачиваю, уклоняясь от основной темы, от того, что делали мы в нищей и несчастной Белоруссии поздней осенью 1942 года. Потому что натворили мы там неведомых нам бед, что-то сделано было не просто не так, а настолько все правильно, что лучше бы ничего не делать, а сидеть под глазами подлого Любарки. Есть же в жизни какие-то дни и недели, которые угнетают не результатами, не итогами прожитого и вспоминаемого, а неким ощущением непознаваемой ошибки, за которой чудится общая неурядица всей человеческой жизни. А может быть, мы в Белоруссии-то и не были и странствия наши — чудовищный сон? Возможно, ибо после того, как вернулись, ни разочка не вспоминались нам дни и ночи, сложившиеся в месяц, мы будто дали зарок: о деревнях, дорогах и лесных тропах осени 1942-го — ни слова!

Жили, повторяю, в единственной уцелевшей избенке сожженной деревеньки, поначалу выдали сухой паек, а потом прикрепили к котлопункту на станции. Однажды прикатили оттуда на своих «цундапах» — а Чех тут как тут, прутик в руке, соболезнающие глаза, та же манера подолгу смотреть на папиросу перед тем, как с кончика ее отвалится пепельный нагар. «Наши игры никогда не кончатся...» — улыбнулся он, и занятия возобновились, нам внушали, что смертельность раны — не от необратимых изменений в тканях и органах, вызванных проникающим в тело металлом, а от признания самим человеком для себя лично невозможности полноценно действовать при якобы серьезном ранении. Шок, то есть раскоординация мыслей и движений, — вот причина того, что вполне боеспособный мужчина корчится от страданий, бессознательно повинуюсь тем устойчивым впечатлениям, что образовались в нем от многократных наблюдений над ранеными. Дурную услугу оказывают и люди искусства, изображая мучения, закрепляя тем самым в мозгу образы людей, оправдывающих свое бессилие и безволие таким пустяком, как полтора-два стакана вылившейся из них крови, как несколько

мышечных волокон, временно утративших способность сокращаться.

— Я изучил сотни медицинских заключений по факту насильственной смерти, присутствовал на вскрытиях и могу со всей ответственностью сказать: умирают не от ран. Умирают от психологического давления, от неверия в собственные возможности жить и сражаться, глядя на себя, пораженного пулями, осколками и колюще-режущими предметами. Нормальный мужчина может стрелять, бегать и убивать врагов с пятнадцатью поражениями своего тела.

Чех говорил как по писаному. Возможно, он воспроизводил в памяти составленный им конспект или главу из учебника, автором которого являлся.

— Этому психологическому обману подвержен не только получающий ранение. Но и тот, кто эти ранения наносит. Известен случай, прогремевший, к сожалению, на всю Европу, когда два итальянских коммуниста убили на уединенной вилле предателя — так убили, что, пока они рыли ему могилу, убитый успел добежать до полицейского участка и привести с собой следователя, полицейского и прокурора.

Убедиться же в том, что человек мертв, очень просто, достаточно внимательно посмотреть на его пальцы...

Все мы непроизвольно глянули на свои руки, и усмехнувшийся Чех дополнил свою речь рассказом о ложных рефлексах.

Лучше бы промолчал... Потому что, выполнив задание, мы при возвращении напоролись на немецкий пулемет, нас расстреляли бы всех в упор, не метни я гранату.

Григорий Иванович нес в себе три пули, из сквозной шейной раны у него сочился желто-красный гной. Алеша мог ходить, лбом касаясь земли и руками придерживая кишки, а меня всего лишь поцарапала пуля.

До самого порога госпиталя дотащил я друзей, то есть к приемному покою, как ныне выражаются. Полусгнившая и еще державшаяся на наших телах одежда сторела, весело треща лопающимися вшами, в печке, а меня, признав симулянтом, выписали на следующий же день и предъявили Чеху. Я написал объяснительную записку, Чех разорвал ее и сказал, что никаких отчетов о героически выполненном задании от нас не требуется, главное — восстановить силы. Тем не менее он подробными вопросами вызнал у меня все и сказал, что — никому ни слова, ни-ко-му! И вообще никакого боевого задания не было! Никуда мы не летали, и нигде нас не сбрасывали. Более того, в парашютную книжку последний прыжок не впишут!

Мне было так стыдно, что тянуло хромать. Друзей моих увезли в другой госпиталь, за восемьдесят километров, со строжайшими порядками,

я проникал в него, как в немецкий штаб. Иногда переодевался под медсестру и почти вблизи смотрел, как латают тела моих боевых друзей. Алеша едва не умер, работала с его телом красивая седая женщина, главный хирург госпиталя. Однажды, глубоко затянувшись папирсой, произнесла: «Вот возвращаю к жизни восемнадцатилетних, а кто сына моего вернет?..» Я пылко уверял ее, что стану хирургом, что руки у меня золотые, и в доказательство приводил умение стрелять. «Господи! — вздохнула она. — Какой ты убогий!.. Кто его пустил в операционную?»

Лукашин по-прежнему оставался в Крындине. Он тут же, избавляясь от надоедливого подчиненного, отправил меня на курсы в пяти километрах от села. Появились станции новых типов, нам не нужные, какой-то идиот придумал пистолет-ракетницу, тугая пружина могла забросить антенну на самую высокую осину.

Всего неделю длилось обучение. В один из дней этих произошло величайшее событие войны.

Поверженный Портос. — Тяжкий путь познания женщины: затяжной беспарашютный прыжок с пятнадцатилетней высоты. — Месть роковой женщины

Только с нашего фронта собрали на курсы радистов, меня, как обычно, засекретили, разжаловали до красноармейца, и я познал много ценного, слушая бахвалистых парней. Никто меня не знал, никому я о себе ничего не говорил, выглядел пожиже всех, не пил, вместо махорки получил полезный для моего возраста шоколад, и стал ко мне цепляться здоровенный верзила из 4-й ударной армии. Он и раньше угрожал мне расправою неизвестно за что, обзывал сопляком и при каждой встрече норовил толкнуть или презрительно расхохотаться, пальцем тыча в меня. Недостойное его поведение никем почему-то не замечалось. Был верзила старшим сержантом, на груди позванивали две медали, он неоднократно рассказывал, что трижды представлен был к Герою Советского Союза. За гнусный нрав, массивность, спесивость и похвальбу я прозвал его Портосом, что не всем было понятно.

Столкнувшись однажды со мною, будучи к тому же слегка выпившим, он стал громко, чтоб все слышали, распекать меня за неряшливый якобы вид, за небритость (а я вообще еще не брился!) и за то, что я неправильно отдаю воинское приветствие. В ответ я обвинил Портоса в нетрезвости и предложил ему честно сразиться один на один, то есть вызвал его на дуэль, чем привел в радость красноармейцев и младших командиров, сбежавшихся на громкие и хамские назидания. Портос нагло заявил, что ни о каком поединке со мной не может быть и речи, потому что он меня «соплей перешибет». Час был самым бездельным, между обедом и ужином, толпа человек тридцать жаждала зрелищ, все стали обсуждать выбор оружия на дуэли и сошлись на ножах. Раздался голос благоразумия, принадлежавший сержанту-саперу, вместо ножей решено было использовать подобие их — ложки, победителем считается тот, кто первым коснется ею жизненно важного органа противника. Бежать за ложками не пришлось, у многих они за голенищами сапог. Подбадривая себя победными возгласами, Портос повел меня к поляне за околицей, помахивая ложкою, как кинжалом. Все двинулись за нами. Было тепло, градусов десять ниже нуля. Воспитанный Чехом, я бесстрастно не впускал в себя оскорблений типа «штабной сосунок». Сбросил, как и Портос,

шинель.

Толпа раздалась в стороны, образовав круг. Портос в центре его принял боевую позу: слегка присел, раздвинул пошире руки, вжал голову в плечи, ложку выставил черенком вперед. Он не подозревал, конечно, в какую ловушку попал, выбрав «нож» оружием поединка.

Меня же долго, со стыдом и болью, мучило воспоминание о схватке с немцем, когда, вцепившись в стволы «шмайссеров», мы вопили, размахивая автоматами. К такому бою меня никто не готовил, я подумал, что на пути к Берлину единоборства с отдельными немцами могут принять еще более диковинные формы. Вот и разработали мы с Алешей несколько удачных приемов, показали их Чеху, тот похвалил нас, внес кое-какие хитрости. Отныне я мог брать верх в схватках с опытными бойцами. Нож ли, кинжал, саперная лопата, штык, но при всех обстоятельствах каждый в поединке занимает выгодную позицию для выброса колющего или режущего орудия. Противники как бы топчутся на месте, глаза кося на ноги соперника, соответственно располагая и свои ноги. Если же намеренно сделать несколько неправильных движений, то враг машинально сделает то же самое и окажется в положении, когда достаточно ложного выпада, чтоб ноги его заплелись. Еще один бросок — и соперник повалится, тогда уж подскочить к нему и вонзить нож, кинжал — секундное дело.

Это и произошло на заснеженной поляне. Портос брякнулся на землю, а я ложкою полоснул ему по горлу. Уверая, что он всего-навсего поскользнулся, Портос потребовал новой схватки. И вновь был посрамлен. Под хохот недругов и недоуменное молчание приятелей он поплелся прочь. Поляна опустела. Осталась только девушка-ефрейтор. Она сказала, что до войны училась в Институте физкультуры и, кажется, разгадала мой фокус. Пояснила: была в сборной по баскетболу и на пробежках с мячом следила за ногами блокирующих ее защитников.

Последовало предложение: помериться силами, уж она-то не упадет, не запутается в собственных ногах.

Куда, конечно, ей со мной тягаться! Трижды она падала, и всякий раз я спешил подать ей руку, помогая встать, потому что она, коснувшись лопатками земли, задирала ноги, и я видел штанишки ее поверх рейтузиков. Очень смешливая, гибкая и ростом с меня, она ничуть не была обижена неудачей, дружески поблагодарила меня за науку. Вместе пошли к селу. Эта курносенькая девушка очень мне понравилась, грубых слов она не употребляла. Вспомнилось, что поверженный Портос ухаживал за ней, безуспешно причем. Дошли до какого-то дома, и тут девушка сказала, что долг платежом красен и она тоже кое-чему может меня поучить, мы ведь

оба — в хозяйстве Костенецкого, не так ли? Правда, уточнила девушка, отработанный ею прием ближнего боя применим только в закрытом помещении и на ограниченной площади. Чрезвычайно заинтересованный, я попросил девушку научить меня этому приему и вслед за нею вошел в дом. Строгим шепотом она предупредила о секретности приема и закрыла дверь на ключ, когда мы оказались в комнате. Стоя спиной ко мне, она сбросила ремень и стянула с себя гимнастерку. Что сделал и я. Она освободилась от сапог — и я тоже. Вылезла из юбки и отстегнула пояс, мне пришлось снять брюки. Начал было готовить себя — по методу Чеха — к схватке вплотную, как вдруг девушка стремительно бросилась ко мне, обняла, стала осыпать поцелуями, передвигая себя и меня в угол, где стояла кровать. Ей удалось положить меня на себя, широко раскинув ноги, руки же ее способствовали тому, что мы соединились. Движением таза она показала, что мне делать.

Я испытывал головокружительное и восхитительное ощущение полета в затяжном прыжке. Земля, к которой стремилось мое тело, была где-то далеко внизу, она, грозящая смертью, ударом и разбиением в лепешку, если парашют не раскроется, угадывалась в тумане, и все во мне пело от счастья, потому что парашют, я в этом уверен был, раскроется и я мягко опущусь. Я видел закрытые глаза девушки, рот ее, кончик языка, как бы умоляющий меня скорее дернуть вытяжное кольцо. И незримый парашют будто белым овалом отделился от меня, наполнился воздухом, меня встряхнуло, я забился в радости того, что жив, здоров и сейчас встречу землю. И она меня встретила, прижала к себе и не отпускала до тех пор, пока я не понял, что произошло и какое смертельное оскорбление нанес я моей любимой Этери. С нею, только с нею, обязан был я испытать естественный, природный акт, предшествовавший зачатию. Три года дружили мы, грузинские обычаи препятствуют частым свиданиям, Этери сидела за две парты от меня, но наши глаза видели всегда одно и то же, мы верили, что нас не минует первая брачная ночь, которая сольет не молодоженов, а виноградники с солнцем, всех родных Этери с моим воронежским и сталинградским прошлым, и, когда Этери шла рядом со мной из школы, робко и послушно подставляя себя под мои взоры, я знал, что столь же покорно покажет она свое тело, отдаваясь мне. Я изменил ей! Я предал и себя!

Стыд пронзил меня. Я заплакал. Я не знал к тому же, что делать дальше, как осушить себя. Представляя по услышанному или вскользь увиденному, как происходит совокупление, я почему-то полагал, что мужская влага впитывается женщиной так, что и следа ее не остается. Я заблуждался, я ошибался, и я честно признался девушке, что испытываю

сейчас и как плохо мне.

Поглаживая меня и целуя, она сказала, что ничего страшного не произошло уже потому, что и мне, и ей было хорошо. Брезгливость, что наполняет меня сейчас, скоро пройдет, так всегда бывает, так уж устроены мужчины в отличие от женщин, пребывающих в благодарности после случившегося. А с тем, что я называю влагой, она подскажет, и не надо сейчас спешить, влага эта — что дождь, павший на пересушенную почву... Да, она виновата, ей хотелось легонечко отомстить мне за то, что я на ней, женщине, испытывал мужские приемы безжалостной борьбы. Но и не такая уж она плохая, чтоб я стыдился ее. Мама у нее — заслуженная ткачиха, отец — метростроевец, сама она — активная комсомолка, в армию пошла добровольно, отлично знает рации типа РСБ, 6ПК и 5АК, дважды посылалась за линию фронта. Этери, конечно, много лучше ее, это она понимает, но невеста моя далеко и в безопасности. Она дождется жениха, то есть меня, и как будет ей приятно, что в первую брачную ночь я поведу себя истинно по-мужски. Наконец, продолжала лежавшая рядом со мной курносая девушка, она догадывается о том, что мне предстоит, что я не раз буду в немецком тылу и что, возможно, в постели мне удастся у какой-нибудь немки выпытать нужные нашему командованию секреты, и чем успешнее буду я вести себя в половом контакте с немкой, тем скорее придет победа. Вот почему, заключила девушка, нам надо встречаться почаще, она покажет мне, как раскрывать секреты немецкого командования...

Мы оделись, расцеловались и разошлись. Видеть я не хотел эту курносую, встречаться с ней тем более, имени ее не спросил, потому что не уверен был, что получу правильное, настоящее имя, ей ведь Костенецкий и Лукашин могли изменить биографию.

Но после ужина настроение у меня изменилось, время тянулось почему-то медленно, я поглядывал на часы, я уже искал повод для встречи, назначенной на восемь вечера, и обосновал необходимость ее. Впереди, размышлял я, новые схватки с немцами, возможна и встреча с немкой (со «шмайссером» или без), у которой надо разными способами выведать секреты, поэтому обучение способам, которые известны только этой девушке-связистке, крайне полезно! Но соглашался я и на повторение сегодняшнего урока, ведь надо идти от простого к сложному!

После долгих колебаний я покружился вокруг ее дома и постучался. Никто не открыл, никто не ответил. Не было девушки и в школе, где крутили кино. Я не расспрашивал, я только смотрел, и взгляды мои ищущие не остались незамеченными. Девушка-ефрейтор, назвавшаяся

подругой той, которую я искал, сказала мне, что два часа назад срочно увезли на аэродром нескольких радисток, никто из них, включая курносую, еще не вернулся.

Спал я плохо, бегал поэтому утром дважды, стараясь показаться окнам того дома, куда привела меня вчера девушка. Окна безмолвствовали. Странно повела себя вчерашняя связистка, сказавшая мне про аэродром. Увидев меня, она отвернулась. Я шел мимо домов, чувствуя себя мальчиком, о котором забыли родители: был такой случай в Сталинграде, когда отец и мать заглянули в универмаг «на минутку» и пропали на целый час. Вдруг меня окликнул майор Лукашин, неизвестно когда прибывший на курсы, и позвал к себе. Долго и нудно расспрашивал о матери, об Этери, говорил о том, что надо бы послать меня в какое-нибудь училище. Он всегда был добр ко мне, этот майор Лукашин, и я старался при нем казаться старше, взрослее и смелее. Спросил поэтому, глянув прямо в его глаза, где курносая девушка. Спросил также, как можно посылать за линию фронта девушку, которая освоила только дивизионные рации. РСБ, 6ПК, 5АК — с ними в тылу врага не наработаешься, габариты не те, частоты, комплектация.

— РСБ... — удивился Лукашин. — 6ПК... Жалобы на питание есть?

После долгого молчания он сказал, что в 1935 году работал на лесосплаве, личный состав, то есть девушки, все городские, прыгать с бревна в реке на бревно не умели и гибли ежедневно. Иногда две, чаще три горожанки. Как-то он составил отчет: за истекший день никто не погиб. Думал, что его похвалят. А с лесоучастка телеграмма: плохо работаете, план не выполняете!.. «Ступай!»

Только к вечеру я узнал, что курносая погибла в эту ночь, самолет сбили над линией фронта, он упал в расположении наших войск, прямое попадание зенитного снаряда, никто не спасся.

Было обидно, очень обидно. Никогда, казалось, не встречу я такой благородной души. Девушка так тепло говорила об Этери, так доверчиво рассказывала о себе. Ее слушать да слушать, и мир после войны представился мне полным молчанием, не заговорят же те, которые обещали когда-то говорить, шептать, обнимать.

Курносенькая потому еще была мне дорога, что я невольно сознавал — с некоторым умилением даже — лживость свою: мне прежде всего хотелось падать с девушкой вниз, пронизывать небо, устремляясь вместе с ней к земле до тех пор, пока нас не встряхнет и нечто, нас покинувшее, раздвинет стропы парашюта, наполнит купол воздухом. Вот чего я хотел, а не победы над фашизмом! Ужас! Предательство!

Я решил оставить ее в памяти Неизвестной Девушкой и горевать всю войну, узнавая или слыша о смерти других девушек.

И вот тут-то и страх пронзил меня. Роковая женщина Инна Гинзбург! Это она же отомстила! Она!

Звездный посланник. — Дар небес

На окраине села я на утренней пробежке вдруг увидел лежавший на обочине дороги пистолет — и замер. Потом наклонился и поднял. Пистолет — парабеллум модели 08 — был совершенно новеньким, в легкой смазке, что показалось мне очень странным, загадочным даже. Конечно, я многое уже знал о нем, держал в руках, стрелял, но оставался равнодушным к его достоинствам. Но этот-то — каким ветром занесло его сюда? Каким ураганом?

Отбежав подальше, я выстрелил в озябшую веточку и понял, что мною найден мой пистолет, что он создан для меня, для моей правой руки, а возможно, и левой. Я уверен до сих пор, что Георг Люгер и Хуго Борхардт, конструкторы Р-08 (так именовался этот парабеллум в немецких документах), создавая это чудо, рождая его в муках творчества не один год, предвидели появление мальчика Лени Филатова, ибо парабеллум идеально подходил к моей руке, он был естественным продолжением моего тела, и, когда в мои руки попадали пистолеты других систем, я испытывал угрызения совести и винился перед даром небес. Тренировок ради меня заставляли из кучи деталей собирать впотьмах польские, чешские, немецкие пистолеты, но пальцы отказывались воссоздавать парабеллум. Он всегда мыслился единым, неразборным, цельным, не имеющим предшественника, неповторимым, он родился как бы из ничего, и как напрасны потуги ученых найти праобезьяну, от которой пошел род человеческий, так и невозможно сказать, кто вдохнул дух в металлический предмет Р-08. Истинно великое изобретение не создается унылыми одиночками, Борхардт и Люгер, узкие специалисты, обогатились братьями Леве, умницами и весельчаками, знавшими толк в швейных машинках, и в 1908 году, за девятнадцать лет до моего рождения, философия мира обогатилась термином Р-08.

Человек — он же собака и ищейка, он же благородный спаситель

Друзей моих, еще не долеченных, отправили в другой госпиталь, очень далеко, я того хирурга, что оживлял Григория Ивановича, встретил и поразился: был он таким, что хоть самого оживляй. Задав два-три вопроса по методике Чеха, я облегчил ему боль, то есть он честно рассказал мне, чем встревожен, и оказалось, что его вот-вот расстреляют, ему, как он выразился, шьют дело, которое заключается в том, что полтора месяца назад, когда раненые шли потоком, когда санитары падали от усталости, а хирурги засыпали над ими же раскромсанными телами, он, будучи в сомнении, ампутировать руку или нет, не позвал к столу никого из коллег, потому что коллеги склонились над другими столами, а такая консультация предусмотрена законом. Руку — правую! — он отрезал, а теперь его обвиняют в сознательном нанесении ущерба Красной Армии, ибо ампутацией выведен из строя боец, то есть численность Вооруженных Сил СССР уменьшена хирургом на единицу, за что полагается расстрел (без конфискации имущества — добавили трясущиеся губы пожилого хирурга).

Внимательно выслушав, я поинтересовался, а что говорит боец, которого лишили руки, на что хирург с горечью ответил:

— Да что с него толку! Рука его сможет сказать! Та, отрезанная!.. А как ее достать?

Я же чувствовал себя большим специалистом по рукам, и знание мое подкреплялось тем, что девичью длань свою Инна Гинзбург частенько позволяла мне прощупать досконально. Наконец, я чувствовал большое уважение к собственным рукам, способным на чудо. От хирурга же я узнал, что рука, которая может спасти его, погребена в членомогильнике, метрах в семистах от госпиталя, но где именно — никто не помнит, таких кладбищ для отрезанных внутренних органов и удаленных конечностей было несколько, ни в одно из них контрразведка с лопатой не полезет. А спасти человека надо, надо!

Вместе с хирургом я осмотрел бойца, который был уже на выписке, и установил, что на тыльной стороне ладони удаленной руки он когда-то по глупости сделал наколку, знакомый блатняга вывел ему имя «Вера». Это обнадеживало. Март уже кончался, но снег плотно покрывал землю, и все собаки, кормившиеся около госпитальной кухни, идти к месту возможного захоронения отказывались. Тогда я прикинул, какими мыслями

руководствовались санитары, выбирая место для могильника, встал на четвереньки и, поводя носом, что-то учуял. Первый же копок лопаты подтвердил: я на верном пути. Надо бы надеть противогаз, но и он, пожалуй, не избавлял от тошноты. По словам хирурга, руку по плечевой сустав ампутировал он из-за размозжения мягких тканей с большим дефектом сосудисто-нервного пучка и дистального отдела артерии на большом протяжении. Что это такое, я знать, конечно, не мог, но в женских именах разбирался и наконец торжественно принес будущему арестанту правую руку с неистлевшей «Верой».

Больше его в контрразведку, где, я думаю, служили одни Любарки, не таскали. Он, правда, очень опечалился тем, что я не пью и не курю, потому что только бутылкой спирта и коробкой папирос мог меня отблагодарить за спасение.

Великий Диверсант Филатов присутствует при групповухе, и отныне он для Инны Гинзбург — роковой мужчина. — Ружегино — центр философской мысли XX века

Под шинелью я носил безрукавку из овчины, да и морозы уже спали, валеночки достал, более того — для друзей моих тоже валенки сообразил... Очень довольный, шел я по селу, когда с проезжавшей полуторки спрыгнула дивчина в белом полушубке и оказалась роковой Инной Гинзбург. Она радостно взволновалась, увидев меня, забросала вопросами, на которые отвечал я скупой, блюдя государственную и военную тайну; да она и не пыталась слушать меня, трещала и трещала. Шинеленка моя ей явно не понравилась, безрукавка тоже. Зашли погреться в дом, где жила Инна, вручившая хозяйке плитку шоколада, две банки тушенки и бутылку водки; о чем-то чрезвычайно важном долго шепталась с нею, я уловил только: «...чисто, свято, благородно, уединенно: на всю жизнь ведь останется...» Хозяйка полностью соглашалась, обещала все сделать, всплакнула, вспомнив о своем Ванюше. Инна что-то затевала. К вечеру подъехали на попутке к штабу армии, где служили Родине круглосуточно; интендантского майора Инна застала на складе и сказала ему, что младшему лейтенанту, то есть мне, нужен полушубок. Интендантский майор взбрыкнулся, сославшись на отсутствие полушубков как в наличии, так и в перечне штатного обмундирования. «Ты с ума сошел!» — заорала с сильным еврейским акцентом Инна и присовокупила: младший лейтенант хоть и Макаров Леонид Михайлович, но еще и двоюродный брат ее тети Берты, а также племянник известного майору Шмулика Лебензона. Наверное, тетя Берта подействовала на майора, он полез на полки еще до того, как под сводами склада прозвучал «Шмулик». Полушубок был как раз по мне, шинеленку я скатал и ее, хлипкую, завернул еще и в брезент. Инна похлопала в ладоши и грозно заявила, что для не терпящих отлагательства целей ей необходим полный комплект чистого постельного белья. Майор для тети Берты ничего не жалел, и старушка с поклоном приняла новый дар. Затем Инна повела меня к дому, где жили ее переводчицы. У роковой женщины Инны Гинзбург, как я заметил, была страсть все преувеличивать, привирать и приукрашать, но на этот раз она молчала — так молчала, что все переводчицы застыли. Кто-то все-таки пискнул, что Инна старше Ленечки, то есть меня, лет на пять. В знак презрения к такого рода расчетам

Инна выволокла меня наружу и повела куда-то.

А времени-то было — пять вечера, хотя и стемнело. Неутомимая Инна Гинзбург выбила у какого-то капитана «виллис», назвав меня внуком Зямы Петрова, и мы покатали за сорок пять километров смотреть кино, надеясь к половине девятого вернуться, и я догадывался, что предстоит этой ночью: Инна расстегнула полушубок и положила мою руку на свою пылающую грудь. В такой позиции были кое-какие неудобства: Инна уже повысилась в звании до лейтенанта и могла, следовательно, командовать мною, хотя и никем еще не определялось в точности то пространство, в котором разница в воинских званиях сказывалась бы на поведении в быту.

Напомню, я уже однажды обладал Настоящей Девушкой, той, что погибла, и в беспарашютном падении я многое увидел; мне жарко отдавалась домохозяйка Мотя, я, признаюсь, уступил наглým домоганиям госпитальной поварихи, решившей меня, как она выразилась, подкормить и завлекшей в тесную, как школьный пенал, кладовку. Короче, я полагал, что стал мужчиной, знаю женщин, а одну из самых лучших, Инку Гинзбург, познаю через несколько часов, причем останусь верным Этери.

То, что произошло в этот вечер, оказалось потрясающим воображение событием, фантастическим по своей наглядности и — пусть это слово прозвучит — трагедийности... Каждый человек вправе судьбу свою соотносить с течением мировой истории, подчас приписывая либо себе, либо кому-нибудь решающее влияние на плавность течения земной или звездной реки. И я считаю вечер 28 марта 1942 года решающим для, к примеру, армии Манштейна или сражения в Северной Африке. Я думаю даже, что падение Берлинской стены, о чем прочитал позавчера, вызвано двумя полупьяными регулировщицами на развилке дорог у села, название которого должно войти в память человечества как Помпея, Ковентри, Сталинград, Фермопилы.

Да, Ружегино. Как сладкозвучны наименования населенных пунктов, вблизи которых громыхали судьбоносные орудийные залпы, слышался звон сабельной сечи и топот кованых сапог многотысячного войска, голодного, но преисполненного отваги. И как царапающи и неуклюжи названия, вызывающие в памяти горечь неудач, признающих в тебе постыдную слабость духа и тела; так и хочется сплюнуть, услышав «Ружегино», но и — замереть, отрешиться от мелочей, составляющих жизнь окрест тебя, и небыстро воспариться, чтоб еще раз глянуть сверху на человеческое стадо, которым управляют неземные силы.

Ружегино это прилепилось к дороге, имевшей для штаба какое-то важное значение, какое — да и в мыслях не было, когда поехали, вот на

выезде из какого-то села и были остановлены двумя девицами, явно хватанувшими пару стаканов, что в любом случае недопустимо, о чем я им и сказал. Ничуть не смутившись, девицы (обе — в лыжных масках) полезли на рожон, требуя какого-то разрешения, и потом со зла направили нас на дорогу в это самое Ружегино. До фронта — около пятидесяти километров, светомаскировка соблюдалась, все машины — с синими фарами, и тем не менее натренированный взгляд мой определил, что деревня войсками не обжита, а когда «виллис» наш сломался прямо у сельсовета и я — в подражание Григорию Ивановичу — пошел требовать телефонной связи и вообще содействия, если не прямого подчинения, — там в сельсовете получил я из первых рук сведения: в деревню входил на ночлег снятый с фронта батальон, который на картах руководства, может быть, и значился войсковой единицей численностью в шестьсот бойцов, но после отвода с передовой и массового увоза раненых в тыл едва ли тянул на полуроту. Она, полурота эта, несла на себе все признаки обстрелянности и готовности хоть сейчас вернуться в окопы. Все ценное, то есть теплое, что было на убитых, снято и приспособлено к нуждам живущих, все люди в валенках, вооружены превосходно, готовы держать оборону еще хоть неделю, и деревню Ружегино рассматривали как подарок или, точнее, вознаграждение за то, что остались живыми. Полурота эта стояла — полулежала, что ли, — в сарае рядом с сельсоветом, и командира ее сельский начальник просил с постоем повременить, пока он не обегает избы и не определит, куда кто и что может вселиться. В школе, кстати, для доблестных воинов организуются танцы, можете плясать до упаду — так напутствовал командира полуроты одноглазый председатель сельсовета.

Со мной он даже говорить не стал, обвел скрюченной рукой помещение, как бы говоря: «Ну, где ты видишь здесь телефон?» Да мне и звонить расхотелось, да и кому звонить-то, потолкался в сельсовете и вышел.

Около десяти градусов мороза, поскрипывал снег, луна яркая, звезды в несметном количестве, ветерочек слабенький, ветерочка, считай, нет, такая тишина и безветренность расслабляют часовых, они и не подозревают, что для опытной ноги земля — пух, мох, в котором завязнет любой шорох и шелест. И ни огонька вокруг, воздух ломкий, льдистый, голоса в нем рассыпаются... Чудная погода, прекрасная, природа готовилась к осквернению себя людьми и намеренно расслаблялась. Я залез в «виллис», самолюбивый шофер которого отказался от моей помощи, твердо пообещав: через двадцать минут машина будет на ходу! Инна вдруг сказала:

— Пойдем в синагогу!

И мы пошли в школу, с двухсот метров уловив музыку. На крылечке воспитанно смахнули вениками снег с валенок, в нос, как только вошли в коридор, ударил запах фронтального пота, махры, еще чего-то такого военного, привычного и — духов, как-то сладостно напомнивших Дом культуры СТЗ, Сталинградского тракторного завода, куда я бегал на «Чапаева». Парты в большой комнате составили в угол, танцы уже начались, на подоконнике стоял патефон, игла заскользила по «Рио-Рите», когда мы вошли — оба в беленьких коротких полушубках, в шапках, валенки танцам не помешали бы, но мы стояли в уголочке, очень уж все было как-то по-домашнему уютно, и люди вели себя чересчур церемонно, не то что в госпитальных, где ходячие раненые так прижимали к себе местных девчат, что у тех ребра трещали. Здесь все было серьезно и культурно. Три керосиновые лампы освещали комнату, ружегинские девки все, как на подбор, были то ли кособокими, то ли косоглазыми, — короче, все с изъяном, будь хоть одна такая там, в группе переводчиц, все остальные показались бы красавицами, но в классе, где танцевали, где по стенам стояли сельские бабеночки в возрасте от пятнадцати до тридцати или сорока, все они были какими-то неуклюжими и неказистыми и все такими уж недоступными скромницами. Инна Гинзбург постеснялась приглашать меня на фокстрот, да я и умел-то всего лишь «раз-два-три... раз-два-три...», вращая себя и девушку то по часовой стрелке, то против, что позволяло хорошо обозревать людей в помещении на тот случай, если кто-либо вдруг выдернет из-за пояса пистолет.

Сладкая музыка, не из-под иглы шипящая, а ветром донесенная сюда из далеких годов, напоминавшая о матери, которая в том же клубе танцевала с отцом, о Любарке, о «Кантулии», которая воспроизведет музыку эту под моими пальцами... Как-то умиленно наслаждался я, но не мог не заметить, как и Инна Гинзбург, что, во-первых, почему-то только ружегинские женщины приглашали бойцов на танцы, а не наоборот, то есть постоянно был так называемый «белый танец». А во-вторых, время от времени оттанцевавшие пары очень тактично освобождали пространство комнаты для других пар, куда-то уходя, что и заинтриговало Инну Гинзбург, она предположила выпивку где-то поблизости и показала мне горлышко торчавшей из кармана полушубка бутылки. (Шепнула: «Кахетинское, на складе подарили...») Поскольку выходившие в коридор парочки вели себя как-то тихо, притаенно, явно не желая показывать себя к алкоголю стремящимися, поскольку к тому же я — Инна это знала — ничего хмельного не употреблял, то и следовать за парочками мы не собирались,

хоть и было бы интересно посидеть за общим столом да послушать, иногда в рассказах бывалых бойцов мелькали очень нужные детали, даже Чеху неизвестные.

Так и стояли мы с Инной, переглядываясь, но с места не двигаясь и тем более не танцуя. Потому что сколько пар ни покидало эту большую комнату, столько и входило: комната вмещала в себя ровно столько, сколько могла.

Вдруг мы стали свидетелями, или слушателями, следующего разговора — нелепого, глупого, деревенского. Отзвучал фокстрот, кавалер, то есть красноармеец в телогрейке и шапке-ушанке, по всем ритуальным правилам отвел ружегинскую женщину на то место, где стоял до приглашения, совсем рядом с нами, и женщина, которая слегка приспустила головной платок, как-то поерзала и спросила кавалера:

— Ну ты как?.. — И глянула на него снизу вверх: красноармеец был намного выше ее.

— А так, — ответил тот и потоптался на месте, а затем поскреб подбородок. — Так что?

Вместо ответа женщина пошла к двери, боец — за нею, а мы с Инной последовали за ними. В коридоре курили, махра издевательски вторгалась в легкие, Инна пальчиками зажала носик. Мы не отставали от тех, за кем следовали, и внезапно оказались в комнате, размерами не уступавшей той, которую мы только что покинули, но сразу не могли разобраться, что в этой комнате происходит; мы ощущали, что находимся среди людей, но поначалу не отводили глаз от красноармейца и женщины, стремясь все-таки понять, что они делают, да и зрение не приспособилось еще к тусклости: ни одна лампа не горела, керосина, видимо, не хватило, зато за тремя большими окнами расстилалась снежная масса, подсвеченная еще и желтизной луны. Раздавались какие-то странные звуки, уши не могли расслоить их на составляющие, но глаза уже сфокусировались и приступили к наблюдению. Рука Инны Гинзбург нашла мою ладонь и сжала ее, призывая к молчанию и погружению в тайну, которая начинала прозреваться. В трех метрах от нас красноармеец и женщина начали как-то бестолково раздеваться, непонятно для чего, потому что в большой этой комнате было не так уж и жарко, однако женщина сняла ватник и положила его на пол, чуть ли не под ноги Инны Гинзбург. Затем села на него и стянула с ног валенки, что позволило ей освободиться от исподнего, то есть подготовиться к тому, что предшествует обнажению тех органов, через которые испускаются человеческие отходы. Непонятно, правда, почему она легла, а не приняла более удобную позу, красноармеец-то оказался более

практичным и снимал валенки, шаровары, а затем кальсоны, находясь в вертикальном положении. Но когда женщина не только легла, но еще и раскинула ноги, когда красноармеец покрыл собою ту, которая пять минут назад со смущением приглашала его на танец, — вот тогда-то и догадался я, что сейчас произойдет акт совокупления, тогда-то и понял, что на полу комнаты, занимающей тридцать или более квадратных метров, совокуплением занимаются два или три десятка пар, производя акт этот в неимоверной толчее, но с поразительной деловитостью. Уже знакомый со звуками, которые сопровождают то, чем занимались пары, я не удивился бы, услышав визги, которые издавала наглая повариха в тесной кладовке, или мечтательные стоны Моти, но — ни того, ни другого, ни третьего, а всего-то — осторожное хрипение, сопение, кряхтение тридцати человек, занятых очень напряженной работой, которую надо сделать как можно аккуратнее, точнее и соразмеряя свои силы с возможностями того или той. Время от времени раздавались, как в орудийном расчете при стрельбе, команды, способствовавшие наиболее глубокому заталкиванию снаряда в канал ствола, для чего надо было и угол заряжания изменить, подняв его или опустив... И выстрелы раздавались — не только в том фигуральном смысле, к которому прибегнул я, описывая происходящее и зная, что книгу эту будут читать девушки и юноши, — да, стреляли, то есть громко выпускали газы из кишечника, никак не намеренно, а негромко, принося извинения за нечаянный грешок.

Вместе с нами пришедшие трудились еще, когда слева поднялась пара, уступая место новой, и та стала раздеваться, после чего произошел обмен именами, состоялось как бы знакомство.

— Тебя как? — поинтересовалась женщина, сунув под голову то, что ранее прикрывало ее тело от пояса до лодыжек. Мне показалось даже, что она зевнула при этом.

— Володька, — ответил мужчина и опустился на нее.

На мгновение я оглох, что — тоже на миг — обострило зрение до пугающей остроты, комнату будто осветили вспыхнувшей под потолком стосвечовой лампой, и я увидел не повторенное в единообразии лицо Незнакомой Девушки, в паре со мной летящей к твердой земле при затажном прыжке, а — там, где можно было увидеть, — сосредоточенность женщины, не желающей прерывать приятное, хотя и трудоемкое занятие, требующее усидчивости, если можно так выразиться, прилежания и сноровки.

Люди занимались делом, вот что я понял в миг, когда прозрение сменилось наплывом звуков, среди которых были и обращенные к нам, то

есть ко мне и Инне, слова, произнесены были они поднявшейся с пола женщиной, оказавшейся более чуткой, как это женщине и положено, чем ее напарник. Решив, что мы с Инной не занимаемся делом потому лишь, что нет места на полу, женщина, натягивая на себя ранее снятое, потянула Инну за край полушубка: да снимай ты его и подстеливай, а та — кулачок ее дрожал испуганной пташкой в моей ладони — стремительно рванула к двери, к выходу, мы проскочили по коридору, выбежали на двор, под луну, мы вдохнули морозного воздуха, Инна пыталась что-то сказать мне, но потом расплакалась навзрыд, а я благоговейно молчал, ибо постигал тайну великого древнего инстинкта, принуждавшего мужские и женские тела сочленяться, и по неизвестной причине веление природы было таковым, что уже ничего человеческого в человеках не оставалось, они и на зверей-то не становились похожими, поскольку требовалось уединение совокупляющихся пар, а то, что видели мы в школе, попирало все устанавливаемые общежитием людей и зверей законы, обычаи, правила. Не люди властвовали над собою, а чья-то воля, то самое, что сродни музыке (и сравнение пришло: люди — как струны на, скажем, гитаре, и не пальцы мужчин или женщин касаются их, нет, струны дребезжат, отзываясь на колебания самой природы...). В классе блудом занимались как на отведенном для испражнений клочке лесной территории... Наверное, люди превратились в людей в тот момент их истории, когда они испражняться стали не скопом, не в общем для племени месте, а начали разбегаться по лесу.

Ошеломленный, неподвижный, натянутый как струна под холодным небом СССР и всего мира, я переживал событие, которое — чувствовал это — будет мною осознано много позднее, иначе и не должно быть, потому что сейчас, около занесенной снегом школы, откуда голосом Любарки пелось танго, я приходил к невероятному выводу: ничто не принадлежит человеку, все его чувства — не в нем, они временно сожительствоуют с ним, и (о, как прав был Чех!) человек вовсе не хозяин своей жизни, сегодня она есть, а завтра — ищи ветра в этом поле, осиянном светом луны. («Человек не осознает, как тягостна дарованная ему жизнь, — говаривал мой Учитель. — Не мучай человека, убей его...»)

Наконец Инна Гинзбург разразилась бранью: она перестала издавать квохчущие звуки и яростно заявила, что девичьи мечты ее стать моей роковой женщиной не сбылись и никогда не сбудутся, ибо я стал для нее роковым мужчиной, я — исказивший ее жизнь, специально затащивший ее в этот вертеп, чтоб развратить, разложить, чтоб...

Подходящего слова у нее не нашлось, да и шофер уже подходил к нам:

машина на ходу, пора.

Открылась дверь, повалил пар и обрывки мелодии, все тот же европейский Любарка пискляво пел по-немецки о чувствах, которые ощущаются на расстояниях... Пел в деревне, через которую мощным напором прорвалась стихия человеческих страстей, тех самых, что скрываются людьми, прячутся, просачиваясь тоненькими ручейками.

И мне вспомнился ростовский цыганенок, которого драили, как медный котелок, песком, под жарким небом Юга...

Инна Гинзбург выпихнула меня из «виллиса», и только случайной попуткой добрался я до своей избы.

И подумал как-то уж безмятежно: отныне Инна Гинзбург возненавидела меня и теперь жди от нее любой пакости. Скорей бы к немцам, за линию фронта!

Знакомство с маэстро Кругловым, жуликом, мародером и самым нужным человеком на фронте

Вернулись друзья мои, опухшие, прямо скажем, от безделья, но и с большим желанием не вылезать из хаты.

Вдруг, без подготовки, нас забросили в тыл, за восемьдесят километров от первой линии немецкой обороны. Погибли, объяснял нам Лукашин, четыре группы разведчиков, пытавшихся принести «языка». Не совсем погибли, поправил Костенецкий, у немцев такая плотная оборона, такая страховка стыков, что разведчики если и возвращались, то с потерями и без добычи. Решено поэтому взять пленного изнутри, так сказать, и протащить его в наше расположение через редкие немецкие роты в ста километрах южнее: там сложилась такая не выгодная ни нам, ни немцам обстановка, что никто наступать не желает.

Чех присутствовал при последнем инструктаже на аэродроме, помахал ручкой, будто мы ехали на танцы, сел на свой «цундапп» и не стал дожидаться взлета и отрыва от полосы. Мы так были уверены в благополучном возвращении, что самый мудрый из нас, Григорий Иванович, запечалился и погрозил нам кулаком.

Но получилось очень хорошо. Немца мы взяли. Заодно прихватили с собой более двух десятков бирок, мы их снимали, как скальпы. Бирки эти носят все солдаты, набор их мог бы многое сказать Лукашину — многое, но не все. Возвращаясь с ценным грузом, мы вошли в лесочек, где переждали артналет — сперва наш, потом немецкий, а затем и тот, и другой; эта бестолковщина, давно уже понял я, и есть война. В полосе шириною пятнадцать километров бродили разрозненные собственным страхом группки неизвестно откуда взявшихся людей, до того уставшие, что и стрелять им не хотелось. Немец на моей спине дергался. Выгибался, нести его было неудобно, на шее моей болтался мешочек с бирками. Калтыгин шел впереди, редкими выстрелами добивая раненых немцев, мы это ввели в правило: однажды проходили мимо стонущего, Алеша даже пожалел его, бинт бросил несчастенькому, а когда отошли шагов на двадцать — раненый этот пустил нам в спину автоматную очередь. Этот мой немец вдруг изловчился и выхаркнул кляп. Григорий Иванович поднял было автомат, чтоб огреть им непослушного, как вдруг сзади раздался голос: «А вы накормите его...» Оглянулись: за нами стоит командир, весь в глине,

каска, маскхалат, местность знает, капитан Круглов, интендант и во главе похоронной команды. И точно: покормили немца — смирным стал, сам пошел, на своих ногах, не делая попыток юркнуть в кустарник, да и куда ему бежать. Кругом — похоронщики шарили по карманам убитых немцев, и не только немцев, — занятие, которое Алеша называл мародерством, шмоном, а то и совсем просто: ну, ребята любят чужих карманов. (Услышав о «накормите», я остановился и сбросил немца, удивляясь, как эта простая мысль не пришла мне раньше в голову.)

С Кругловым разговорились, поделились табачком, то есть он нам его предложил. Пожелали удачи, скорой победы и разошлись. Встреча как встреча, за которыми расставания, таких в войну уйма, — лишь легкий вздох сожаления, когда узнавали, что тот, с кем вчера лясы точил, лежит неподалеку скрюченным трупом. А я его, Круглова, хорошо запомнил: лет тридцать пять ему, то есть много, очень много старше меня, но в словах и взглядах его сквозила такая мысль: мы — люди, мы из одной стаи, нам нечего делить, потому что если что-то и достанется мне побольше, то разницу отдам тебе. Пока же этот добрый человек делился с нами тем, что боги ему, то есть убитые немцы, послали, мне был предложен никелированный браунинг, часы, медальон и коробочка с духами.

Как всегда бывает при случайных и без выстрела знакомствах, расстались хорошо, даже пошутили: вот, мол, после победы так бы встретиться к обоюдному удовольствию.

На пленного сбежался весь разведотдел, Костенецкий сиял, Лукашин, получивший бирки, блаженствовал, а Григорий Иванович высился рядом и гордо молчал. Потому что всем было ясно: только ему, капитану Калтыгину, штабы всех армий фронта обязаны наисвежайшими данными о противнике.

Мы же с Алешей посмеивались, наблюдая за играми взрослых дядей, и делились подарками. Никелированный браунинг достался Алеше.

Наконец-то мальчик Леня сходит с ума и становится почти нормальным человеком. — Метаморфопсия! — Выздоровление. — Что наша жизнь? Игра в смерть

А я заболел после героического рейда в тыл противника. Я заболел так тяжело, что весь был пронизан страхом — чувством, которое, как мне уже год казалось, изгнал из меня Чех полностью. С того ужасающего июньского дня прошло столько лет уже, но я испытываю ужас, когда вспоминаю все перед страшной болезнью часы, события, мысли, все предощущения величайшего страха, испытанного мною, и увертюрой, пожалуй, назревающего безумия вошло в меня легонькое недоумение, сменившееся весельцем, когда я начал рассматривать подарки поближе, чтобы определить, кому преподнести медальон, а кому духи. Оба предмета были изучены мною досконально — принадлежали одному и тому же человеку, сняты были с убитой женщины, что само по себе было большой странностью. Немцы своих женщин берегли, к передовой не подпускали, к тыловой службе — да, привлекали, я сам однажды сдергивал бирку и просматривал документы немки в форме вспомогательных войск, так, кажется, можно перевести *Hilfswaffe*. Что представляла она из себя внешне — таким вопросом не задавался, да и попробуй пойми: Григорий Иванович прикладом автомата (стрелять нельзя было) разнес ей переднюю часть черепа.

В овальном медальоне — фотографии, он и она, ухо к уху, ухитряются сразу смотреть и в объектив, и друг на друга с любовью, надо полагать. Изображенный немец звался Гельмутом и был примерно моих лет. Чуть постарше, конечно. В штатском, что казалось дикостью, все немцы представлялись в форме вермахта, войск СС и военно-партийной администрации (Чех сурово взыскивал за незнание того, кто как обмундируется). Немочка в форме, возможно, служила переводчицей, но, судя по фотографии, была она моложе жениха или мужа, и тогда вопрос: откуда ей известен язык? Или так: могла ли она оказаться на передовой случайно?

Привлеченный к консультации Алеша рассудил еще проще: капитан Круглов Иван Сергеевич медальон и духи мог добыть, распотрошив немца, который в свою очередь немочку почистил в тылу: медальон-то — из чистого золота, духи-то — парижские! Но тогда, возражал я, какого черта

вещи мирного и сытого быта были перемещены на фронт?

Разные варианты всплывали, строились очень любопытные версии, а я все смотрел на девушку, находя в ней все большее и большее сходство с Этери, хотя такого быть не могло! Не могло! Невеста моя — кахетинка, в ней Древний Восток, который породнится со свежим славянством, то есть с моим родом, корни которого я, по примеру Алеши, откопаю, найду. Подниму над собою и покажу всем. Всем! А в медальоне — светлая европейка, лоб которой, брови, губы и ушные раковины выдавали кельтское или норманнское происхождение. Европа, это уж точно. Европа!

Спать лег в тяжелейших раздумьях неизвестно о чем, наплыв какой-то мерзости, какие-то щекочущие прикосновения к телу... К утру тело успокоилось, день начался обычно, встал, размялся, определил центровку тела, мысленно сосредоточился на сегодняшних заботах и побежал в привычную десятикилометровку. Дважды останавливался, что-то мешало, какая-то дряблость в мышцах и — что совсем удивительно — нечеткая работа сердца. Добежал, стал подниматься по ступенькам крыльца — и упал. Очень удивился. Встал — и покачнулся: крыша, которая всегда была выше меня и любого человека метра на три, почему-то держалась на уровне глаз, а ступеньки крыльца вели в колодец. На четвереньках вполз я в избу, меня сотрясал страх, я боялся прикоснуться ко всему, но больше всего напугал меня Алеша, я слышал его голос, я понимал, что голос — встревоженный, но Алеша-то — был без головы! Его голова, отделенная от кровоточащего туловища, локтем прижималась к левому боку. Я стал вырывать эту голову, чтобы приставить ее к Алешиной шее, и потерял сознание. Сколько пролежал в бесспамятстве — не помню, не знаю, я то делался зрячим и видел раскромсанные тела обступивших меня людей, то становился слепым, что доставляло удовольствие; и в слепоте, но не в глухоте я слышал почему-то радующие меня слова, пахнущие карболкой, эфиром, спиртом и белыми халатами медсестер, и — опять страх, потому что внутренним зрением я видел отрезанные груди Неизвестной Девушки.

Заторможенная психика... Такого количества трупов и мясник не выдержит... Какой идиот посылает его в немецкие тылы... Метаморфопсия!

Вот что слышал я от дивизионного врача!

Такую болезнь от Костенецкого не скроешь, и Костенецкий приказал: не лечить!

Рассчитывал он на Чеха, к которому испытывал брезгливое любопытство.

Вкрадчиво, по-кошачьи подбирая ступни, Чех вошел в шаткую

избенку, куда спрятали меня, и оказался третьим человеком, тело которого воспринималось мною цельно, необезглавленно и необезноженно (именно так, нераздельно, видел я Калтыгина, себя же постоянно проверял, ощупывая голову и ноги). Положив руку на мой лоб, Чех сказал, что я давно не был в поле. И повел меня в поле, далеко-далеко, сел на корточки, и я сел. Ищи траву, сказал Чех. Какую, спросил я. Какую хочешь, ответил он. И я стал искать траву, для удобства передвигаясь на четвереньках, да и Чех избрал такой же способ. Я внюхивался, и запахи вели меня.

Вечером Чех напоил меня каким-то отваром. Я заснул, а продрав глаза, увидел Чеха. Он сказал:

— Все мучительные для тебя вопросы должны разрешиться в тот момент, когда кто-то попытается лишить тебя жизни. Именно в этот измеряемый долями секунды миг ты и решишь центральную проблему психологии и философии, врага чуть опередив. Поэтому ты всюду обязан всех — всех, подчеркиваю! — людей рассматривать как врагов, пока они не докажут свою безвредность. Правда, постоянное нахождение в таком выжидательном состоянии вредит, искривляет психику, поэтому надо давать отдых нервам — в те краткосрочные дни или недели, когда заведомо известно, что на расстоянии снайперского выстрела твоего потенциального убийцы нет...

Да, я выздоровел, то есть увидел войну такой, какой она видится всем сейчас. Я понял, что самое страшное место на земле — это теплые, самой землей защищенные окопы, потому что в них утеряна человеческая личность, право распоряжаться своей судьбой, самому решать, кого убивать и в какое время. Я понял, что груды тел в серых шинелишках, вповалку разбросанных по земле, — это уже и есть земля, та, из которой возродится семя хлебное. Что нет на войне игр «чет-нечет», а есть: сегодня, пожалуй, убьют, а что такое смерть — не знает никто, даже Чех, потому что ее нет. Бытие вне жизни — а жизни, оказывается, тоже нет.

Мне страшно повезло, я мог самолично выбирать себе врагов и рассчитывать с ними, никто не поднимал меня в бой по сигналу: «За Родину! За Сталина!» Судьба подарила мне друзей, меня спасавших, потому что я собою заслонял их.

И мне расхотелось вести счет убитым, потому что страшнее болезни оказалась явь. За нами тянулся хвост, дознания и следствия по делам, в которых обвиняла нас военная прокуратура, а дел таких скопилось предостаточно. В алкогольном буйстве Григорий Иванович избил однажды интенданта. Сильно подвел нас Алеша, машинально забравший документы убитых нами мародеров, а те оказались офицерами войск охраны тыла.

(Висело над нами и блестяще выполненное задание в Белоруссии.) Все дела эти могли легко и непринужденно закрыть и московские наши хозяева, и Костенецкий, и не закрывались они потому, что всем было выгодно держать нас в цепях, все дорожили камнем за пазухой — в чем и состояло искусство управления людьми. Григорий Иванович давно освоил эту науку, составив на меня и Алешу объемистое досье. Сомневаюсь, что сам Калтыгин знал значение этого слова, употреблял он обычно не менее грозное: материалы и составные части материалов регулярно приносил Костенецкому, который поощрял его, сильно надеясь, что материалы никому, кроме него, не достанутся.

Любовь творит чудеса. — Вновь координатная сетка Гаусса-Крюгера

Два месяца спустя мы из глубокого немецкого тыла пробирались на восток. Нет смысла говорить о задании, нами выполненном, потому что не было в нем никакой сложности, да и повезло нам. Чрезвычайно повезло. Так повезло, что суеверно паникерствующий Алеша канючил: быть беде, быть беде, — пока Григорий Иванович не огрел его по затылку. А беда назревала, связь оборвалась, «северок» мой, запрятанный в лесу, сдох, я успел, правда, пристроиться к известной нашим радистам немецкой волне и на хвосте ее прострочить место и время самолета, чтоб тот забрал нас.

До места этого оставалось километров пятьдесят, когда около шестнадцати по-московски вышли мы к селу. Алеша нырнул в кустарник и пополз, через полчаса помахал кепкой, забравшись на усохший дуб, дал знак. Он уже обработал хозяйку, в избе нас ждали: огурчики, сало, самогон, молоко. Село было русским, что не лишало Калтыгина возможности побалакать по-украински с молодухой, которой Григорий Иванович стал в самое ухо напевать свои мужские страдания. Девка была из тех, на кого мужики смотрят в последнюю очередь, но я-то уже прошел Ружегино и знал, что именно такие — бесстыднее любых красавиц, а всякие там конопушки, нос картошечкой и прочие несоразмерности исчезают в тот момент, когда работающие руки сельской уродины начинают стягивать с мужчины штаны. Но эта-то была как раз во вкусе нашего командира: грудь — две сросшиеся тыквы, ляжки мощные, язык несмелый, но взгляд много знающий. Для проверки Григорий Иванович потискал ее, порасспросил. Немцы, доложила молодуха, наезжают редко, одни старики в деревне да старухи, парней — никого (употребилось искаженное немецкое слово — «никс», так сказано было и подтверждено жестом); о партизанах ничего не слышно, да откуда им и взяться, тут и до войны мужиков было с гулькин нос, и тех на войну забрали в первый же месяц...

Естественно, ни одному слову не поверили, и не потому, что молодуха врала. Не поверили — и все. Знали: начнем верить — пропадем. За стол сели с оружием, молодуха робко протянула руку к автомату на лавке — Григорий Иванович изменил себе, не предложил девке рукой потрогать оружие в штанах, а сквозь зубы пообещал пристрелить.

Наелись. Неприхотливый, намеренно выбиравший для отдыха и просто лежки самые грязные и вонючие места, Алеша полез было в давно

не кудахтающий курятник, но после цыканья командира забрался все-таки на чердак. Я пристроился в сенях, Калтыгин же пообещал хозяйке рай небесный от автомата в штанах, если та заглянет к соседям и узнает: нас они не заметили? Та сбегала, узнала: нет, никому не ведано, что у нее гости. Для рая хозяйка выбрала примыкавший к сеням сарайчик, зимой там, судя по запаху, держали хрюшек да корову с теленком. Пришлось сени покинуть, я поднялся к заснувшему Алеше на чердак и через полчаса услышал шум моторов. Хотел было прыгнуть, поднять Григория Ивановича, но тот уже передавал мне снизу автоматы. Молодуха, тягучая в движениях и ничуть не напуганная, деловито прибиралась в избе, уничтожая мужские следы. Сказала: сидите там наверху и не рыпайтесь!

Немцы въехали — бронетранспортер и мотоцикл с коляской. Лениво постреляли — просто так, в надежде, что кто-то в страхе пустится наутек. Но — вот она, беда! — остановились у соседней избы, ее осмотрели выбравшиеся из-под железа солдаты, а из коляски выпрыгнул лейтенант с портфелем, сзади же мотоциклиста сидел гауптман, у этого затекли ноги, он несколько раз присел для разминки. Солдаты заглянули и в нашу избу, пошумели немного. Молодуха заталдычила: «Да вчера ваши были, все забрали, что осталось, — ваше, ироды, да ради бога, только не мешайте жить, откуда вы только свалились на нашу голову...» Солдаты добродушно пощипали ее, раздался звук от удара мужской ладони по тугому женскому заду, девка взвизгнула, немцы захохотали. Ушли, решив разбиться на две группы и занять крайние дома. Всего их — шестеро, да двое оставались в машине, да мотоциклист. Работы на две-три минуты, но мы на чердаке переглядывались, мы медлили, нас удерживало не то, что завтра или послезавтра немцами будет эта деревня сожжена в отместку за исчезновение девяти солдат и двух офицеров. Можно было просто пересидеть, немцы, это уж точно, очень устали, переспят и завтра утречком тронутся. Кроме того, стемнеет — и выходи из избы да в полный рост к лесу.

Мы почуяли поживу, мы глаз не сводили с нежданных соседей, потому что странно, очень странно вели себя оба офицера! На третьем году войны я в порядках немецкой армии разбирался не хуже Лукашина. Чех поднатаскал нас изрядно, да и насмотрелся я на немцев досыта. Никакой железной дисциплины у них не было, нация эта всего-то отличалась серьезностью ко всякому делу, к военному — тем более, и никто из офицеров вермахта не щелкал каблуками, не орал «Хайль Гитлер» и не вздрючивал понапрасну подчиненных, как Григорий Иванович. У них было то, что выражалось словами «Все для фронта, все для победы!». Если для

победы немцу надо было щелкнуть каблуками — он щелкал, пока его не одергивали старшие.

Но эти-то — эти два офицера, этот лейтенант и этот гауптман — поведением своим опровергали все нажитые знания о немцах! Гауптман (капитан то есть) как бы мысленно понижал себя в звании до лейтенанта, когда говорил с ним, прохаживаясь по саду. Он даже прикидывался слугой его. Лейтенант потянулся к ветке с красным яблочком — гауптман тут же опередил его и ветку наклонил. И тональность беседы была удивительной, гауптман был вторым голосом в дуэте.

Очень заинтригованный, Алеша саданул меня локтем в бок, в ответ я двинул его ногой — в знак того, что ничего не понимаю. Лейтенант что — сын какого-нибудь бонзы? Или лейтенант получил звание майора за какое-нибудь геройство, но по разным причинам не успел еще сменить погоны? Такого быть не могло: перепрыгнуть через звание можно, но только приказом Верховного Главнокомандующего, то есть Гитлера. Да лейтенант ли офицер, около которого вьется с подобострастием капитан? А гауптман — гауптман или...

Григорий Иванович, на другом конце чердака сидевший, присоединился к нам и вмиг оценил обстановку. Достал ценнейший в таких обстоятельствах прибор — складную подзорную трубу, которая пошла по рукам. Рассмотрели: оба — в полевых куртках, садовая листва мешала разобратся в цвете петлиц и подбое погон, но одно несомненно: погон истинно лейтенантский! И на плечах гауптмана — две, как положено, звезды. А ведут оба себя так, словно поменялись куртками.

Все сомнения развеялись, когда к ним подошел обер-ефрейтор. Обратился он к гауптману, а уж потом что-то сказал лейтенанту. Значит, все верно, то есть офицеры явно нарушают уставную субординацию. Обер-ефрейтор же доложил, как вскоре выяснилось, о том, что вода в колодце им испробована. Туда, к колодцу, и пошли офицеры, обер-ефрейтор крутил барабан, подавал ведра, лейтенант и гауптман разделись до пояса и поочередно поливали друг друга водой. И вновь обнаружилось: лейтенант сразу опрокидывал ведро на гауптмана, а тот ровной струйкой бережно поливал собрата по оружию.

Все наконец объяснилось.

Мы не видели главного действующего лица этих сцен: угол дома и деревья в саду заслоняли солдата, тенью следовавшего за офицерами, а солдат таскал с собой скособоченную табуретку, на которой возлежал портфель, — что наконец и узрилось нами, когда офицеры вознамерились подставить свои освеженные тела под лучи заходящего солнца, для чего

вышли на зады двора. Щекочущая деталь: если табуретку требовалось перенести на другое место, то лейтенант подходил к ней, брал в руки портфель, а пьедестал для нее, табуретку то есть, переставлял солдат — эдак торжественно, священнодействие какое-то, причем табуретка с портфелем никогда не покидала поля зрения ответственного за нее офицера — лейтенанта. Что касается гауптмана, то он, как, разумеется, и все солдаты этой спецкоманды, не имел права прикасаться к хранилищу какого-то документа особой, таинственной даже важности.

Вновь подзорная труба наставилась на портфель, как на пиратский флаг (помните сценку из «Таинственного острова»?). А тот, портфель то есть, никоим образом не походил на те сумки, в каких охраняемые и вооруженные фельдъегери перевозят строго секретные («Streng geheim!») пакеты. Обычное приспособление для переноса личной офицерской поклажи, в которую входят, кроме бритвы и мыла, кое-какая мелочь служебного обихода. Таких портфелей прошло через нас десятки, ничего ценного в них никогда не оказывалось, однажды попалась переписка оберст-лейтенанта Шмидта с Управлением тыловых имуществ, где Шмидт настаивал на праве своего подразделения (он командовал полком) забрать в единоличное пользование стадо коров в количестве восемнадцати голов.

Однако почитание такого скромного по виду портфеля что-то да означало. Хотя бы деньги, никому сейчас не нужные. Но скорее всего — документ. Никакой железной дисциплины у немцев и в помине не было, документ вполне мог почти частным образом, то есть с минимальной охраной и, по-видимому, в нарушение всех инструкций, отправиться нужному адресату.

Григорий Иванович, наш многомудрый, как мы полушутя называли его, командир, молча отдал мне подзорную трубу и занял свой пост наблюдения. Не проронил слова и Алеша. Молчал и я, сосунок, однако совесть грызла меня, любовь к Отечеству растревожила, я заворочался, будто бы устраиваясь поудобнее, а на самом деле громко взывал к чести и совести своих боевых друзей, а те беспрекословным молчанием загоняли мой язык в немоту, они напоминали мне о том, что всякая самостоятельность приводит к беде, что нас ждет Костенецкий, а то и сам Чех, они разведут нас по избам и заставят писать докладные, объяснительные и рапорты, и все — по поводу чересчур благополучно выполненного задания.

Они молчали. Молчал и я, молчание означало негласный сговор с немцами, сделку с ними, хотя те так и до конца жизни своей не узнали бы, что только случай позволил им утром увидеть солнышко. Но такие, что уж

тут скрывать, сделки с немцами мы уже заключали. Однажды, линию фронта пройдя, мы нос к носу столкнулись с такой же спецгруппой, как наша, столкнулись, друг друга не видя в плотном лесу, но внезапно ощутив присутствие врага, сразу поняв, что находимся в очень невыгодном положении, посему и переместились в более выгодное. Однако в боестолкновение не вступили, молча и здраво рассудив: легкое ранение кого-либо из нас возможно, что есть уже срыв задания, — это раз, а во-вторых, невообразимо большое количество объяснительных документов надо будет написать по возвращении, у начальства возникнет масса вопросов: что за немцы, откуда, имели ли мы право и так далее. Те же опасения заставили, думаю, и немцев бесшумно исчезнуть, их, наверно, затаскали бы по начальствам.

Не зря Чех именно нас выбрал из десятков или сотен людей. Мы умели молча разговаривать, и дуроломные страсти Калтыгина стачивались нашими раздумьями, наш командир умирался, а вслед за ним рождалось и общее решение, заключительную часть поручаемого нами дела мы репетировали в уме, мы проигрывали концовку, оставляя каждому некоторую свободу выбора, если концовка эта получалась несколько корявой, а что в ней всегда были и будут разные неправильности — так об этом не раз предупреждал Чех.

Ну так вот: я страдал оттого, что мог, обманывая Костенецкого и Лукашина, лишить их чрезвычайно ценного документа, а Григорий Иванович, в пяти метрах от меня находящийся, подкалывался иными страстями. Наш командир обладал дурным нравом, очень дурным! Он — при всей своей самостоятельности и паскудном тиранстве — был подхалимом, угождение начальству стало потребностью души его. Григорий Иванович смекнул: если в портфеле документ громадной военной значимости, то погоны майора и орден ему обеспечены, что очень кстати, потому что шла переаттестация командиров, несколько месяцев назад ставших офицерами.

Им и было предложено: документ в зубы — и уходить в лес! Но так предложено, что очевидно стало: нельзя делать ни того, ни другого. И не потому, что немцы спялят деревню, а молодуху, только что в раю побывавшую, ввергнут в адские муки. Нельзя лишать немцев портфеля, ибо испарится ценность документа. Нельзя!

Мы уже сгруппировались у самой печной трубы и тихо-тихо разрабатывали план. О похищении документа и думать не следует. Алеша употребил одно из всегда пугавших Калтыгина иностранных слов, на этот раз — «дезаурировать», да и сам Григорий Иванович понимал: утеря

документа всегда приводит к отмене всех изложенных в нем мероприятий. Понимал — и упрямылся, самолюбие страдало. Помогла нам молодуха, обладавшая острейшим слухом. Из сеней услышала наши шепотные переговоры, поднялась по приставленной лестнице, показала себя до уровня тыкв.

— Да я вам эту сумку притащу! Как спать они лягут — притащу!

Григорий Иванович цыкнул на нее, согнал с лестницы. Идея, однако, подана была. Продолжили наблюдение за соседней избой. Хозяйка ее — старуха не старуха, но и не той ядреной молодости, что наша молодуха, возилась в саду у печурки: стояла жара, а русскую печь летом вообще не топят. Жарилось мясо, здешнее, деревенское, — нюх у Алеши был таким же обостренным, как слух у молодухи, он все специи, что добавляют немцы в котлы, за версту опознавал, если ветер дул в его сторону. Сама же хозяйка метнулась к изгороди, позвала нашу. У немцев, оказывается, свой шнапс и прочее, но требуют достать самогона, наслышались о нем. (Очень важные сведения: офицеры — с передовой, самогон достанешь только в тылу.) На что молодуха, еще не вышедшая из райского блаженства, сказала, что самогона у нее нет, но — сбегает кое-куда и попросит.

Недюжинный ум и неправдоподобная смекалка молодухи вселяли надежду! Документ из портфеля сам плыл в наши руки! Алеша обезьяной прыгнул вниз, дал хозяйке наставления. Та исчезла.

Вернулась быстро, для большей сохранности прижимая бутылку к груди. Алеша покопался в аптечке, где хранились все выданные Чехом яды и снадобья, что-то сыпанул в самогон.

«Эй, Лукерья!..» — позвала молодуха соседку и протянула ей самогон.

К появлению его немцы были уже пьяноватенькими и с чудовищным аппетитом, в ход пошли собственные припасы, банка шпрот была вручена за сноровку молодухе, прислуживавший офицерам солдат-мотоциклист поплелся было за нею, но вспомнил, видимо, о портфеле и ограничился хватанием руками за тыквины.

В полночь портфель лежал в избе, на столе. Открылся он свободно, две обычные ременные застёжки, слегка потерт и легок. Вчетверо сложенная карта — вот что везли офицеры, вот что доверено было лейтенанту. Сопроводительное письмо решили не вскрывать, хотя все, необходимое для заклейки его, имелось, на конверте же от руки выведено: «Эриху». В сундуках и на печке нашлись разные скатерти, отрезы и холстины, светомаскировку сделали полную, карту разложили, на всю избу — одна керосиновая лампа, но у нас у каждого — сильный фонарик от английского «харрикейна», приходилось верить, что им можно осветить взлетную

полосу. Все три фонарика включили на секунду, после чего изба вновь погрузилась в темноту, и все ждали, что скажу я, самый натасканный и наиболее обученный картам (да после болота с визжащим немцем всем пришлось пройти всеобуч по картографии).

— Настоящая и свежая, — произнес я, и сколько бы потом ни уламывали меня штабники фронта, как ни стращали смершевцы, я стоял на своем, убежденный в неподделанности той карты, что засияла передо мною всем своим немецким происхождением, хотя и перепечатана с советского образца, с верстовки (масштаб 1: 42 000), пятикрасочная (все наши — в четырех цветах), с типичной координатной сеткой Гаусса — Крюгера. Все удобства пользования, на левом поле — условные знаки, все русские наименования — по-латыни. Но карта эта была неучтенной, штамп «Экз. № ...» отсутствовал. На самой карте же — немецкая оборона в полосе сорока километров с наименованиями всех частей и численности их на позавчерашнее число.

Вновь зажглись фонарики. Карту условно разделили на три части, каждый впитывал свою треть. Опять погасили фонарики, посидели с открытыми глазами несколько минут, пока в них не исчезли светящиеся круги. Включили. Сверили запомненное с тем, что перед глазами. Темнота — и молчаливый уговор: сопроводительного письма не было! Да доложи, например, Чеху о нескрытом письме — он кивнул бы согласительно, ибо карта и письмо — неофициальные документы, один немецкий генерал передавал другому, ему очень знакомому, если не другу или родственнику, данные о себе, поскольку готовились к наступлению или обороне и сильно сомневались в правдивости вышестоящего штаба. Возможно, генералы командовали армиями и обеспокоены были стыками. Линия фронта извилиста, самый короткий путь не вдоль передовых линий, конечно, а напрямик, вот и решено было обмениваться свежими данными о себе и противнике. Сам конверт был с секретом, вероятно, за долгие годы службы и дружбы генералы изобрели домашние способы конспирации.

Карту свернули, хозяйка наша шмыгнула к соседке. Три часа утра без чего-то, небо еще не подкрасилось восходом, от вернувшейся молодухи веяло торжеством и женщиной. Надо бы уходить, но Григорий Иванович еще не расплатился с добровольной помощницей, да и надо было дожидаться пробуждения офицеров.

Воистину женские руки самые мягкие и ловкие: лейтенант, хранитель портфеля, не шевельнулся ни при вытаскивании портфеля из-под подушки, ни при обратной операции. Оба офицера теперь спешили, позавтракали всухую, мотоцикл пофыркал и бодро застучал. Укатали. Тогда и мы

покинули село. Понимали, что сделано большое дело, поважнее, может быть, того, которое нам поручали, и тем не менее что-то нас пугало, предвещая беды...

Береги честь смолоду. — К вопросу о правдах войны — штабной и окопной

Очень, очень нехорошие события случились с нами при переходе линии фронта! Самолет за нами не пришел, хотя и был обещан, и все потому, что задание было сдвоенным, и от Чеха, и от Костенецкого, а тот полагал, что обратную дорогу обеспечивают москвичи, те же надеялись на фронтовое наше начальство. Представленные самим себе, мы изворачивались угрями. Дороги забиты немцами, общаться с партизанами нам запретили, местного населения как такового не существовало... И все-таки мы вышли к своим и предстали перед начальником разведотдела... не нашего фронта, вот в чем еще одна беда, а Воронежского, если не изменяет память. После чего началась странная канитель.

Нас троих не то что арестовали, а расселили по разным воинским частям, везде поставив под надзор. Меня опекал капитан Локтев из оперативного отдела, изредка выпуская на прогулку во двор штаба, то есть школы, где этот штаб обосновался. «Ну, — говорил он, — иди разомни ноги под окном...» В штабную столовую меня не пускал, водил на какой-то склад, где меня считали дармоедом и нахлебником. Сокрушенно покачивая головой, Локтев сочувственно поглядывал на меня и вздыхал: «Да, дружок, влип ты основательно... Никто не позволит тебе защищать Родину, отлеживаясь в кустах!» Обкатанный приемчиками Любарки, помня наставления Чеха, я тоже сокрушенно покачивал головой и спрашивал, расстреляют ли меня одного или у края вырытой могилы будут стоять двое: он и я? От таких вопросов Локтев немел, бледнел, вздрагивал, оглядывался: никто не слышит? И начинал меня ругать. Из бессвязных его проклятий понималось все же, что в штабе этого фронта меня считают провокатором, подставной фигурой. Офицеры разведотдела с каждым днем, с каждым новыми докладами армейской разведки убеждаются в том, что хитроумный план немцев по дезинформации едва не увенчался успехом, и если бы не бдительность штаба, то последствия были бы ужасающими... Я, опять же наученный опытом общения с Любаркой, невинно спрашивал, как немцы пронюхали, разрабатывая план, о наличии капитана Локтева с его длинным языком.

Трое суток длились эти издевательства, но оказалось, главные испытания впереди. Мне сделали проверку, то есть изготовили карту

вымышленного участка фронта, показали издали, убрали, а затем предложили воспроизвести ее на чистом листе ватмана. Результаты привели офицеров в сильное смущение, но они не сдавались и хором уверяли меня, что, возможно, немецкую карту запомнил я лишь отчасти, сказалось, мол, волнение и спешка... Потом они перешли к другой тактике, вернувшись к высказанной Локтевым версии: карта, якобы увиденная нами, фальшивка, что было сущей нелепицей. Уж карт этих немецких я насмотрелся, отведывал их с пылу и с жару, то есть свеженькими разворачивал их, сохраняющими тепло еще не окоченевших тел.

Они мне одно, я — другое. Они мягко, без нажима — и я ласково. Они с угрозами — и я тоже, причем мои оказывались повнушительнее: ведь начнись наше наступление, появись вдруг на фронте те дивизии, номера которых я принес, — офицеров-операторов накажут.

Тогда они нанесли мне страшный удар. Они сказали, что капитан Калтыгин и младший лейтенант Бобриков признались в том, что ошиблись, вернее, что могли ошибиться, неся с собой в памяти карту.

Я был так оглушен, что не смог ничего возразить. Я молчал. Стоял понуриив голову. Но когда мне показали объяснительные записки предавших меня боевых друзей, когда предложили мне написать такую же, то есть отречься от карты, я предавать себя не пожелал.

С гневом и возмущением смотрели на меня офицеры штаба. Сказали, что на мне будет кровь наших солдат, и отправили под домашний арест, приказа о наказании не огласив по той, как они мне объяснили, причине, что он, приказ, послан полковнику Костенецкому.

Меня вывели из комнаты, где разбирался мой проступок. И отдали в руки полковнику Богатыреву Борису Петровичу, начальнику разведки артиллерийского корпуса.

...На хуторе, где самогон рекою лился. — Ужас, что они натворили! — Приезд всесильной делегации. — Позвольте представить: майор Филатов Леонид Михайлович

У него я должен был отбывать арест. А он сам после ранения отсиживался и отлеживался на хуторе в двадцати километрах от штаба. Негнущаяся нога не мешала ему переобучивать разведчиков. Взвод инструментальной разведки — так точно называлось воинское подразделение на этой переподготовке, и с командиром его у меня сложились, как пишут в воспоминаниях генералы, хорошие отношения. Ни фамилии лейтенанта, ни имени его не помню. Но забыть Бориса Петровича Богатырева было бы грехом непростительным. Он стал моим очередным учителем.

(Очередным — потому что воспитателей у меня в ту пору жизни было хоть отбавляй, мною чрезвычайно интересовались люди, желавшие видеть во мне человека, в котором исполнятся их подавленные или подавляемые желания; каждому из этих людей казалось, что, доучив, довоспитав или перевоспитав меня, они наконец-то узрят нечто, примиряющее их с уходом времени в безвозвратность, с тщетой усилий по достижению идеалов. Чем-то судьба моя располагала людей к потребности исправить немедленно случайную ошибку моих слов или мыслей; многое во мне, включая и дело, которым я занимался, казалось им случайным, наносным, временным, не способствующим тому великому предназначению, ради которого я родился. Что-то общее связывало этих людей, какая-то светлая тоска сидела в них, вспугнуто проявляясь. Они вкладывали себя в жизнь мою, кирпичик к кирпичику выстраивая ступеньки, по которым я должен был пойти туда, наверх.

Но труды их постигла участь времени, эти люди так и не довоспитали меня, недоучили, иначе и не могло быть, потому что во мне они хотели видеть прежде всего преобразователя, а сами судьбами своими опровергали возможность изменения и улучшения. Раньше учителей, раньше меня мама моя поняла это прекрасно, привязывая меня к себе, показывая место, где я обязан был жить, существовать, и я должен был остаться там, в Грузии, на земле и при земле, воздвигая лежавший на планете слой почвы, соприкасаясь с древним благородством природы, дававшей человеку десять зерен взамен одного, брошенного в землю, каждый год возмещаая труды рук

многократным повторением плодов своих. Если бы не война, я остался бы с мамой, жил бы, как дядя Гоги, пальцы мои мяли бы чайные листья, от меня и Этери пошли бы дети, каждое утро слышавшие свою «манану»; с каждым осенним сбором листьев опадали бы и мои желания, человеческие надежды, каждой весной возрождаясь вместе с листьями, и умер бы я без страха, потому что в ровных рядах чайных кустов я воссоздавался бы каждую весну, обретая бессмертие... Этери, бедная Этери!)

Бориса Петровича Богатырева лейтенант, имени которого я не помню, называл выдающимся, непревзойденным докою в искусстве артиллерийской разведки. Хорошо зная немцев как нацию, не хуже начальника разведотдела разбираясь в организации немецкой армии, Богатырев, ночь пролежав с биноклем в окопе переднего края, по вспышкам огня и звукам пулеметно-артиллерийских средств мог определить точно не только то, что за нейтралкой держит оборону немецкий, к примеру, полк или усиленный батальон, а нанести на карту все оружейные стволы, упрятанные в тылу, вплоть до врытых в землю танков, даже если они и молчали в ту ночь.

Полковник Богатырев и рассказал мне, какое злодейство учинила наша группа, принеся руководству фронта самые свежие и точные данные о противнике. Растерзать нас за это мало! Расстрел — слишком мягкая форма наказания, ибо мы едва не опрокинули все стратегические замыслы товарища Сталина. Дело в том, поучал меня, оглушенного и растерянного, Богатырев, что на войне все зависит от человека при направляющей и указующей бумаге. Оперативное управление Генштаба условно разбито на направления по числу фронтов и флотов, иначе отделы, есть, следовательно, и Воронежское, так, скажем, направление, офицеры-операторы его получают регулярные донесения от таких же операторов армий, но у тех более узкие участки, и в штабе фронта есть офицеры, которым дела нет до немецкой передовой между двумя какими-то деревнями, каждый отвечает за свое, причем источники сведений строго определены. На штабных картах все выглядит безупречно, значок с одной карты переключивается на другую, московскую, и так далее. Полное взаимопонимание. И вдруг как снег на голову сваливаются три неизвестных штабу фронта офицера и доносят, что все их сведения о немцах — дерьмо, туфта, плоды тщательно организованной дезинформации, тем более что за точность доставленных сведений ручаются начальники этих трех офицеров. И представляется следующая картина. Капитан Локтев, на веру приняв донесение группы Калтыгина, наносит на карту относящиеся к его участку изменения в немецкой

группировке, которые никак не соотносятся с картой какого-то там капитана Филимонова. Последний идет за разъяснениями к начальнику оперативного отдела. Даже если Локтев и убедит сослуживцев в правильности принесенных сведений, ежесуточную оперативную сводку подписывает еще и начальник штаба фронта. Предположим (Богатырев попыхивал немецкими сигаретами «Юно»), сводка все-таки отправляется в Генштаб. Там ее читает начальник направления и приходит в тихую ярость, потому что из-за внезапных новостей с подведомственного ему фронта придется переделывать не только карту направления, но и всего фронта от Мурманска до Новороссийска. И это полбеды. Настоящая беда — от Верховного Главнокомандующего, который сразу обратит внимание на то, что 87-я или какая-то там еще немецкая пехотная дивизия, обретавшаяся во Франции, неожиданно возникла под самым носом, — а где была ранее разведка, чем вообще занимается командование, предположим, Воронежского фронта? Разведка, докладывают, работала из рук вон плохо (войсковая, а не артиллерийская — поправлял себя Богатырев), командующий фронтом же и член Военного совета прикладывались к бутылочке и прозевали 87-ю дивизию...

— Дорогой мой мальчик, ты можешь представить себе такой разговор в кабинете Иосифа Виссарионовича?

Нет, конечно, не мог — о чем и сказал. А Борис Петрович Богатырев продолжал фантазировать. Скупко обрисовав недовольство товарища Сталина, он приписал ему вопрос: а откуда эти новые данные? В ответ на что начальник Генерального штаба со скрытой гордостью отвечает:

— Их героически добыла спецгруппа капитана Калтыгина, в которую входили помимо него еще два офицера — младшие лейтенанты Бобриков и Филатов!

Это уже было слишком... Разговор на эту тему можно было кончать, тем не менее я робко поинтересовался, а кого расстреляют, если в ходе наступления или контрнаступления обнаружится, что сведения, которые принес младший лейтенант Филатов, верны, а пренебрежение ими стоило многих жизней?

— Тебя расстреляют, мой юный друг. А загубленные жизни входят в так называемые систематические ошибки. Приборная ошибка буссоля — столько-то градусов, бинокля — столько-то метров, и тут уж ничего не поделаешь. Вот и количество убитых всегда планируется...

Широкая дорога, шлях по-здешнему, обрывалась на совхозе, который когда-то был, наверное, богатым, в полукилометре — хутор, пять домишек, в самом лучшем квартировал Борис Петрович, фронтовыми трофеями

пополнявший свою довоенную домашнюю библиотеку. У такого же чересчур знающего невоенные предметы немца Богатырев позаимствовал альбомы с красочными картинками, репродукциями и часами рассказывал мне о художниках прошлых веков, о вечности. А мир колыхался, стены готовы были вот-вот обрушиться, свербящий стон дрожал над Вселенной, достигая моих ушей, эпохи низвергались бурным водопадом, и это сотрясений волновало меня. Я убеждался: придет время — и будет это очень скоро, — я услышу «манану», речи Богатырева подсказывали мне, что не меня предали Калтыгин и Алеша, а способствовали обманом и предательством разгрому немцев, бесперебойной работе слаженного военно-штабного механизма.

Воспитывая несмышленища, Борис Петрович не забывал о курсах, куда наведывался раз в сутки, и с презрительным молчанием посматривал в сторону совхозного правления и рот раскрывал для того лишь, чтоб посвящать меня в скверные дела еще одного воинского подразделения, не только нашедшего приют на территории курсов, но и пытавшегося выдавить артиллеристов куда подальше. К совхозу (Борис Петрович осуждающе качал головой) примазался химвзвод, которым командовал сержант самой настоящей вузовской выделки, с хорошим теоретическим багажом, война же привила ему умение из любого дерьма делать что угодно. Бывший вузовец присмотрелся к котловану, напоминавшему лунный кратер, и установил, что заполнен он сахарной свеклой, так и не вывезенной на переработку из-за наступления немцев, что ее — пятьсот центнеров и что она сверху немного подгнила. Где добыл нужную аппаратуру сержант — полная неизвестность, но самогон, по мнению знатоков, отменный, вузовец творчески переработал консервативную технологию, в букете напитка чувствовались цитрусовые добавки (Богатырев легонько попивал, но не при мне, стеснялся почему-то; он же уверял меня, что самогон — национальное достояние, символ, такой же атрибут, как самовар и нагайка, недаром все языки мира калькируют эти слова). Беда в том, продолжал сокрушаться Богатырев, что на хутор зачастили комиссии. Распушат его для самооправдания, удалятся на совещания и призывают сержанта, после чего напиваются. Никем эти комиссии не создаются, полностью они самозванные, сколачиваются самостийно, состоят из бездельников, каких всегда полно в любом штабе, и гонит их к самогону не столько страсть к выпивке, сколько желание удалиться от глаз трезвенников и вообще работающих офицеров, с еще большей силой впечатлиться величием момента, переживаемого народом, ощутить же такой момент можно, оказывается, только в сонном

оцепенении эвакуированного совхоза, на берегу речушки, гладь которой расчерчивается плавниками красноперок. Зараза могла перекинуться на курсы переподготовки, Богатыреву умные головы предлагали давно уже написать бумагу на имя начальника штаба фронта, указать на опасное соседство, потребовать перевода химвзвода в другое место. Он и написал — сдуру, так признавался он, в полном затмении рассудка, ибо резолюция была наложена такая: химвзвод оставить на месте ввиду особой важности мероприятий, проводимых по планам Ставки, а курсы переподготовки — расформировать. Богатырев в панике бросился в штаб, прорвался к начальнику артиллерии Варенцову, тот резолюцию немного изменил, но о курсах пошла дурная слава, на хутор ездили по одному лишь поводу, и сержант — непонятно, что руководило им, но фамилию его вынужден привести, дабы он мог при случае подтвердить истинность происшедшего далее, — издали завидев штабную машину, на порог избы выставлял канистру с первоклассным пойлом. Иванов его фамилия.

А я будто не замечал пилигримов, как называл приезжавших полковник. Отбегав с утра неизменные десять километров, мысленно поворачивая себя вокруг воображаемой перекладки и плотно, по-настоящему позавтракав, приходил к Богатыреву и погружался в интересные разговоры. Я много и часто смеялся. Это был смех накануне плача.

Однажды на хутор пожаловала четверка: два генерала, порученец одного из них и полковник. Прикатали на «виллисе», за рулем сидел порученец, капитан. Возможно, я жестоко ошибаюсь — как и полковник Богатырев — в попытках рационально объяснить пьянки на хуторе. Достаточно носорогу, единожды продравшись сквозь джунгли, проложить дорогу к реке, как по неудобной и путаной тропе попрут все алчущие обитатели животного царства — лакать мутную воду, и под панцирем черепа ни у кого не возникнет желания попить водичку посветлее.

Порученец вручил полковнику пакет со свертком и трусцой побежал к избе, где уже началась дегустация. В гневе покусывая губы, Борис Петрович взломал печать, стряхнул с себя крошки сургуча, прочитал бумагу, протянул мне руку, поздравил и достал из сундучка коньяк, берегаемый им для какого-либо праздничного случая. Бумага оповещала, что мне присвоено звание «лейтенант». Сверток прилагал к пакету погоны с уже пришпиленными звездочками. Сам приказ там, у непосредственного начальника, который по своим линиям связи известил местное руководство о повышении в чине офицера, ему подчиненного. Операторы, так и не придя к твердому мнению относительно карты,

решили возложить на начальника штаба фронта принятие решения, для чего надо было подсунуть меня вместе с картой. По обстоятельствам дела генерал-лейтенант скорее поверил бы неизвестному ему лейтенанту, чем тому же капитану Локтеву. Для контактов подобного рода нужна вымеренная дистанция. Директор завода обоснованно сомневается в искренности начальника цеха, тот в свою очередь работяге доверяет больше, чем мастеру. И так далее. В таких нюансах путаются социологи, но отлично ориентируются практики.

Итак, я стал лейтенантом, и полагалось это важное в биографии воина событие увековечить в удостоверении личности, какового у меня не было, оно лежало в чьем-то сейфе. Лейтенант — это, конечно, звучало гордо, и думалось, не только Этери встречала бы меня после войны, но, пожалуй, все село высыпало бы на улицу.

Однако, как выяснилось позднее и о чем я, конечно, не догадывался, лейтенантом я стал всего на час.

Начинало темнеть, когда наши беседы с полковником прервал запыхавшийся не от быстрого шага порученец. Меня звали генералы.

Представ перед необходимостью быть по-уставному одетым, не имея офицерского ремня и фуражки, я пытался было объяснить порученцу эти сложности, но тот нервно предупредил: «Литер! Не брыкайся! Опоздаешь — разжалуют!»

В сенях генеральской избы я споткнулся о тела вповалку лежавших химиков. «Смелее, направо», — сказал порученец, икнув... Было темно и тихо. Мне показалось, что за дверью спят.

Спал только полковник, сидя за столом и носом к раскрытой банке тушенки. Генералы ковырялись в «телефункене». Оба были по-дурному пьяными, и если бы неподалеку проживали женщины, то порученец давно приволок бы их. За неимением таковых души генералов воспарились любовью к музыке. Оба что-то напевали и того же требовали от батарейного радиоприемника.

— Наладь-ка, братец, — сказал генерал, фамилия которого стала вскоре мне известна, однако, помня о том, что у них ныне есть и дети, и внуки, я ограничусь ориентировочным наименованием его. Скажем, так: Повыше Ростом.

— Ты в этом деле кумекаешь, — прибавил другой, тот, который Пониже Ростом.

Из «наладь» и «кумекаешь» понятно стало: генералы осведомлены о том, кто я и откуда. Занимаясь делом, я прислушивался к тому, что происходит за спиной, и старался не дышать, потому что продуктами

распада самогона изба провоняла до последнего бревнышка, ибо была гостевой, гостиницей для пилигримов. От них я всегда держался подальше, на глаза не попадался, избегая расспросов, не сулящих мне добра, но химик из МГУ каждую споенную им генеральскую душу записывал в свой актив, душами этими похвалялся, и похвальба доходила до моих ушей.

Чем генералы занимались вне избы — я не знал, мог только предположить, что какое-то основательное отношение к трофейному имуществу они имели. Тогда уже ни удивления, ни радости не вызывали захваченные немецкие автомашины, норвежские сельди в плоских консервных банках, приемники и радиолы, надежные, как мой «северок», но очень и очень на глаз приятные. По-прежнему мы не разговаривали с Инной Гинзбург, но с подругами ее, которые при встречах со мной вскрикивали: «О, подлый насильник и совратитель!», я общался, замечал кое-какие обновления на них и приходил к выводу, что учет захваченных у немцев разных красивых вещей еще не налажен, и штабам доставалось то, что за ненужностью или громоздкостью, как этот «телефункен», отвергалось фронтовыми частями — те и дарили переводчицам кое-какие безделушки.

Генерал Повыше Ростом частенько, видимо, бывал в окопах и первым врывался в немецкие офицерские блиндажи, потому что после того, как приемник заговорил, он, к царственным жестам не прибегая, просто снял с рук часы и протянул их мне. «Прекратите болтать!» — вдруг рявкнул трезвым голосом пробудившийся полковник, подняв голову и дико озираясь, чтобы вновь в изнеможении рухнуть на стол. Я постарался тихохонько выскользнуть.

У Богатырева я рассмотрел часы, — а понавидал я их много, очень много, но никогда, кстати, не снимал их с убитых. Это была чистая работа, Швейцария.

— Выбрось! — приказал Борис Петрович, предчувствуя дальнейшее. И я выбросил. Я увидел, выбрасывая их в окно, как порученец, спеша к нам, преодолевает последние до крылечка метры, и подумал: а не пора ли спрятаться?

Но было уже поздно. Во исполнение приказа генералов я, придерживая порученца за туловище, приблизился к источнику тошнотворных запахов. Химики по-прежнему дрыхли в сенях, за дверью булькали голоса. Я вошел и поразился. Алкоголь накалил генералов до состояния, в котором можно принять решение о высадке лейтенанта Филатова в распоряжении Ставки Гитлера.

— Смир—rrr—на!.. — проревел Повыше Ростом.

Кому командовали — неизвестно. Полковник так и продолжал спать, даже не шевельнулся. Генералы не видели ни его, ни меня. Они смотрели в какую-то даль, ту, что за стенами, что за совхозом и фронтом вообще. Что, интересно, видели они, какие горизонты открывались их мокрым и строгим глазам?

— Лейтенант Филатов! Выйти из строя!

Все казалось мне происходящим где-то далеко-далеко и не со мной, однако отчетливо помню, как дико повел я, как странно.

Я топнул ногой, по-немецки, как представляющийся офицеру солдат, и не сходя с места. А затем пролаял грузинское ругательство, самое страшное. Порученец хихикнул.

— От имени и по поручению командующего фронтом... за мужество и героизм, проявленный при выполнении особого задания командования... вручаю вам орден Красной Звезды...

Порученец икнул и вложил в руку генерала орден, тут же перекочевавший в мою ладонь, иначе он упал бы в тарелку с мясом. Зараженный моей шkodливостью, порученец с быстротой иллюзиониста выхватил из планшетки заполненный в описательной части наградной лист и вкатал в него авторучкой мою фамилию. Вместе с листом я выстрелился вон и опрометью помчался к Богатыреву. Борис Петрович достал массивную лупу. Нацелил ее на орден, сравнил с наградным листом.

— Все тот же, — со вздохом произнес он. — Не выбрасывай. Ни в коем случае.

В третий раз посланный за мною порученец смог осилить только половину пути. Увидев посланца генералов, Богатырев хмыкнул и полез в чемодан, протянул мне новенькие погоны с двумя просветами.

— Рассчитывай на майора... или на подполковника. Какие они ни косые, а помнят, что полковника можно присвоить только с санкции Главного управления кадров. Ступай. С орденом.

С ношей (порученцем) на плечах предстал я перед генералами, опустил капитана к ногам их. Громовым голосом от меня потребовали где угодно достать погоны старшего командного состава. Я выложил их на стол, у затылка полковника, внезапно проявившего признаки жизни, вскрикнувшего обычное «Прекратите болтать!» и захлебнувшегося от крика. Генералы казались чересчур деловитыми и трезвыми, они определенно спешили, какие-то неотложные дела звали их в неоглядные шири, и спешка укорачивала их языки и делала жесты рубящими; отрезвление, на них снизошедшее, могло измеряться только на шкале диапазона, лежавшего за пределами сознания. Суется и торопясь,

запихивая что-то в портфели, они громовым голосом объявили, что Филатову Леониду Михайловичу присвоено внеочередное воинское звание «майор» — и в воздух взметнулась какая-то бумага, явно ко мне относящаяся, мною подобралась и сунулась в карман не глядя. Затем генералы толково, очень внятно разъяснили мне, к кому и как обратиться в штабе, чтоб номер приказа был вписан в удостоверение личности.

Порученец совсем скис, о полковнике и говорить нечего, генералы водить машину не умели. И мне приказано было сесть за руль, предварительно приладив к плечам погоны майора.

Путь к славе и позору. — «Манана! Манана!» — Арест, дознание, следствие и суд

«Виллис» вмещал пять человек, четыре человека не без моей помощи поместились, «телефункен» я поставил себе под ноги. Полковника я воткнул между генералами, порученец сел как-то неудобно, так и норовил пободать стекло или сползти вниз. Но до штаба всего восемнадцать километров, была надежда, что никто не вывалится и не расшибется. «Прекратите болтать!» — в последний раз возгласил полковник, и я, проезжая мимо избы с Богатыревым, сокрушенно помахал ему рукой.

А уже звезды проступили, разгораясь с каждой минутой. Луна светила недобро. Порученец выпростал ноги наружу, храп его я слышал в моменты, когда генералы набирали воздуха в легкие, чтобы с новой силой продолжить исполнение песни «Синенький скромный платочек». Потом они умолкли, намаявшись с куплетом, который никак не отлипал от их языков. Я сбросил скорость, чтоб они заснули, и тут произошло чудо. «Телефункен» издал птичий клекот, разбойничий свист, как бы призывавший всех к молчанию, я немедленно выключил, недоумевая, мотор и в некотором страхе понял, что из приемника льется та мелодия, которую я слышал только с патефонной пластинки у бригадира Никифора.

Да, всей пятиваттной мощностью прекрасный немецкий прибор, называемый радиоприемником «телефункен», исполнял «манану» — всем многозвучием оркестра!

Есть все-таки разница между музыкой с эстрады в летнем парке и музыкой из горла патефона, мелодией из чрева радиолы и связным колыханием звуков в открытом поле. Она, эта музыка под небесами, для всех, не для двух пар ушей и не для двух сотен, она — со звезд и она же — из-под земли... А небо прочистилось, высвободилось от туч, как бы раздвигаясь, впуская меня под звезды; в грандиозном, как мироздание, зале я был один-единственный слушатель, и «манана» исторгалась и землей, и небом, «манана» омывала меня, частицу миллиардных толп, втянутых в войну и в войне пытавшихся найти ответы на детские вопросы. Я глянул на себя и поразился: шестнадцать, кажется, лет — и такой уже взрослый, умею убивать и брать женщин, учусь в самых жизненных университетах; нет, не слепая случайность соединила отца и мать, для чего-то великого и вечного рожден я, для каких-то величайших событий, которые произойти

без меня не смогут.

Одно из этих величайших событий уже произошло и случилось: я услышал «манану», неизвестный мне человек в неизвестной мне точке земного шара содрогался теми же чувствами, что и я, и это его рука поднесла иглу к патефонной пластинке, чтоб над земными страданиями, сочувствуя им, неслась мелодия, касаясь листьев, травы, веток, скользя по телам людей и лишь кое-где достигая человеческих ушей.

Я жил! Я чувствовал! Я испытывал наслаждение от ощущений! Я знал и верил, что судьба обольет меня счастьем, как теплым дождиком в пересушенный жаркий день. О жизнь, время наших желаний!..

Как только последний звук «мананы» упал в приемник, я торопливо выключил его, я не хотел знать, какой город планеты осмелился огласить на весь мир мелодию, известную только мне — здесь, в степи, и только нескольким счастливым — на всем пространстве от Мурманска до Батуми.

Я этого знать не хотел. И мягким толчком тронул «виллис».

Штаб фронта второй месяц уже — с явного попустительства немецкой авиации, как острили офицеры, — занимал двухэтажное здание школы. На КПП при въезде не задали ни одного вопроса, глянули, кого я везу, и притворились незрячими. Гаража как такового не было, машины стояли под тентом и маскировочной сетью. Мне бы остановиться где-нибудь пообочь, нырнуть в темноту да хорошо пробежать восемнадцать километров. Продрыхнут мои ездоки — и сами разберутся, где они и что им делать.

Я же пошел искать кого-либо из штабной obsługi, чтоб те помогли дотащить генералов до кроватей. Да кого найдешь: первый час ночи, узел связи попискивает и постукивает, к дежурному по узлу обращаться неудобно. В помещении комендантского взвода знакомый мне лейтенант как-то дико посмотрел на меня, подавив желание обратиться к нему за помощью. Стало понятно: без порученца, которого здесь всяк знает, мне никого не найти, и я пошел к «виллису».

Полковник уже исчез. Мне и раньше казалось, что он придуривается, симулирует глубокое опьянение, чтоб не оказаться свидетелем чего-либо неуставного, но столь явного подтверждения моей догадки я не ожидал. А генералы мирно посапывали. Порученец же курил. Не «Северную Пальмиру», коробки которой громоздились на столе гостевой избы, не «Беломор», а махорку, свернув «козью ножку» размером с телефонную трубку. Вот уж диво так диво. Нечто, выпирающее из привычного, полная необъяснимость — такая же, как жажда самогона при избытке спирта и водки. И никак не могло быть у порученца махорки, ему не из чего было вообще скручивать «козью ножку».

И тем не менее — скрутил, задымил, пока я бегал, а теперь — при затяжке — осветился и сам порученец. Из коряво скрученной «ноги» аж искры полетели. А рядом — бочки с бензином!

Нигде потом эта «козья ножка» не фигурировала, ни в одном протоколе допроса, существование ее старательно замалчивалось, упоминать о ней нельзя было.

Я выхватил «ногу» изо рта порученца и отбросил ее в сторону. Во мне сработал инстинкт самосохранения, принимавший подчас, как я успел заметить и о чем мне рассказывал Чех, странные формы, ибо инстинкт, более древний, чем человек, был все же очеловечен опытом, предрассудками, навыками, здравым смыслом наконец, — а какой, скажите, здравомыслящий и заботящийся в темноте о собственной шкуре человек потерпит рядом с собою светящийся предмет, видимый на большом расстоянии?

Поэтому я не затоптал сигарку, а отшвырнул ее подальше, намереваясь попасть в вазон, в декоративную чашу, смутно белевшую шагах в пятнадцати — двадцати. Земля под ногами все-таки промасленная, политая бензином. Кроме того...

Много таких резонов приводила моя безутешная голова — потом, когда я сидел в карцере. Но что толку?

Итак, я бросил. И раздался сдавленный вопль, перешедший в мат, осекшийся немедленно, а затем с удвоенным ревом продолжившийся и временами прерываемый обычным визгом.

Раскопегаренная порученцем сигарка, мною брошенная, шмякнулась не в вазон. То, что я в темноте принял за декоративную чашу, оказалось лысиной члена Военного совета фронта, по малой нужде вышедшего во двор. Не хочется уточнять, в какую часть тела попала искрометная «козья ножка», осмелюсь добавить, что процесс исполнения малой нужды был прерван. (Уже потом я осторожно пытался выяснить, не нанес ли ожог непоправимый ущерб мужским способностям раненого обладателя лысины, но, насколько понял, обошлось без тяжких для мужика последствий.)

Я бросился на помощь, поближе к визгу. Я еще не понимал, что сотворил. А уже прибежала охрана, меня потащили куда-то. Я молчал, ничего не понимая. Увидел себя наконец в коридоре первого этажа и налетавшего на меня коротышку в гимнастерке с фронтовыми генеральскими погонами, услышал его бессвязную речь. Я молчал. Я стоял. Коротенькие ручки генерала вцепились в мой погон на правом плече и с силой дернули его. Погон оторвался. (Мелькнула перекошенная

физиономия командира комендантского взвода.) Второй погон не желал разделять участь первого. Генерал, однако, поднатужился, уперся коленом в мой живот и все-таки вырвал погон — да так, что по швам затрещала гимнастерка. Отойдя к свежепобеленной стене, я лопатками коснулся ее. И молчал. Я был податлив потому, что мысленно передал все свои чувства некоему стороннему наблюдателю, человеку редкостной выдержки, и человек этот, как-то сбоку на меня глядя, увидел юнца, глупого и чрезмерно честного, в буквальном смысле прижатого к стене стайей озверевших людей и приговоренного к расстрелу на месте, там же, у стены, и поскольку сторонний этот наблюдатель побывал на многих смертях, то я, удовлетворяя желания его, стал абсолютно машинально снимать с себя сапоги, не прибегая к помощи рук, не наклоняясь, а так — нога о ногу, носком сапога цепляясь за задник другого. (Да что еще иное придумает человек, на которого в упор направлены пять или шесть пистолетов и три автомата!)

Недостянутый сапог отрезвил, как ни странно, всех. Ор прекратился. И слюной брызгавший от злости генерал выпалил:

— Фамилия, мерзавец!

Я сказал.

И тогда последовал жест, взмах руки, целеуказание пальца, тыкающего куда-то вниз, повеление быть мне на уровне, который ниже пола коридора.

— Разжаловать в рядовые! В штрафбат!

Припадая на правую ногу из-за мешавшего сапога, я под конвоем спустился вниз, в подвал. Распахнулась дверь с решетчатым оконцем, впустила меня и захлопнулась. Я оказался в камере. Дверь была единственным выходом из нее. На голых нарах — свернутое одеяло. Я сел на доски и стал приводить в порядок дыхание, основу правильных мыслей... Как только оно восстановилось, в камеру прыгнули, будто с потолка, два лейтенанта, по манерам, по повадкам — из тех органов, куда ездил на доклады Любарка. Назывались (с апреля) эти органы так: СМЕРШ. Пришлось позволить им вывернуть мои карманы. Лейтенанты обомлели от добычи и бросились докладывать, впопыхах забыв закрыть камеру, чем я, конечно, не воспользовался: все хитрости контрразведки я знал со слов Алеши, а Чех дал мне подробные инструктажи на все случаи жизни.

Только утром, когда принесли завтрак, обнаружилось, что дверь — не закрыта на замок. Еще ранее я попросил меня выпустить на бег, отнюдь не рассчитывая на успех. Просто по совету Чеха я мелкими просьбами находил те логические запоры, которые предстояло преодолеть, и сущей

находкой стало появление дознавателя (или следователя — попробуй разберись). С собой он принес фонарь, не довольствуясь лампой под потолком, которую, кстати, можно было вывернуть для использования в наступательных и оборонительных целях, о чем никто здесь не догадывался, хотя по первым же словам пришедшего я понял, что меня принимают за немецкого шпиона-диверсанта. Заполняя протокол с обязательными вопросами, он, водя пером по строчкам, дошел до «воинское звание» и положил на табуретку — комком — оба выданных майорских погона. «Ну что, гад, попался?» — примерно такая издевательская ухмылка сияла на его продолговатом лице.

При обыске в карманах моих так почему-то и не нашли приказа о присвоении мне воинского звания «майор». Его, мне сказали, вообще не было. Вот тогда-то я и рассказал о хуторе, о самогоне, о генералах, о порученце, о «телефункене» (он тоже куда-то запропастился), об ордене, о номере приказа, после которого я стал лейтенантом, о том, как неожиданно-негаданно превратился я в майора, и о событиях во дворе штаба сразу после полночи. Я ни словечком не коснулся Бориса Петровича Богатырева, я умолчал о нем, потому что не знал, поручится ли он за истинность того, что говорю я трем офицерам СМЕРШа и военной прокуратуры. В дополнение ко всему сказанному я собирался поставить в известность полковника Костенецкого о том, где я и в чем обвиняюсь.

И конечно же о «манане» никто из них не узнал.

Три офицера, начавшие было записывать говоримое мною, не только отложили ручки, но даже незаполненный лист бумаги уничтожили на моих глазах. Поднялись и ушли. По скрежету подкованных сапог стало понятно: охрана усилена. Одеядло отобрали. Множество звуков проникало в каменный мешок карцера, расшифровывать их было полезным занятием, и уже через несколько часов я знал о штабе много больше того командира комендантского взвода, которого я, известный ему младший лейтенант, страшно напугал, явившись ночью с погонями майора на плечах. Еще больше знаний давала мне кормежка. Видимо, СМЕРШ не жалел калорий на питание задержанного немецкого шпиона, зато военная прокуратура считала меня обыкновеннейшим мошенником и дезертиром, дело мое ходило по кругу, и если утром мне приносили кофе, то, считай, жди к обеду особиста. Самой же охране плевать было на то, какая птичка залетела в их гнездышко, охрана никак не могла согласовать вопрос о том, сколько человек будут сопровождать меня до уборной и обратно.

Никому не позволялось ни видеть меня, ни говорить. Но порядка, я давно заметил, нет ни в одном штабе — ни в советском, ни в немецком. Ко

мне вдруг пришел Борис Петрович Богатырев, сопровождаемый начальником артиллерии фронта генералом Варенцовым. Генерал этот рта не раскрыл, он лишь присутствовал, Богатырев же сказал, что порученец уже «раскололся» и дал правдивые показания, в мою защиту вовлечены могучие силы, как московские, так и местные, включая разведотдел, однако человек, подпаленный мною, обладает не только влиянием, но и редкостной мстительностью, что вынуждает сочувствующим мне товарищам прибегать к мерам необычным, товарищи сколачивают некий альянс из недругов генерала — того самого, который вручал мне часы и присваивал внеочередное воинское звание. Генералу этому все задолжали, всех он одаривал приемниками, часами и напитками, и никто из одаренных портить карьеру ему не станет. Однако генерал недавно сильно погорел, умыкнув с соседнего Степного фронта обоз и оприходовав его как немецкий. И вообще многие его ненавидели. Так что — не пройдет и часу, как меня освободят.

Час этот длился неделю. По истечении семи дней генералом Повыше Ростом занялись вплотную, радостно потиравший руки Богатырев приходил ко мне каждый вечер и оповещал о событиях, а были они весьма удивительны. Генерал, когда к нему приставали с расспросами о хуторе, отвечал кратко и вразумительно: полная чепуха, как мог он присвоить звание майора тому, который уже был майором? К изумлению всех неверующих и всего штаба из Москвы пришел приказ о том, что еще за три недели до происшедшего на хуторе командующий Брянским фронтом присвоил младшему лейтенанту Филатову Л. М. внеочередное звание «майор».

Как только приказ этот отстучался на телеграфных аппаратах, мне принесли гимнастерку с погонами майора. И все-таки надо мной по-прежнему нависал суд, разжалование и штрафбат, который был пострашнее кровопролитного сражения наподобие того, какой был на речке Мелястой. Но Богатырев штрафбата не предвидел. Он решил меня повеселить, показав копии документов на меня — служебный отзыв, боевую характеристику и справку об аттестовании, подписанные неизвестными мне генералами. Со стыдом читал я о себе: «...будучи послан с особым заданием в глубокий тыл противника, он при возвращении вступил в неравный бой с превосходящими силами механизированной полуроты, в результате чего захватил сверхсекретный приказ фашистского командования, что позволило нашему командованию правильно организовать оборону...»

Какая это еще «механизированная полурота»? Нет у немцев такого

воинского соединения, это даже Инна Гинзбург знает — так негодовал я. Из отрывистых высказываний следователя можно было заключить: Локтев все-таки поверил мне, и наступление наших войск на «его» участке фронта прошло успешно, с минимальными потерями, чего не скажешь о боях южнее и юго-западнее. То есть, боюсь в этом признаться, склоненные к вранью Калтыгин и Алеша повинны в гибели тысяч наших солдат. Ну а я-то, не совравший, — почему страдаю я, почему я виноват в том, что нагорожена куча вранья, что все меня касающиеся бумаги будто в чем-то вонючем и клейком? Неужели потому, что забыта заповедь Чеха: «Всегда соглашайся с большинством, потому что раз уж чаша истории качнулась именно в эту сторону, то никакие песчинки, на другую чашу брошенные, никогда не поднимут ее...»? Однако тот же Чех мысль эту завершал жестким указанием: «Но, поддаваясь оголтелому хору так называемого большинства, всегда выгадывай момент, когда ты волен будешь решение принять по-своему, не обращая внимания на вопли друзей, врагов и начальства...»

Следователем был Илья Владимирович Векшин. Его и позитивным негодяем нельзя было назвать. Он просто был при деле, и любое дело, доброе или злое, доводил до такого рационально-беспощадного конца, что и дело-то забывалось, конец помнился лишь.

— Где, когда и при каких обстоятельствах вы встретились 23 марта 1942 года в окопах под Великими Луками с лейтенантом Таранцевым Иваном Сергеевичем, который был убит накануне?

На такие вопросы, где идиотизм соседствует с гениальностью, обычно не отвечают.

Меня допрашивали на втором этаже штаба, оттуда я поглядывал на тот двор, где две недели назад «козья ножка» искрящейся дугой прочертила расстояние от «виллиса» до паха члена Военного совета. Днем во дворе царила суeta людей, которым отдавали сразу пять-шесть приказов и все о том же. Поглядывал — но и скашивал глаза на стол, начиная догадываться: кое-что на нем — для меня, чтоб я пополнял свои знания. Для самообразования. И уходя из комнаты, закрывая ее на ключ, следовательно как бы разрешает мне знакомиться с некоторыми материалами.

И на десятые сутки рука моя будто случайно сбросила прямо на колени себе личное дело майора Филатова Леонида Михайловича, с фотографии на меня глянул незнакомый человек в командирской форме с лейтенантскими кубарями в петлицах, родившийся вовсе, конечно, не там, где я, то есть в Воронеже, а в Ленинграде 11 июля 1919 года... Я понимал: мне дается от силы десять минут на ознакомление с сорока тремя листами личного дела,

и я уложился в срок, вернув личное дело на стол и теряясь в догадках, приходя к самой невероятной, подтвержденной вскоре.

Вернувшийся Векшин смотрел на меня так пусто, что отсутствие всякого выражения в глазах наводило на мысль о значимости пустоты. Поэтому я в лоб спросил, когда будет разжалование и смогу ли я, ознакомившись хотя бы на словах с обвинительным заключением, связаться с полковником Костенецким.

— Майор Филатов Леонид Михайлович, — сказал Векшин с пустотой в голосе, какая недавно была во взгляде, — будет несомненно разжалован и отправлен в штрафбат, чтобы кровью искупить свою вину перед Родиной.

Вслед за этим он поднялся и подошел к окну... Что сделал и я. Мы оба смотрели на двор, и я пытался увидеть то, что видел и хотел мне показать Векшин. С бронетранспортера соскочил офицер, руки черные, по пояс в грязи, скомандовал, солдаты покатили к нему бочку с бензином. Телефонистки, чистенькие, как носовой платок штабника, пробежали. Еще два офицера сошлись, обнялись, покосились на окна и пошли курить под навес. Писарь прошествовал, напуская важность. Что еще? Да много людей прошло и простояло за десять минут. И все по делам, все по горло занятые. Совсем не к месту кто-то раскатывал катушку с проводом, немецкую, замерял, наверное, длину. Комендант штаба задрал голову, пересчитывал выбитые стекла. Еще какие-то солдаты, баба с мешком...

Ничего стоящего не увидел я, не узрел. А Векшин увидел, узрел.

— Запомни, — произнес он.

Из нижнего отделения громадного сейфа он достал комплект новенького обмундирования, свеженького, с ярлыком Яранской швейной фабрики. Солдат отвел меня вниз, в камеру, здесь я переоделся, на мне были погоны майора, да и как им не быть, когда пятью минутами позже Векшин выписал командировочное предписание на имя майора Филатова Леонида Михайловича, обязывающее его убыть в распоряжение в/ч 34 233, то есть к Костенецкому.

— Счастливой дороги! — напутствовал меня Векшин.

И Богатырев, возвращая залежавшийся у него мой парабеллум, того же пожелал, потому что путь предстоял мне долгий и тяжкий: с тремя пересадками до Москвы.

Уже на полуторке, когда я трясся на пыльной дороге к станции, во мне вдруг всплыла картинка, глазами запечатленная, оттиснутая в памяти, но сознанием там, в комнате Векшина, не осмысленная. Я понял, на что намекал Илья Владимирович, когда рекомендовал «запомнить». Точнее — на кого намекал.

Именно: просторный двор за зданием школы, куда набились отделы штаба фронта, крытый «додж», откинутый тент кузова и два офицера, прыгнувшие на землю. Один — майор в гимнастерке старого образца, с петлицами, но без знаков различия и с погонами, — в такой смешанной форме одежды ходили тогда многие офицеры до конца 1943 года. Второй — лейтенант, прыткий, хороший спортсмен: он прыгал на землю, мысленно представляя себе гимнастический снаряд, прыгал, согнувшись, приземлился легко, как на мат. Одет он был справно, по уставу и так, что никто в штабе не придерется. Майор быстро сориентировался и двинулся в нужном ему направлении, огибая встречавшиеся ему препятствия: бочку, кобылу под седлом, вильнувший «газик», а лейтенант шел не следом, не рядом, а ухитрялся всегда располагаться так, чтобы пресечь майору пути возможного отрыва от него. Он конвоировал майора — вот что он делал, и я, под следствием пребывавший, не нашел тогда — у окна — ничего необычного в этом способе совместного передвижения и, лишь несясь вольной птицей по дороге, смог правильно оценить картинку. Майора везли на подмену меня, майор был моим однофамильцем и полным тезкою — Филатовым Леонидом Михайловичем, 1919 года рождения. Да, велика Россия, одна из рот Преображенского полка (так уверял Алеша) была будто бы укомплектована близнецами из разных семейств, и добыть на фронте майора Филатова Леонида Михайловича труда особого не составляло.

Стыдно было, очень стыдно. Полуторка несла меня вскачь от штаба подальше, от грехов и скверны, от позора.

Мысль! Мысль! Что это такое? — Вновь маэстро

Мне повезло: в Валуйках я столкнулся с Кругловым, он и пристроил меня к генералам, три часа лету — и Москва.

С майорскими погонами чувствовал себя так, будто на мотоцикле вкатился в просвет немецкой колонны, впереди — открытый зад «бюссинга», последний ряд сидящих на скамье солдат, в упор смотрящих на меня, а сзади — бронетранспортер с наставленным в спину пулеметом. В зеркале туалета Белорусского вокзала глянул на себя — все то же мальчишеское лицо, знакомое мне лицо, которое — так казалось — не могло выражать ни легкого полезного страха, ни задора, присущего парнишке, которому через два месяца будет шестнадцать, а может, и семнадцать — я уже начинаю путаться из-за обилия биографий. Бритва ни разу не касалась ни щек, ни подбородка, и вспоминался ранний весенний лужок, покрытый зеленым мягким пухом...

Но глаза! Глаза стали взрослыми, такими взрослыми, что я, своими глазами смотря в мои же глаза (не в чужие и не со стороны!), видел в них непонятную мне мысль, что-то вроде автоматного диска в арсенальной смазке. Я о чем-то задумался, и не на минутку. Я увидел страх перед собою, я боялся самого себя, мне почему-то было стыдно — и за погоны, и за ордена, и за пушок на щеках. За два года я вырос на семь сантиметров, не потому ли мыслю? И тут кто-то попросил подвинуться, кому-то надо было побриться, и я отошел. На миг во мне шевельнулось ощущение того утра, когда я сошел с ума, но оно покрылось вокзальной заботой военнослужащего, не имевшего ни литеры, ни денег, и не знаю, как бы выкрутился, не вернись я под крылышко Круглова. Он повел меня к себе, занимал он целые апартаменты на улице Горького, в чужом жилище обитаю, признался он. Да и так видно: в квартире он не ориентировался, будто только что был сброшен сюда с самолета, телефон оказался неподключенным, но в прихожей — явно принадлежащие ему мешки с продуктами... Во мне еще трепетало недоумение от увиденной мною собственной мысли в собственных глазах, ответы мои — а Круглов пытался осторожно расспросить меня — были глупыми или путанными. Как-то всесторонне, что ли, оглядывая меня, пощупав даже материал гимнастерки, он деловито спросил, как у меня с документами, что меня поразило; успокаивающим жестом он дал понять, что ответа не требуется.

Присовокупил: отныне он — в штабе фронта, здесь — командировка. Ушел звонить к соседям — и телефон заработал. Поразительно, но у него всюду были свои люди. Они дозвонились до штаба фронта и все разузнали. Костенецкий разрешил мне якобы задержаться в Москве, даже согласовав это с Разведуправлением, куда я пытался было проникнуть, но управление было разбито на разные подуправления в разных местах столицы, и офицер, который знал бы, кто я и откуда, так и не нашелся. Собрался было в кино, но Круглов предложил ресторан гостиницы «Москва», стал названивать, я слышал только малопонятные «верю... заметано...». Две девушки, вызванные телефонными паролями: «...договорились... давайте...», нашли нас в ресторане, были очень скромными и милыми, развязности — ни на грош, но мне почему-то захотелось Инны Гинзбург. Одна из девушек (имя ее забыл) сказала мне, что я напоминаю ее брата, до войны служившего в Киеве. Круглову при переаттестации дали майора, был у него орден Красной Звезды и три медали. На мне — чуть меньше. Девушка, имя которой забылось, шепнула: настоящая награда, мол, меня ждет, и не в наградном отделе Президиума Верховного Совета. «Спасибо», — таким же шепотом ответил я и в рассеянной по космосу звездной пыли уловил желание, которое не могло не совпадать с таким же у девушки. Наши пальцы сплелись у гардероба: девушки примчались в «Москву», взяв на всякий случай плащики. Ночевать поехали к ней, на Грузинский вал, от названия которого мне стало грустно. Мы оба поблагодарили космос, давший нам право лежать нагишом под одеялом. Девушка показалась мне совсем маленькой девочкой, когда притомилась и заснула, свернувшись калачиком. А я смотрел в потолок, я был в тягучей тоске, мне не очень-то нравилась такая вот доступность женщин, мне, наверное, хотелось поисков, страданий, поцелуев у калитки... Да где ж она, эта калитка? Девушка проснулась, нас вновь увлекла горная река, подхватила и понесла, выбросила на отмель, девушка спросила, сколько у меня было женщин — до нее? Ответил: «По пальцам можно пересчитать...», а сам начал вдруг подсчитывать убитых немцев, что давно уже не делал, о чем старался забыть; мне там, на Грузинском валу, пришла в голову мысль, которую я не могу назвать мыслью, настолько она была мелкой, ничтожной, но тем не менее вот она: немцев убил столько, что не пальцы считать, а волосинки на голове. Сказал я и о том, что невеста моя, Этери, отказалась почему-то от аттестата. Девушка одобрила это решение. Мне, сказала она, поднимаясь и закуривая, мне жених тоже прислал, а через месяц — похоронка. «Я как слышу по радио, что наши потери составили сто сорок семь бойцов, так сразу вспоминаю жениха...»

Горе-то, горе какое у Григория Ивановича... — Всплыли все старые грехи мушкетеров, кардинал о них пока не знает

Наконец я добрался до друзей, по пути отдав все документы и погонны Лукашину.

Алеша полулежал на топчане, фальшиво высвистывая авиационный марш. Григорий Иванович показался мне черным, как вчерашняя туча, рыхлым, безвольным, податливым, он сам чувствовал темень на себе, потому что пытался смахнуть ее с лица рукою. Он смотрел на меня, не узнавая, а когда узнал, то беззвучно пошевелил губами.

Григорий Иванович умоляюще попросил у меня водки, и я безропотно выдал ему московский гостинец. Григорий Иванович прошелся под окнами, скрылся за сараем.

— Мать у него умерла, — сказал Алеша.

Я ахнул. Мне стало так жалко Григория Ивановича, что еще минута — и я полез бы в окно, чтоб сесть рядом с командиром, присутствием своим напоминая про общую нашу судьбу.

— Не надо, — остановил Алеша. — Она умерла давно, пять лет назад. Гришка впервые в запое, не просыхает уже неделю.

— А как же?..

— А так же.

— Но ведь....

— Сопляк ты еще... Не понимаешь. Писать он ей не мог. И отцу тоже. Обоих сам раскулачил. Их и сослали. Вот и приходилось ему бить поклоны в письмах всем родственникам: может, кто знает, что с ними. Вот и узнал. Отец-то раньше умер, в тридцать третьем.

Вдруг я понял, прозрел, до меня дошел смысл святотатства, итог его: сын убил отца и мать! И сын страдает! Несильный в грамоте, он изощряется в письмах, выведывая про убиенных им.

Я растеряннo огляделся: ну и гнусное же местечко! За окнами — сад с краснощекими яблоками. Но впечатление — дико, голо, неудобно. Рядом — разрушенное трамвайное депо, рельсы, уходящие в сожженный город, нас к чему-то готовят — это уж всякий догадался бы, потому что на отшибе живем, вдали от посторонних, так сказать, глаз.

Привезли ужин в немецких кастрюлях. Когда поели, Григорий Иванович сказал то, что от него ждали:

— Вот что, хлопы... Нам надо быть вместе. Всегда вместе. Только так. Обратной дороги нам нет уже. На себя беру все. Вспомните все про себя — что делали и что наделали.

Стали вспоминать молча — и поняли, что если доберутся до нас те, к кому ездил на доклады Любарка, то всех расстрелять постесняются, этапируют в Москву, чтоб там уж с каждым разделаться за все. Что натворил до встречи с нами Калтыгин — того не знал даже Алеша, но наворотил Григорий Иванович предостаточно. И мы добавили в его кучу своего дерьма.

(Немаловажный штришок: Григорий Иванович не верил никому — ни отдельному человеку, ни какой-либо общественно-политической организации. Колхозников считал лодырями, однако же так называемую интеллигенцию бичевал за то, что она — на шее этих лодырей. Рабочий класс целиком состоял из прогульщиков и бракоделов, чему было множество доказательств: патрон заклинило — и Григорий Иванович мрачно изрекал хулу на пролетариат. Женщинам не доверял тем более, и сколько бы ими ни обладал, твердо знал: обманут при первой же возможности, а уж заявленьице напишут куда угодно. Особо ненавидел партийных работников, но мудро помалкивал.)

Однако же все меркло перед тем, что сотворено было позднее, в день, когда мы пересекли линию фронта — не буду уточнять где. Фронт в том месте распался, где свои, где немцы — не разберешь, что нам и требовалось, — как и рваные низкие облака, мелкий дождик, горящие танки, вроде бы шевелящиеся трупы, бегущие неизвестно куда красноармейцы — в панике, но в особой панике, сосредоточенной на трезвом расчете найти место понадежнее, чтоб остановиться, задержаться, отдышаться и там уж решать: бросать оружие или набивать магазин патронами? Бежали и поодиночке, и группками, да и бежали без прыти, хотя и оглядываясь. Мы же втроем шли степенно, мы уже были у своих, иные заботы висели над нами, мы несли с собою нечто важное, нас ожидали. Да и разобрались уже, что происходит вокруг, и догадались: до той линии обороны, где твердое командование, где есть связь со штабами, осталось всего ничего и можно потерпеть, пройти эти полтора километра и там уж опуститься на землю, прилечь и ждать, когда за нами придет машина.

Неторопливо шли, отмечая лишь раненых, на которых надо указать, когда появятся санитары. Одного, очень тяжелого, выволокли из воронки и положили на виду. Увидели, что уже кто-то из командиров ставит заслон убегаящим, сколачивает боевую дружину. И нам приказал подойти к нему,

а сам — ростом аж выше самого Григория Ивановича, старший лейтенант, от гнева кадык то прятался под гимнастерку, то выталкивался оттуда, глаза дурные, какие бывают у храбрых трусов, пистолет перепрыгивает из руки в руку, успевая касаться козырька фуражки: старший лейтенант как бы почесывал лоб. И голос — визгливый, как у поросенка, и почему-то топтался на месте — от нерешительности и боязни чего-то. Дружина состояла из семи бойцов, обрадованных тем, что кто-то из командиров сейчас возьмет на себя заботу о них и отправит в тыл, потому что — они это знали так же твердо, как и мы, — деревня в километре от нас и та самая, в сторону которой помахивал пистолетом старший лейтенант, деревня эта — уже у немцев и надо быть полным идиотом, чтоб силами полувзвода отбивать ее. Но подошедшее к старшему лейтенанту подкрепление из двух человек сразу придало ему веры в исполнимость любого приказа, пистолет прекратил трепыхаться и направился на деревню, указывая красноармейцам, в какую сторону теперь бежать с криком «ура». Предполагалось, что и мы тоже побежим, и когда этого не произошло, старший лейтенант наставил пистолет на нас, а точнее — на самого слабенького, как ему казалось, на меня. Подмога с интересом наблюдала — с не меньшим, но затаенным интересом рассматривали и мы эту парочку, готовясь к худшему. Подмога была хорошо обученной, в касках, в свеженькой форме, у одного автомат на плече, второй держал его у колена, в руке. И по тому, как держался ППШ, видно было: подкинуть его к бедру и пустить прицельную очередь — этот второй мог, да и первый мне тоже очень не нравился. Он напустился на Григория Ивановича как на дезертира или шпиона, но не совсем уверен был в себе, мешала независимая осанка Калтыгина и его манера держаться. Старший лейтенант же стал развивать тему: почему мы оставили деревню без приказа. Григорий Иванович мог бы отбрехаться, да очень ему не нравилась парочка, готовая на полсекунды раньше нас открыть огонь...

(О, этот сладостный миг нетерпения, когда ожидаешь момента начала. Того мига, с которым ты как бы взлетишь над землей, будто немецкая противопехотная мина, на долю секунды раньше врага, и это опережение вливает в душу неизъяснимое блаженство: ты — лучше их. Выше. Честнее. Добрее!..)

...и Григорий Иванович начал отбрехиваться, пуская словечки, которые нас привели в боевую готовность. В таких вот моментах, когда оружие под руками и только ищется повод, чтоб пустить его в ход, ни глаза, ни уши не могут определить того мгновения, после которого ничего уже не решить: поздно! Первым стреляет тот, кто стреляет первым, остальное —

придумывается в оправдание, если застрелили не того или не тех.

Калтыгину не пришлось оправдательно или успокоительно говорить о пакете, прибинтованном к его животу вместе с гранатой. Мы пошли дальше, задержать нас уже не мог никто, позади — трупы, а выстрелы кто услышит, если там и сям рвутся снаряды. Дотопали до своих — а свои, вот уж не повезет, хуже чужих: принять-то приняли, да стали расспрашивать, что за нами, где немцы, а когда мы сказали, что немцы уже в деревне, — сочли за паникеров, подлежащих расстрелу на месте, и лишь блатные повадки Алеши уняли сверхбдительных. Никто, конечно, следствия не вел по поводу десяти трупов, все списалось на немцев, не могло не списаться, но однако же, однако...

Мучили меня эти десять трупов, я временами пускался вновь в подсчеты, мысленно видел висящий ромбик с цифрами и гадал: эти десять — чьи? Понятно, они не в счет, но для равновесия не сбросить ли десять немцев как бы вне подсчета, исключить их? М-да, дикость, но — на себя брал эту десятку Григорий Иванович, потому что словцо сказал, а кто из нас первым из мига этого вырвался — поди просчитай.

Нет, не теми травами кормил Чех захворавшего недоросля. — Вновь сумасшествие? Ошибка? Преступление?

Нижеописанное событие произошло за неделю до того, как молодуха приволокла нам портфель со злополучной картой. Возвращаясь к своим, мы сделали привал в лесу. Время текло нудно, до ближайшего немецкого гарнизона двадцать четыре километра. Костер разжигай с дымом под самое небо, стреляй потехи ради — никто не подойдет. Алеша сделал на всякий случай обход, я прислушался и встал. Еще на курсах стал я присматриваться к поведению разных птишек, которыми никогда не интересовался, мелких и крупных зверюшек. Война, казалось мне, не могла не затронуть их. Обжитые гнезда пернатых гибли под огнем или ударными волнами артиллерии, барсучьи норы давились многотонными металлическими чудищами, муравьиные кучи вспыхивали с жалобным треском. Лишь мыши-полевки ничего не боялись, воробьи осваивали навоз, весело чирикаая, зато куры чуяли надвигавшуюся смерть. Собаки стали походить на волков оскалом и мгновенными прыжками, но они же безошибочно терлись у ног людей, не помышлявших о шкуре их и мясе. Лес становился информатором, по птицам можно было судить, кто идет, с каким оружием, куда, соблюдает ли меры предосторожности.

Птичка, запевшая неподалеку, беды не сулила. Я упивался мелодией, обрывавшейся почему-то упорно на «си»; я пошел на эту мелодию, задрал голову, ища певунью, — и столкнулся с немцем. Как он сюда попал — полная загадка, появление его было столь неожиданно, что я не удивился, не испугался, и владела мною досада: эх, Алеша, Алеша, где ж глаза и уши твои были?

Мы стояли друг против друга. Он смотрел на меня, я — на него. Немец как немец, много старше меня. Уставший немец, солдат, шнуровая полоска на погоне — кандидат, значит, в ефрейторы, — не поздновато ли, а? Обычная полевая куртка, пилотка, медалька за московскую кампанию — нерадивый солдат, значит, в армии по крайней мере с октября 1941-го, а даже креста нет, всего лишь значок за штурмовые атаки. Зато — везучий: не штабной, пороха нанюхался вдоволь, но — руки-ноги целы и подвижны, отмахал полверсты от дороги к лесу, нашивки за ранения отсутствуют. А ведь все его соратники либо под березовым крестом, либо инвалидами дома, либо в плену. Автомат на груди, универсальный котелок, легкая

пехотная лопатка в чехле и весь прочий набор, нужный солдату при переброске из одного окопа в другой. Одеяло сверху приторочено, а для удобства он автомат, мой любимый «шмайссер» модели 38, на грудь перекинул. Гладкий немец, выбрит чисто, будто коменданту гарнизона идет представляться.

Это он свистел, а не птичка. Мастер сверххудожественного свиста, а я — без «шмайссера». А немец своим «шмайссером» прошил бы меня за секунду, если бы захотел. Но в правой руке — каска с подшлемным амортизатором, что совсем уж диковинно: это при пилотке-то — зачем она? И чувствовалось: ранец набит вкусеньким. Сумка с гранатами, заставлявшая спрашивать: куда ж ты, теленок безмозглый, направляешься? Краешек фляжки виднелся, вода там или спирт — все одно, пригодится. Шнурованные ботинки хороши, но размер не тот, разве что на обмен, на Калтыгина они точно не налезут. Обшитые кожей гетры ни к селу ни к городу, никому не подойдут.

Я смотрел, смотрел на медаль, а затем досадливо повел плечом, показывая солдату, что надо бы, братишка, автомат-то сбросить на землю. Он выронил каску, пригнулся, помогая рукам, и автомат аккуратно опустил на траву. Затем я показал олуху, что не мешало бы и от ремня-патронташа освободиться. И эта просьба была им удовлетворена. С фляжкой он тоже расстался. Штык я ему оставил, гранаты тоже: какой же солдат без оружия. Потребовал документы — жестом, я вообще ни одного слова не произнес. Конрад-Вильгельм Бауска, службу начинал в 31-м полку, солдат (ого!), а получает 60 марок в декаду (генералу Власову немцы давали 70 марок в месяц). Ранец набит подношениями, от которых млеют бабы. Пальцем указал немцу на дорогу: иди. Он еще не повернулся, а я передумал, ткнул на автомат и ранец: забирай, мол. Он наклонился, поднял и попятился. Тут только я на себя сам глянул, его глазами: советская гимнастерка довоенного образца, справные сапоги, головного убора нет, немые приказания могут пониматься так: начнешь шуметь, то есть стрелять, моих ребят разбудишь. Ножа он не видел (его и не было), но место, куда ему вонзиться, уже определено было и мною, и им самим: чуть ниже левой скулы.

Ну а как он сюда попал — строй догадки. Самая верная — отпуск. Но перед родным германским домом захотелось побывать ему у любимой русской женщины, был, видимо, на постое у нее когда-то. Попутный грузовик добросил его до леса, а дальше — напрямик: спешил, как на первое свидание. Любовь.

Две монашки, благочестие и распутство. — Леонид Филатов не позволяет Калтыгину пропитаться религиозным дурманом

Однажды утром собрались без спеха, доехали до Смоленска во всем офицерском, взобрались на «студер» и укатили — на аэродром, на «дуглас». Киев уже взяли, с двумя пересадками сели на какой-то безымянной площадке 4-го Украинского фронта, где нас поджидал начальник СМЕРШа, который не знал ни слова из того, что приказано было нам, но потому и решил нас особо и почетно содержать — в домике на окраине крохотного городишка. Местность Алеше знакомая, не так далеко отсюда он проживал или пытался проживать, пока его не забрали в армию за два дня до войны. Связь с нами держали через танковый батальон, буянивший почти рядом. Предупредили: удаляться от дома только по одному, ну вдвоем, но кто-то обязательно должен быть на месте, потому что в любой момент прибегут из штаба батальона, позовут к телефону. Готовилось наступление, рациям выходить в эфир запретили, вот мы и куковали, по очереди сматываясь в город или на рынок.

Танки — под навесами или покрыты сетками: чтоб удержать сотню человек в повиновении, офицеры устраивали строевые занятия. Кто в этом батальоне разложил танкистов — неизвестно, но служили в нем неисправимые бабники, все разговоры сводились к женщинам, мне один сержант показывал на наклонной плоскости передней брони Т-34 овальное пятно и утверждал, что оно — от сотен баб, которых употребляли именно на этом месте экипажи доблестного танка. Очень нехороший батальон, Калтыгин, всегда склонный побалакать насчет «этого самого», и тот как-то заорал на приставшего к нему страдальца. Однажды пошел я на базар, любопытно было рассматривать продаваемые с рук вещи: тюки нижнего белья, нашего и немецкого, польские конфедератки, румынские кавалерийские брюки, каски, специально чуть помятые, чтоб не быть конфискованными как военное имущество, сапоги, парами нанизанные на веревку, как рыбыны через жабры (при копчении), сыр, масло, сало, мед. Быт прифронтовой полосы, уже сомкнувшейся с тылом, — все то, что должно быть на передовой или на армейских складах.

Молоденьких женщин почти нет, продававшие бабы же смотрели на обходивших торговые ряды мужчин так, словно винили их в чем-то, и были того возраста, который позволял им глядеть на меня как на мальчика,

пришедшего в баню с матерью. (Сколько уже ни воевал я, скольких людей ни встречал, обогащаясь ими и взрослея от них, а все оставался нетленно юным. И, прочитав «Портрет Дориана Грея», — ни слову не поверил. Я мужал. Во мне уже было 57 килограммов веса, ростом я соответствовал этому измерению.) Я не засматривался на молоденьких, меня одолевали мысли о неистребимости жизни, потому что базар ломился изобилием еды и вещей, то есть всего того, чего не должно было быть, но тем не менее из каких-то таинственных пор просачивалось.

Стоило на полсотни метров отойти от рынка, как сразу же на глаза попались две женщины, настолько разные и такие притягательные, что не один я остановился. Этими женщинами были: Констанция Бонасье и леди Винтер, Миледи то есть.

Одеты они были во все длинное и серое, странно одетые, стояли рядышком, и одна из них разговаривала с танкистом. Одежда и платочки, повязанные почти по-медсестрински, неотличимость одной женщины от другой вселяли уверенность в том, что обе — из монастыря, который где-то за горой, как я слышал, километрах в пяти от города. Монашка говорила на русско-польско-украинской смеси, вставляя для понятливости немецкие словечки, и танкист, оторопело ее слушавший, время от времени давал протяжным хохлацким «гы!» понять, что смысл говоримого доходит до него в достаточном для разумения объеме. Речь же шла о божественном, о благодати, о каре за непослушание, о вере и безверии, о деснице Божьей и грехах человеческих, под которыми понимался танковый батальон, осуждаемый за учиненные им злодеяния, выраженные в краже кур, гусей и поросят. Танкиста, человека с явно нетвердой душой, начинала сокрушать тяжесть предъявляемых обвинений, его «гы!» становилось все более и более покорным, он начинал сдаваться, монашка же сулила отпущение грехов, если танкист покается с возвратом украденного...

Это-то и показалось мне сущим обманом: ни кур, ни гусей, ни поросят не воротишь ведь, и, намереваясь уже отходить, я глянул на вторую монашку и поразился страху, на нее напущенному говорливой подругой по вере. Она, вторая эта монашка, закатила глаза и дышала так болезненно неровно, словно легким ее не доставало воздуха. Рот ее приоткрылся, а бедра совершали странные колебания, движения вперед и назад, вправо и влево, будто кто-то прижигал ей сзади ягодицы, и монашка то стыдливо прикрывала ладошками свои задние полусферы, обожженные жаром, то воздевала руки к небу, как бы подавая сигналы кому-то, и я, поначалу замороженный видением болезненно-сладкого страдания, понял все же: монашка силою самовнушения пребывала в предконечной стадии полового

акта, заодно его изображая, и руки ее убыстряли маятниковые движения мужского тела, призывая таз его все плотнее и плотнее вдавливаясь в ее лоно. Глядя на монашку эту, я начинал испытывать то же, что и она, — такова была власть желания, внезапно поднявшегося во мне. И мне стало стыдно, я стал противен самому себе, желание спало, меня отвращала женщина. Да, Женщина, потому что обе монашки как бы составляли образ Женщины; монашки, подумалось, — это же тактическая пара, нацеленная на овладение мужчинами, ведущая и ведомая, роли в этой паре распределяются по степеням выразительности абсолютных противоположностей, и чем более агрессивна одна, тем более податлива и нежна другая, вместе образуя «женщину», единое существо, два сообщающихся сосуда.

Как только монашки поняли, что я разгадал их игру, они мгновенно преобразились, и та, что корчила из себя наискромнейшую и богобоязненную, развязно, более того — нагло предложила мне (и танкисту заодно) прибыть к ним сегодня вечером в гости, в монастырь, мать настоятельница устраивает прием в честь доблестных воинов-освободителей. Нагловатенькую монашку поддержала та, что только что дистанционно совокуплялась со мною. Покрывшись краскою стыда, она смиренно промолвила, что Бог в своей извечной милости не оставит воинов. «Гы!» — заявил танкист, полностью соглашаясь, и я согласился, волнуемый мыслями о религии. На прощание монашки по-мирски протянули нам руки: Марыся и Христина, обе причем чтили земные чины, потому что приглашение первым получил я, на плечах которого были погоны офицера, танкист же ходил в сержантах.

Впечатление от встречи было таким резким и полным, что по пути к дому и Алеше я уяснил себе, что такое вера, религия и Бог, с какой буквы его ни пиши. Наслаждение от мужчины и поношение его — вот что такое женщина, а грех и покаяние — общая доля всех живущих, которые в соизмерениях того и другого видят Бога.

Нечего делать мне в монастыре — так было решено, Алеша же бурно возрадовался приглашению. Один из его предков, вспомнил я, имел какие-то дела с церквями и даже написал труд о монашестве, вызвавший свирепую критику членов Синода. До шести вечера, а к такому часу ожидал воинов монастырь, не так уж много, гимнастерочки погладить бы, надо где-то найти еще машину или мотоцикл, не пешком же добираться. В разгар приготовлений явился Григорий Иванович, подозрительно оглядел нас: «Куда собираетесь, малявки?» Ответил Алеша: приглашены на свадьбу, жизнь ростком пробивается через асфальт войны.

— Это вы мамочкам рассказывайте!

Он покрутился у зеркала, полез в печь за горячей водой и не нашел ее, конечно. Тем не менее побрился, молча, чтоб не нарываться на проклятия Алеши: втроем мы не имели права покидать дом, кто-то обязан был ждать гонца из батальона. А кто — спрашивать сегодня не надо, Григорий Иванович наполнил ладошку одеколоном, растер им лицо.

— Сидеть и ждать! Я — в штабе полка! На совещании!

Приехавший за ним мотоцикл покатыл в гору, к монастырю. Получаса не прошло, как из батальона примчался замасленный солдат: «Кто тут Калтыгин?» Вместо командира пошли мы, услышали по телефону: немедленно собратся, до двадцати ноль-ноль за нами приедут!

Алеша бурно хохотал. На часах — без пяти шесть, и ни мотоцикла, ни машины не мог дать обруганный мною дежурный по батальону, не хотел и говорить, где проходит совещание. Я побежал к монастырю, в гору, постепенно набирая скорость, и с каждым километром спокойствие начинало входить в меня, как воздух в легкие; эту благодетельную власть физического напряжения я испытывал не раз, но в тот вечер с особенной остротой, и, подбежав к арочному входу монастыря, по запаху чего-то мясного и душистого определил, где собрался штаб полка. Какая-то старуха пыталась остановить меня, даже раскинула руки, но я вошел внутрь трапезной и смиренно замер.

За длинным узким столом сидели при свечах пятнадцать офицеров. Во главе же стола восседала мать настоятельница, женщина вовсе не пожилого возраста, как я предполагал, и негромко причитала, то есть заунывно произносила какие-то ритмические фразы, видимо, молитвы. На кумачовой скатерти — оплетенные бутылки с красным вином и настоящие бутылки шампанского, выражение «Стол ломился от яств» годилось вполне: жареные куры и гуси, кабаний, судя по размерам, бок, еще что-то, источавшее дух мясовитый и пряный, из фруктов — яблоки и груши. Пятнадцать офицеров — это не только штабы батальона и полка, тут и из дивизии кое-кто прикатил. Мест за столом явно не хватало, но, как говорится, в тесноте, да не в обиде, и в согласии с этой поговоркой люди за столом все-таки уместались, гостеприимные монашки уступили скамьи и стулья воинам-освободителям, а сами устроились на их коленях, что, конечно, было неудобно, чем иным можно объяснить то, что, пока я шептал Калтыгину о приказе, поднялись две или три парочки и куда-то пошли разминать затекшие мышцы. Остальные монашки продолжали благоговейно выслушивать речитатив матери настоятельницы, закинув при этом руки на погоны. Колыхавшиеся язычки свечей придавали женским

лицам какую-то странную молоджавость и в то же время — мертвенность.

Офицеры приняли меня за опоздавшего, начали было тесниться, но одна пара решила уступить мне место, почувствовав себя совсем неудобно, встала и пошла куда-то освежаться, наверное, потому что изнывавшая от жары и духоты монашка стала на ходу стягивать с себя что-то похожее на узкий балахон.

На коленки Калтыгину взгромоздилась объемистая монашка, она бросила на меня взгляд, призывающий к молитве, которой не суждено было произвестись, потому что время было уже 19.40. Я покинул — вслед за разгневанным Калтыгиным («Если обманул — пристрелю!») — трапезную, где происходило нечто непонятное. На совещание не похоже, молитвенное собрание тоже исключалось, на обычную пьянку тоже не походило. Правда, мне так редко приходилось участвовать в них, что могу ошибиться. Новый, 1943 год встречал я в госпитале, в коридоре поставили столы, пили спирт, но медсестры на колени не забирались, да и, учтите, было много раненых с травмами нижних конечностей и голеностопных суставов.

Бежать пять километров даже под гору Григорий Иванович отказался. Мы позаимствовали мотоцикл и умчались, появились как раз вовремя, прикатил бронетранспортер за нами, Алеша уже собрал то, что называл «вещичками», и мы поехали к штабу фронта, оттуда на аэродром, сбросили нас на юге генерал-губернаторства, за неделю мы все сделали, получив затем по ордену.

(Уже в штабе 4-го Украинского узнали мы, что все офицеры, которых потчевали монашки в монастыре, будто бы заразились триппером и что танкисты в злобе, с фронта отведенные, послали три танка — расстрелять из пушек монастырь за нанесенный армии ущерб. Алеша припадочно хохотал, Калтыгин всего-то пожал плечами, лишь я отказывался верить, ибо видел и знал: танкисты, потеряв в жестоком бою верных товарищей, в отместку часто стреляли по первому попавшемуся строению...)

От немецкой пули не уйдешь! — Орел, взметающий Ленечку к мировой славе, или Старик Державин нас заметил и в гроб...

Четыре месяца спустя, обленившись и обнаглев, мы повторили классическую ошибку раннего Калтыгина: устроили ночлег под крышей стоявшего на отшибе сарайчика. Всласть выпались, а утром оказались в кольце сотни немцев. В каждом бою наступает момент, когда один из противников начинает понимать: пора уходить, потому что товарищ справа не подает признаков жизни, товарищ слева споткнулся и лежит, выстрелы косят всех подряд.

Немцы ушли. Потом ушли мы, окровавленные, перебинтованные, оцарапанные пулями. А до наших — сорок километров.

Под крышей того едва не гибельного для нас сарая я принял мудрое решение. Буду писателем!

В том бою Григорий Иванович разделся до пояса, и я увидел то, на что обращались глаза мои сотни раз, так и не поняв великого художественного произведения на растатуированной груди его, — орла, умыкающего женщину. Алеша возился с правым бедром Калтыгина, я уже перевязал ему правую руку и отошел в свой сектор, оттуда любясь бесподобной картиной на груди Григория Ивановича.

«Кантулию» я не видел уже год. Без источника музыки я стал выискивать ее в себе, она мыча колыхалась во мне стихотворными строками, во мне набухало стремление выразиться словами, я задумывался об устройстве линзы в механизме слагателя слов, линзы, в которой собираются, группируясь, впечатления и выходят из нее как-то особо скомпонованными партиями, картинами, образами. Как создать в себе такую линзу? Как фокусировать ее? Почему, кстати, первый создатель этой вот композиции «Орел и Женщина» не заставил хищника вцепиться когтями в спину добычи? Ведь Женщина, без сомнения, припадала, защищаясь, к земле, пряча в ней лицо, инстинктивно подставляя спину. Почему? Да потому, что интуиция художника верно предположила самую выгодную для восприятия неправдоподобность, которая более выпукло и укрупненно-обобщающе выразила идею, доходящую до зрителя ударно, всплеском эмоций. Орлу надо было схватить Женщину так, чтоб не оставалось сомнений: да, это женщина, это ее полные свисающие груди, это ее лицо, обнажать ноги не следовало, пожалуй, это уже перебор.

Женщина, предмет поклонения и почитания, в когтях безжалостного хищника — это тоже впечатляло. Дуги крыльев, округлости некоторых деталей тела птицы, фигура женщины, провисшей, безвольной, страдающей, — все вместе составляло гармонический набор, находилось в, так сказать, эмоционально-геометрическом соответствии. Законченность этого шедевра выражалась, кроме прочего, в некоторой незавершенности, воображению давалась возможность сочинить предысторию то ли похищения, то ли еще чего-то мелодраматического, пробуждалось желание обнажить меч, натянуть лук, но спасти Женщину.

Миллионы орлов, уносящих желанную добычу, отштампованы были на коже миллионов мужчин, копии уже не будоражили воображение, однако следующий шаг — к еще большей абстракции — сделан не был, препятствовало многое: фактура, престижно-символический характер всех европейских татуировок...

Заглядевшись, я едва не прозевал трех автоматчиков, снял их, так и не понявших, что судьба свела их с Великим Диверсантом. Зато я понял, что во мне родился Великий Писатель.

Вилли, но не Бредель. — Ватерклозет, с которого начнется новая Великая Германия. — Григорий Иванович

Нас готовили — к чему-то такому важному, что отбросили все причуды конспирации. Дом в недосоженной деревне, пищу готовили сами, ни одного инструктора, по утрам я наслаждался бегом.

Без настоящего немца нас за линию фронта не выбросят — об этом мы догадались. Немца ждали.

Наконец его привезли, он зычно поприветствовал (по-русски):

— Здорово, большевистские прихвостни и жидовские комиссары!..

Мы уже привыкли к провокациям разных инструкторов, которые в понятных целях честили-костили советскую власть, чтоб разозлить нас и вообще посмотреть, как мы реагируем. Поэтому очень вяло ответствовали человеку, который назвал нас еще и «бандитствующими ордынцами», считая, видимо, ордынцами тех, кто служил в татарской Золотой Орде...

К обеду, вспоминая, доставили. «На десерт!» — так он выразился. Гимнастерка без погон, шаровары, кирзачи. Что немец — можно было не спрашивать, в этом человеке было не определимое никакими словесными портретами свойство, знакомство его со всеми столицами Европы и умение пользоваться вещами, о назначении которых не ведал даже Алеша, четыре года живший в Берлине (о чем знал только я). Смотрел этот немец на нас так, будто мы сейчас начнем стрелять поверх его головы, по-русски говорил правильно, с акцентом, разумеется. Ко всему был готов, удивить его было нечем, что, конечно, Григорий Иванович оценил, назвав немца «фрицем». А тот мотнул коротко головой, уточняя: «Вилли... Вильгельм. Да, кстати, военнопленный, не коммунист, понятно? Повторяю: Вилли, но не Бредель». Достал из сапога завернутую в белую тряпицу ложку, похлебал ею щи из котелка, туда же смахнув кашу с мясом. Ел бесшумно, нас не замечая. Вымыл котелок, ложку, руки. Затем попросил лопату и вырыл как бы индивидуальную ячейку, предварительно узнав, где отхожее место. То есть личную уборную себе, рядом с общим, коллективным сортиром: немец не желал даже в кругу радиусом двадцать метров соседствовать с нашими фекалиями. Соорудил навес над траншейкой, громко сказав: «Только для немцев». На что Григорий Иванович отнюдь не миролюбиво спросил: «Тебе что — морду набить?» Вилли сокрушенно, дивясь на непонятливость, покачал головой:

— Немцы и русские — великие народы с общностью духа. Но последнее не означает, что экскременты обеих наций должны лежать в одной куче.

Раскрыл томик Гауптмана, я подсел, заговорили. Мелькнуло знакомое мне по беседам с Богатыревым слово «импрессионизм», пошла речь о немецкой культуре, Вилли не очень охотно отвечал, чуя, видимо, какой-то подвох, и наконец произнес:

— За что я вас, русских, люблю, так за то, что гнилую картошку из грязного чугунка вы берете позолоченной вилкой... Забыл вам всем сказать, что по приказу руководства вы обязаны говорить со мной только по-немецки.

На такие приказы Григорий Иванович с высокой колокольни плевал, говорить по-немецки отказался (он всегда за линией фронта играл роль дуrolома полица).

Калтыгину немец не понравился. Немцы, уверял он нас однажды, сволочи от природы, спят и видят каждого русского на виселице. (Однажды я заговорил о немецком пролетариате и мировой революции, так Григорий Иванович обиделся: за кого ты меня принимаешь, хлопец, я тебе не Любарка, я не стукну, вот тебе мой сказ о мировой революции, она камнем висит на шее трудящегося народа, эта мировая революция, изволь всех обездоленных обеспечить счастьем, они же им, этим счастьем, подавятся.) Кое-как объясняться с Вилли он мог. Но из высоких соображений общался с ним только через Алешу. В волнении, вовсе не показном, поднялся, когда узнал, что Вилли ни разу не прыгал с парашютом. А тот высвистел в ответ что-то бравурное.

— Скажи ему, — сказал он Алеше, — что меня три раза расстреливали, причем свои — дважды. Так что прыгну.

— А свои — это кто?

— Скажи ему: сам еще не знаю.

Алеша подсел к Вилли, я тоже пристроился, повели речь о Берлине, который Вилли знал хорошо. Сам он из Гамбурга, но — Потсдамское училище и служба в столице. Ляйпцигерштрассе? Как же, приходилось бывать и там. Семья? Еще бы, полный комплект: жена, дочь, сын, дети еще маленькие, сыну одиннадцатый год пошел, дочери и того меньше. Сдался в плен сознательно, не каким-то там контуженым, а все взвесив, у него свои счета с Гитлером.

Сутки прошли — и Калтыгин, расспросив Алешу, вдруг изменил себе, признал в немце нечто, достойное уважения и доверия, посматривал на Вилли так, словно тот изречет сейчас нечто повелительное, важное, ценное,

полезное. В ответ на мои невысказанные вопросы друг Алеша сплюнул поблатному и выразился кратко: наш Гришка хозяина почуял в немце, что не раз бывало в истории России, но что никак не исключает варианта, при котором русский человек Гриша пристрелит или придушит обожаемого немца.

На три часа приехал Чех. Походкою водолаза, бредущего по илистому дну океана, обошел сад. Поднятием мизинца дал понять, что ничего не знает о деталях задания. Тем же мизинцем подозвал меня в саду к себе. Мы стали друг против друга, вытянулись на носках, чтоб центрироваться. Зеркальным отображением Чеха смотрел я на него, он — на меня, мы корректировали себя собою же и наполнялись силой, я чувствовал, в какие узлы сплетаются какие мышцы, как шевелятся они, принуждаемые к расплетению мыслями о сплетении.

Уехал он, так и не подойдя к немцу.

А с Вилли мы подружились. Вместе ходили по лесу, он много рассказывал. О конце войны выразился так:

— Завершается цикл. Началась война летом — и кончится летом. В июне следующего года. Чем думаешь заняться после демобилизации?

— Я буду писателем! — твердо ответил я. — Знаменитым писателем.

И благодарно глянул на Григория Ивановича, который подвел меня к этому решению.

Через сутки прибыл полковник, явно грузин, сопровождаемый робким по виду майором, который и рассказал нам, что предстоит; и поскольку Вилли выполнит ответственную часть операции, к нему следует относиться с полным доверием. Грузин полковник смотрел как-то мимо нас, словно хотел, чтоб мы его не запомнили; он и слова даже не промолвил, но раз был выше званием, то он как бы придавал наказам майора больший вес, что ли. Очень он мне не понравился, чем — не знаю. Мы слушали как бы впрок, знали, что за час до вылета будет еще один инструктаж, самый важный, и предполетное дополнение мы присоединим к только что услышанному.

«Додж» прикатил. Двадцать минут до аэродрома, до заката — час еще, времени более чем достаточно. Вилли переоделся во все немецкое, побрился, попрыскался одеколоном. Начал было высвистывать какую-то потсдамских времен мелодию, но Алеша издевательски расхохотался: «Рано пташечка запела...» Григорий Иванович достал заветную фляжку и отхлебнул, подтверждая то, что мы с Алешей уже чуяли: не полетим! Какой-то сбой, что-то где-то случилось, да и никто не сует нос в самолетный ящик, где мы расположились.

Но моторы уже заводились, рваный гул дрожал над аэродромом,

который был для вынужденных посадок летящих с запада самолетов, подбитых или с каплей горючего в баках. Твердого, настоящего авиационного начальства над аэродромом не было, батальона обслуживания тоже, иначе Алеша высмотрел бы какую-нибудь Настенку, удобную по крайней мере для рифмы, смотался бы минут на пятнадцать к ней, как не раз бывало на других летных полях.

Солнце закатилось, а с ним и вылет отменился, попили кофе с бутербродами, Вилли похвалился сигаретами «Юно», для него припасли и «Мемфис» — египетские, наверное. Совсем стемнело. Завалились спать — все, я тоже, но не спалось, неудобно, в самолетном ящике умещалось три человека, не сгонять же Вилли, и я забрал телогрейку, устроился снаружи. К часу ночи наступила полная тишина, ни единого огонька, безветрие, звезды сияли ярко, во мне поднималась «манана», я заглушал ее, чтоб не расслабляться... Не спалось, я шел по полю неизвестно куда, просто шел, была жажда движения. И вбивал в себя образы того, что будет завтра или послезавтра, после приземления — сохранять эти образы надо было в темноте. Потускнели звезды, померцали, как перед загасанием, на них напозла дымка — где-то там, высоко, стало холодать, я повернул обратно, но «манана», вспышкой осветившая меня десять или пятнадцать минут назад, нарушила ориентировку, я направился было к блеснувшему вдали огоньку, но передумал и приблизился к немецкому танку. Он, танк, был целехоньким, лишь правая гусеница расползлась, ничем не примечательный танк, я залез в него, чтобы выдрать мягкое сиденье водителя: быть нам в ящике еще сутки, а там ни стула, ни матраца...

Юнга Хокинс сидит в бочке с яблоками и узнает о планах Сильвера, о тайнах мадридского двора

Так я и заснул там, в танке, хорошо спал, но, конечно, глаза мои и уши продолжали бодрствовать, я разлепил веки и привел себя в боевое состояние, когда уловил шаги двух мужчин, приближавшихся к танку. Шли они со стороны леса, немцами никак не могли быть, но я уже почуял что-то опасное.

Итак, они подошли к танку и сели рядом с ним. Оба курили, и кто они — я разнюхал в буквальном смысле. «Казбек» — это грузин, полковник, второй (ароматнейший трубочный табак) — однажды заезжал к нам, причем Вилли под каким-то предлогом отослали подальше. Тоже грузин, генерал. Он-то как раз и был самым осведомленным в этой парочке. Я сидел затаившись, дыша по методике Чеха — абсолютно беззвучно.

Полковник: А почему ты сегодня не вылетел с первой группой?

Генерал: Я полечу позднее, когда прояснится обстановка...

(Далее — какой-то бессодержательный треп о погоде.)

Полковник: Ты хоть раз при НЕМ демонстрировал свою трубку?

Генерал: Ты меня поражаешь... Нет, конечно. Я в наркомате ее оставлял, когда вызывали к НЕМУ. «Есть!», «Будет исполнено!», «Так точно, товарищ Сталин!». Невозможно предугадать реакцию НАШЕГО ВЕЛИЧАЙШЕГО.

— Непонятно... С такой чуткостью — и проморгать этого Халязина... Кстати, мне кажется, что нас подслушивают...

(Переходят на понятный мне грузинский язык.)

— Проморгал. Это меня тоже поражает... Повод дал сам Халязин, в сороковом. Вызывают его на совещание, по итогам боевой подготовки. Кстати, наши руководители одиноко, в тиши кабинета, обсуждать ничего не могут, им обязательно нужны либо рукоплескания, либо иные знаки одобрения... Потому что по ночам они начинают понимать, какие они выдумщики, в каком искусственном мире существуют. Врут сами себе. Правда для них — яд, они руками и ногами отводят от себя ее. А Халязин этот никаких заметок для себя лично никогда не делал, все — на полях документов, которые тут же, на глазах всех, передавал наркому. И сорвался однажды. Кто-то там бодро доложил о развертывании механизированных корпусов, что ли, о проведенных учениях, которые показали возросшее

мастерство. Но все-то и сам ОН знали преотлично, что никаких учений не могло быть, потому что механиками-водителями укомплектованы корпуса на пять процентов. Два месяца назад бывших трактористов и комбайнеров срочно отослали обратно, в колхозы и совхозы. Все знали, все! Липа! Как и с горючим для танков и самолетов. Где-то на аэродромах чуть ли не по колено разлит бензин, а на большинстве — для полетов не хватает. Сумасшедший дом!

(Генерал раскипятился. Продолжал после небольшой паузы, раскуривал трубку.)

— Ужас какой-то... Собрание макак.

Полковник: А Халязин — что?

Генерал: А Халязин на клочке бумаги написал и передал Тимошенко, где, мол, спросил, механики-водители. А Сталин клочок перехватил, прочитал, протянул Тимошенко, кивнул. И все. Стало понятно, что разоблачены, что все они — психи и страна подводится ими к сумасшествию, если не подвелась...

Полковник: И его цапнули?

Генерал: Как бы не так... Установили слежку, НАШЕМУ ДОРОГОМУ чудилось: не первый это клочок бумажки, где-то что-то лежит, спрятано, некий сводный документик о проделках главврача психбольницы... Все перерыли. А тот втихую, всех обманув, рванул под Минск, оттуда еще западнее, при себе имея по памяти сделанные копии и комментарии. Спрятал где-то. Невинно возвращается в Москву, на охоте, мол, задержался — у него и впрямь отпуск был. Взяли, пятнадцать лет, Дальстрой, но в сорок втором вспомнили, дали документы, возвратился в Москву, отправка на фронт, плен — и до немцев доходит, кто у них кормит вшей. Из лагеря — в тюрьму, содержат хорошо, но смертный приговор они ему вынесли, не знаю, за что и как.

Полковник: Ну и пусть расстреливают!

Генерал: Нет, не понимаешь ты НАШЕГО ДОРОГОГО. Смерть от немецкой пули как бы обеляет Халязина. Только своя низводит его до предателя! Почему и приговор в Москве составлен, и как только Халязина выкрадут у немцев, его немедленно расстреляют наши же, та первая группа, что вылетела под ночь раньше всех. Надо спешить, как бы немцы не сделали то же.

Полковник: Действительно дурдом... Архаровцев этих жалко, троицу эту, тоже ведь под нож пойдут.

Генерал: Сами виноваты. Захотели на курсах выслужиться, напросились на станцию патрулям помогать — и помогли. Халязина они-то

задержали, передали органам, но Москва прикрикнула, и...

Еще пять-шесть минут спасительного для нас разговора. Потом поднялись и ушли. Я, быстроногой газелью домчавшись до самолетного ящика, опередил их, конечно. Они походили вокруг и направились к зданию штаба...

Ничто не поразило меня в беседе двух сподвижников. Алеша прочитал мне полный курс русской истории, от варягов до коллективизации. Я давно понял, что Россия — центр каких-то ураганов, смерчей, штормов, что в тихую солнечную погоду русский человек жить не может. Он, обеспокоенный, выходит из избы, ладонь его, навозом и самогоном пропахшая, козырьком приставляется к высокому мыслительному лбу, а глаза шарят по горизонту в поисках хоть крохотной тучки. Россию постоянно сотрясают стихии, воздушные массы волнами бушуют у ее порога, срывая крыши, взметая людишек. Спасения нет, надо лишь изловчиться и оседлать тучу, на которой можно продержаться какое-то время.

Все было поведано Алеше, а затем Григорию Ивановичу. Тот обо всем догадывался уже третьи сутки, при нем пооткровенничали интенданты, нас в лицо не знавшие.

Такой разговор услышал Григорий Иванович:

— С этими-то — что?

— Похоронки уже заготовлены... С довольствия сними. Но умно. Паек на них отпускают генеральский.

Конец операции «Халязин». — Нет, не писатель он, не писатель! — Промелькнула фрейдистская оговорка, удостоверяющая: наш герой не по немецким тылам шастал, а всего-навсего кашеваром был! — Кланы, где ты? «Дыша духами и туманами...»

Городишко, где мы обосновались после выброски, был настолько убог, безрадостен и уныл, что его, пожалуй, проклинали все в генерал-губернаторстве. Тюрьма, правда, внушала уважение — размерами и формой. Вилли держался молодцом, без карабина, правда, не обошлось, но и толчка в спину не понадобилось. Приземлился он нормально, над документами нашими хорошо потрудились в Москве, квартиру мы сняли просторную и приличную, Вилли (в немецкой офицерской форме, разумеется) отправился на разведку, и...

Нет, не получилось из меня писателя, потому что не смогу я бравурно и наигранно-трагедийно («чтоб дыхание захватывало») развернуть повествование о финале дешевой драмы с убийством или похищением Халязина, с уничтожением первой, ранее нас посланной группы и обоих грузин, полковника и генерала, возжелавших присутствовать при казни Халязина, опознанного двумя советскими гражданами, то есть мною и Алешей.

Не сумею, не смогу и не хочется, потому что руке надоело писать неправду, а правда сама по себе никому не нужна. Когда-то Лев Толстой испытывал мучения, потому что никак не мог описать полно, неприкрашенно и честно один день человека. Я его понимаю. Начни писать — и обнаружится, что весь прожитый человеком день состоит из абсолютно бессодержательных мыслей и поступков. Надо что-то отбрасывать, что-то выпячивать, где-то поливать красками полотно, где-то вычищать его. Заострять сюжет — иначе человеческое восприятие не отзовется.

Ведь все написанное на предыдущих страницах — сущее вранье, и кое у кого может возникнуть справедливое подозрение: «Диверсант» писан бывшим сыном полка, кашеваром, который чего только не наслушался. (Кстати, некоторые фронтовые разведчики к походной кухне подходили, увешав себя — из суеверия, что ли, — дырявыми от пуль котелками и касками...) И ко всему написанному и прочитанному надо относиться именно так: кашевар, на старости лет взявшийся за перо. Все было не так,

как написано, если вообще было. Смерть давно стала для нас неокончательной, мы не ее боялись, испытывая страх и страхи, а каких-то сиюминутных бед. Мы постоянно ошибались, буквально попадая в лужу, то есть либо в болото, либо под невесть откуда взявшихся немцев, которые, впрочем, пуще всего боялись нас. В том сидении у шлагбаума, где мы поджидали штабной автобус с секретным портфелем, — да разве поблескивает хоть крупца правды в главе о кровопролитном сражении у речки Мелястой? Меня ведь не два хлопчика из Вюрцбурга раздражали, не предстоящий бой, а комары да муравьи особой породы, красно-ржавые, кусачие, они, правда, выше десяти метров по стволу сосны не поднимались, чем я пользовался и спал на ветке, как доисторический предок; всю ненависть к комарам и муравьям вложил я в предстоящую гибель хлопчиков...

(Представляю себе визгливый смех редакций, куда какой-нибудь фронтовой повар принесет свои мемуары. «Воспоминания кашевара» — хорошо звучит! Десяток таких книг составили бы настоящую историю войны, потому что самоистребление людей невозможно без еды.)

И еще, и еще...

И — Кланы, святая и непорочная. О ней — особо.

Была она санитаркой в госпитале, мы полюбили друг друга мгновенно и, взявшись за руки, по узкой лестнице спустились в подвал, где Кланы в котлах выпаривала жесткие и провонявшие от запекшейся крови бинты, не раз уже побывавшие на перевязках, — в стране ничего не было в достатке. Там же, в подвале, мы, ни слова не произнося, разделись и занялись, как принято сейчас говорить, любовью, причем на время этой любви на мешках с кровавыми бинтами я не зажимал нос, не воротил его. Однако вскоре, безмерно любя Кланю, я возненавидел подвал с котлами, договорился с одной хозяйюшкой, нам постелили в чистом доме, я привел туда на ночь мою любимую, и оказалось, что она не может даже ноженьки раздвинуть: подвал был ей нужен, мешки вонючие, душа ее женская тянулась к густо-красным бинтам с исколотых рук и ног, с располосованных туловищ, и только при спуске в подвал она — с каждой новой ступенькой — начинала дышать все глубже и радостнее... Жарко было здесь, в булькающих котлах выпаривались и кипятились бурые кальсоны и нательные рубахи, в углу — груда мешков, набитых только что принесенными бинтами, — и Кланы, все более возбуждаясь, валила меня на мешки...

Вот какая война была. И, вспоминая ее, я шепчу:

— Кланы, где ты?

Самоликвидация, или Спасайся, кто как может. — Мы — дезертиры, спасенные Кругловым

Вся эта операция под неблагозвучным названием «Халязин» завершилась бесславным и счастливым для нас (так по крайней мере казалось) финалом. Вилли навестил старого друга по училищу, ныне начальника гарнизона, оба осторожно навели справки. Да, Халязин был у немцев, но где он сейчас — неизвестно. Документы, то есть тайны Кремля, либо в Берлине, либо неизвестно где.

Но — внимание! — со слов сладкоречивого Вилли оба грузина дали Москве текст примерно такого содержания: в доставленном человеке опознавателями признан Халязин, место хранения документов уточнено, выемка их состоится завтра, свидетели уничтожены.

И молчок на бесконечные годы, ибо все, отряженные за Халязиным, в земле сырой. Такую благодатную весть внушили мы начальству.

А потом благополучно покинули унылый городишко этот, скитались по генерал-губернаторству, нигде не задерживаясь. Калтыгин мрачнел с каждым днем. Наконец Вилли произнес:

— Ну, пора расставаться. Мне — в родную страну. А вам я не рекомендую возвращаться в СССР.

Часом раньше он отвел меня в сторону:

— Война кончится через полгода, так я угадываю. Уверен, что ты останешься в живых. Запомни два моих адреса, берлинский и кёльнский. Это раз.

Я запомнил.

— Во-вторых, где встретимся после войны? Какое место обязательно не будет разрушено? Мне понадобится три года, чтоб без опаски приехать в Москву. Предлагаю дату: 18 мая 1948 года. А где? Уверен, народ не перестанет любить футбол. Стадион «Динамо» даже Сталин не осмелится снести под строительство собственного памятника. А в самом стадионе есть — и я там бывал разок — ресторан. Понял?.. Итак, 18 мая 1948 года. Или двумя сутками позже. Я не смогу прибыть — так пришлю верного человека. В-третьих, забудем о том, что... Сам понимаешь.

Мы-то понимали. Вилли прикарманил немалые деньги в стойкой валюте, подсунув потсдамскому другу фальшивые фунты, а я узнал, где спрятан архив безвестно сгинувшего Халязина, и перепрятал все его

бумаги.

Еще два или три месяца болтались мы в немецком тылу, пока неожиданно для себя оказались в прифронтовой полосе наступающих советских войск. Что ждет нас — знали доподлинно, точнее — догадывались с почти стопроцентной уверенностью. Правда, мы значились в нашей армии под дюжиной фамилий, причем самых распространенных, но в том-то и дело, что снабдили нас и самыми настоящими что ни на есть удостоверениями личности: капитан Калтыгин, старшие лейтенанты Бобриков и Филатов.

Пишу со стыдом, но от правды не уйти: мы оказались дезертирами. Наступила, к счастью, пора везения, удалось найти Круглова.

Он и включил нас в свою команду, поручив охранять имение — почти на границе с Восточной Пруссией.

Деревня, где скучал Евгений... — Как отомстить Берлину? — Ляйпцигерштрассе все ближе и ближе... — Жестокая расправа, трепещи, Германия!

Трехэтажный особняк, громадный сад (пора цветения вишен еще не настала), все бы хорошо, но — запах: уже до нас побывавшие в хоромах артиллеристы невзлюбили почему-то второй этаж, весь занятый библиотекой, и повадились со зла ходить туда по большой нужде. Возможно, они боялись, так я поначалу думал, ночью покидать дом и идти в сортир на дворе. Вскоре, однако, обнаружилось, что сортир как раз на том же, втором, этаже. Или они желудком маялись?

Прислуга давно разбежалась. Под конвоем привели из деревни несколько ахающих крестьянок, я заставил их выгрести экскременты артиллеристов, которые заодно умудрились часть библиотеки сжечь. Что делать с домом на Ляйпцигерштрассе — было нам известно, первым пунктом программы вписано было поголовное изнасилование, и поскольку это меня несколько шокировало, Алеша нашел мудрые сочинения, которые оправдывали газон перед домом и полуголых женщин, готовых отдаться; они лежат на траве, задрав ноги, и хором исполняют «Хорст Вессель» в ожидании своей очереди. Все первоисточники свидетельствовали: «Победителю принадлежит трофей!», повелось это с Древней Греции. Законное солдатское право насиловать культивировалось в Риме, в Столетней войне, при королях Эдуардах и Георге. Веселое оживление Алеши вызвали относящиеся к 1917 году строчки Арнольда Тойнби: «От Льежа до Лувэна немцы прорезали коридор террора. Дома были сожжены дотла, деревни разграблены, гражданское население заколото штыками, женщины изнасилованы».

— Так и надо! Так и будет! Коллективное сознательно-бессознательное Я!

Теперь, когда можно было в библиотеке не затыкать нос, я нашел и прочитал не попавшее в школьные программы сочинение о молодом Вертере, что возбудило много интересных мыслей. Разве не сближены любовь и смерть? Разве тот самый половой акт, повелеваемый неземными силами, не есть подобие смерти?

Неспроста он для меня при первом же применении подобен был падению вниз, без парашюта. В той же библиотеке я нашел более точное

подтверждение этой теории. Некий ученый (фамилию забыл) подвел итог многовековых наблюдений за некоторыми существами и установил: они погибают после того, как дали жизнь потомству. А то, что мужчина и женщина после полового акта все-таки продолжают жить, так это подлая проделка Природы. Но — Гёте. Я ведь напоролся на фолиант, посвященный ему, и узнал, к великому удивлению, о существовании города Вецлара на Лане, о приезде туда сто семьдесят три года назад молодого Иоганна Вольфганга, лиценциата права, падкого на женщин и склонного преувеличивать их достоинства. Здесь он познакомился с Шарлоттой Буфф и Иоганном Кристианом Кёстнером, который отличался не падкостью, а добропорядочностью. Мутный роман с Шарлоттой, мельтешение жениха и нравы города вылились в написание произведения, известного как «Страдания молодого Вертера».

Примерно так повествовал фолиант. А ведь я ранее думал, что «страдания молодого Вертера» — это что-то вроде немецкой прибаутки.

Хорошо жилось, дважды приезжал Круглов, вносил спокойствие в душу чем-то страдающего Калтыгина. Рояль был, аккордеон, почему-то не уворованный. Я музицировал, вместе с Алешей строя планы мести городу Берлину, кольцо вокруг которого уже сомкнулось. Два фронта, 4-й Белорусский и 1-й Украинский, пробивали нам с Алешей дорогу на Ляйпцигерштрассе.

Чем ближе становился момент краха Великой Германии, тем в большую неразбериху впадали штабы победителей. По телефону никого не найти, по дорогам не проехать, везде указатели — на Берлин! Однако куда какая дорога идет — ни словечка. Бомбить вроде бы некого, а в небе — самолетов рой. В восточную часть Германии хлынули несметные орды. От скрежета танков ломило голову. Имение мы покинули, передав его кругловским ребятам. Мы стали вольными стрелками, птицами без гнезда. Кругом свои, русские, родная армия, а нам казалось: мы лишние, бесприютные. Калтыгин к тому же — это было для нас удивительно — постарел, голова его от темени к затылку поседела, чуб не казался уже лихим, брови стали резко выделяться кустистостью и шириною, щеки впали, лицо осунулось, дух, конечно, был сломлен. Калтыгин без баб вообще впадал в уныние, и когда мелькнул в потоке машин «форд» со знакомой буфетчицей, торопливо простился с нами, что-то крикнув издали, и был таков. Все возвращались на родину, и не с пустыми руками, были и такие, что катили на легковушках, многие толкали перед собою тележки с приобретенным скарбом. (Григорий Иванович сплюнул бы: «Кулачье — оно и есть кулачье! Нет бы скорей за мирный труд...»)

Алеша приходил во все большее возбуждение: Ляйпцигерштрассе близилась. Мы отобрали замызганный драндулет у вдребезги веселых и пьяных солдат, в разбитом немецком штабном автобусе нашли приемник и не слезали с Москвы, в Берлин решили въезжать со стороны Потсдама, местность была Алеше хорошо знакомой, ночь провели на оставленной в панике вилле близ Ванзее. Такого количества войск свет еще, наверное, не видывал, обленившиеся солдаты ни строем, ни кучками ходить не желали, цеплялись к «студебеккерам», залезали на танки, садились на передки артиллерийских установок. До мира оставалась неделя, может, чуть больше, все ждали дня и часа победы и боялись почему-то этого дня победы, никому не представлялся мир без войны.

Узнали: над рейхстагом красное знамя, с него начинался отсчет тех трех суток, что даются победителям, то есть мне и Алеше, на разгромление и разграбление города.

Зачитали приказ коменданта Берлина о капитуляции. Наступало время, когда стрелять немцам запрещалось, только мы имели право убивать. В последний раз такую вольность дал войскам Суворов, и повторить подвиги доблестных русских войск доверено было нам, Алеша подробно разъяснил, что надо делать и как. Почти четыре года вели мы волнующую дискуссию на тему «Почему только три дня выделяется на разграбление захваченного города?». Расспрашивали знающих людей, копались в библиотеке имения и пришли к интереснейшим выводам. Три дня — достаточное время, чтобы ворвавшиеся в осажденный город мужчины-завоеватели покрыли всех женщин, создавая новое поколение. Трое суток — минимальный срок для грабежа, ибо до всего спрятанного завоеватели не доберутся, нельзя же одновременно насиловать и шарить по сусекам. За тот же срок озверевшие воины повредить губительно выдающиеся архитектурные сооружения просто не смогут, силенок не хватит, красноармейцы, наконец, не варвары, захваченный город будет ими осваиваться. Некогда (в 1760 году, кажется) на Берлин наложили контрибуцию в полтора миллиона талеров, разрушили арсенал да монетный двор — что ж, по тем временам внушительно.

На последний штурм двинулись ранним утром 2 мая, путеводитель нам не требовался, я уже изучил город по карте, Алеша же помнил его. По пути несколько раз входили в дома, и Алеша звонил по ему известным телефонам, спрашивал то угодливо, то с бранью, как ведут себя русские. Как-то ему ответили: русские ворвались в квартиру и повалились спать, что делать? Не будить, ответил Алеша.

Подобие тишины воцарилось над Берлином. На улицах вповалку лежали солдаты, но не убитые, солдаты чересчур утомились. У вокзала

Фридрихштрассе сделали короткий отдых. Перекусили. За два квартала до поворота на Ляйпцигерштрассе пустили контрольные очереди из автоматов и вскрыли ящик с гранатами.

Наверное, вид бредущих колонн с пленными придавал победителям чувство опустошенности. У некоторых домов выстраивались жители, ожидая приказаний нового начальства; я перехватил автомат, к которому потянулся Алеша, чтоб пустить очередь по мирному населению, которому кое-где уже нашли применение: разбирались руины, кирпичик прикладывался к кирпичику, плавно двигаясь из рук в руки...

У Министерства авиации — Ляйпцигерштрассе, дом 7 — долго стояли и смотрели: до дома 10 — сотня метров. Там пыталась спастись от гестапо совслужащая Бобрикова Анна Тимофеевна, которую с нетерпением ждали на Лубянке тоже; приют нашла было у оперной певицы, но та немедленно позвонила в местное отделение; да и все сорок две квартиры дружно подняли телефонные трубки.

Машина шла рывками, дорогу перегородило дерево, рухнувшее на середину, при попытке преодолеть его мотор заглох. Но и цель была перед глазами, пятиэтажный серый дом, все окна целы, кое-где свисали белые простыни, доказывая, что живые и послушные в доме есть. Подъезд закрыт. «Прикрой на всякий случай», — шепнул Алеша и веером пустил очередь по окнам, потом долбанул по двери сапогом.

Появилась дородная баба, рукава кофты закатаны до локтя, ни автомат, ни граната ее не испугали, что могло привести Алешу в полное бешенство, уж его-то я знал. «Где блокфюрер?!» — заорал он. Мужеподобная баба, похожая на эсэсовца с карикатур Кукрыниксов, не без гордости призналась, что именно она является уполномоченной партии по дому и кварталу. Алеша приказал ей выстроить всех женщин перед подъездом, предстоит экзекуция, всех по очереди изнасилуют.

Блокфюрерин пошла за женщинами, высказав готовность исполнять все приказания и надменно предложив акты насилования перенести под крышу, то есть в квартиры. Но Алеша уперся: именно перед домом, на виду у всех! Ритуал изнасилования, пояснил он, разработан до нас, чуть ли не в Пунических войнах, и еще до отъема нажитого добра и извлечения ценностей из тайников и схронов надо явно, зримо показать всему дому (и городу тоже!), что Берлину уже не восстать из руин, что мужчины будут уведены на сельхозработы, а женщины лягут под русских и, если останутся живыми, понесут в себе семя ликующих освободителей. Трое суток, уверил немку Алеша, будет длиться тотальное изнасилование, трое — ибо это тот срок, который в состоянии выдержать настоящий мужчина, хапая и цапая,

пристреливая мешающих ему обывателей и насилая детей и женщин. «Зачем детей?» — изумилась блокфюрерин. И Алеша — на губах его уже вскипала желтая пена — выкрикнул: «Чтоб привыкали! Ни один немец уже к ним не прикоснется! Только мы!»

Восемь женщин вывела на заклание блокфюрерин, одна из них не успела освободить волосы от каких-то приспособлений для прически. Всем было лет по сорок — сорок пять, что привело Алешу в бешенство:

— Кого ты нам подсунула? Разве они в состоянии дать начало немецко-русской расе? Они рожать не могут! Это же старухи! Они еще при Бисмарке на Александерплац фланировали!

У дома остановилась машина, три офицера спрашивали, что здесь происходит. «Вершу суд народов!» — огрызнулся Алеша, и машина удовлетворенно покатила дальше.

В бесстрашии блокфюрерин не откажешь, она храбро заявила, что иных у нее нет, что молодые все в гитлерюгенде, а кого забрали в фольксштурм, да и вообще вся молодежь либо полегла под гусеницами танков, либо уже в плену. Но сама она согласна стать прародительницей новой расы, если русский предъявит ей партийный билет, то есть докажет, что он — коммунист. Наконец, сказала она, ею окончен юридический факультет, и она уверена, что акт о капитуляции Берлина означает запрет на самовольные действия войск.

Нахальство слетело с нее мгновенно, когда Алеша заорал:

— А где дочери твои? Где Кристель и Лизхен? Час назад они были дома!

Блокфюрерин рухнула на колени, взывая к милости, но дочери уже выпорхнули из подъезда, стеноя и плача, тощие, коротковолосые, лет по шестнадцать каждой, в домашних платьицах. Упали рядом с матерью, приняли ее позу, но безжалостный Алеша нанес последний удар:

— Ключи от седьмой квартиры гони, старая блядь! Там будем мы рассчитывать с национал-социализмом! Или ты не узнаешь меня?

— Узнаю, волчонок, — поднялась блокфюрерин. — Но ключей у меня нет!

Пришла моя очередь убеждать. Пуля срезала сережку дочери по правую руку твердокаменной мамыши, челка второй взвихрилась другой пулей. Мамаша капитулировала и пошла за ключами, Кристель и Лизхен растирали коленки. Восемь женщин ожидали своей участи, образовав очередь на совокупления.

Эта седьмая квартира (на третьем этаже) открылась бы с одного выстрела в замок, но Алеша в Германии стал немножко мещанином,

временами даже ровнял ногти и, прежде чем пристрелить кого-либо, извиняющимся тоном сетовал на тяготы войны. Человек все-таки проживал когда-то в Берлине, частенько бывал в седьмой квартире у оперной дамы, мать его втихую прирабатывала приходящей служанкой и брала его с собой.

— Вот я и вернулся в детство, — сказал виновато Алеша, войдя в квартиру, пахнувшую на нас густым запахом вещей, имевших общее название — Запад.

— А ты проваливай! — скомандовал он блокфюрерин. — Дочерей оставь, ничего с ними не случится, в Германии мы еще никого не насиловали, то есть триппера у нас нет. Ступай! Никого из русских в дом не пускай, будут ломиться — ссылайся на нас... И сирени нам принеси, никогда не видел в Берлине столько сирени.

Начало крушения Берлинской стены. — Пляски народов СССР в квартире № 7. — Блокфюрерин получает драгоценности

Стыд гложет меня, когда вспоминаются эти милые, добрые германские девочки — Кристель и Луиза, — германские, а не немецкие, разница все-таки есть, и немалая. Они пылко полюбили нас, потому что не отделяли будущее Германии от СССР.

Конечно, военное лихолетье лишило их девственности, но они страстно уверяли нас, что все предыдущие мужчины — не случайность, не нравственная оплошность их, а духовное поражение, Сталинград, от которого можно оправиться только в плену, в Сибири, на лоне беспощадной русской тайги и бескрайней русской степи, и тайга вместе со степью — это мы, которым они будут верны до гроба. Не лишне добавить, что обе родили мальчиков, произошло это на исходе января следующего года, о чем я узнал много лет спустя.

Ну, одна из них (называть не буду) стала великой драматической актрисой, от второго брака имеет двух дочерей, которым ни слова не сказано о путешествии по бескрайним степям, о скрипучих снегах сибирской тайги. Сестра же ее обстоятельно и придирчиво выбрала мужа и стала тем, кого в России называют клухой, хотя очень, очень недурно пела, так мне казалось, на всю квартиру, а ведь в Берлинской опере была всего-то, как и сестра, хористкой, после зимы 1943-го увеселительные заведения Геббельс поприжал, но на оперу, кажется, запрет не распространялся, хористок тем не менее мобилизовали на трудовой фронт, в доказательство чего они предъявили свои руки, с порезами и вздутиями. Оперную диву они ненавидели, месть норовили удовлетворять диковинными способами, спать с нами хотели только на кровати, такой широкой, что на ней уместился бы весь кордебалет. Шесть комнат, одна из них библиотечная, рояль, много нот, партитуры опер в сафьяновых переплетах, Гендель, Бах, Малер, восемнадцатый век отложился пылью на некоторых фолиантах, я чихал, это значило, что век двадцатый отзывается на ветхость веков минувших. За несколько дней Кристель и Луиза одолели дурь сентиментальных немочек прошлых столетий и ворвались в 1945 год необузданными в страсти женщинами. Несмотря на угрозы матери, а может быть, и с ее разрешения, они эту квартиру навещали уже не раз, знали, что где прячется; оперная дама, первое меццо-сопрано Германии, убралась из

Берлина еще в феврале, бежала в панике; мы в вещмешках притаранили с собой консервы и бутылки, оказалось же — отнюдь не в потаенных местах квартиры нашлись вина, консервы не американские, а голландские и французские. (Алеша негодовал: «Голодали, мать их... Карточная система! Да тут на третью мировую хватит!») Я еще в Польше приучил организм сопротивляться алкоголю, употреблял, воспитывая вкус, тонкие напитки, Алеша не знал меры ни в чем, тут же приложился к запасам сбежавшей меццо-сопрано, пил херес из горлышка, сестрички следовали его примеру, очень забавно было смотреть на них, тем более что у обеих обнаружилась тяга к обнажению себя, голышом ходили по комнатам, маршируя (сказывалось все-таки военное воспитание, в Союзе немецких девушек приучали не только супы готовить). Ружейные приемы отрабатывали, вместо винтовок — «шмайссеры». Еще одной забавой стали офорты на стенах, хористки принялись колотить их прикладами, что восхитило Алешу: «Нет, вы не немки! Немки на такое не способны!» Сестрички подтвердили: да, у них сильная примесь венгерской крови — для чего задрали ноги, у венгеров, мол, кое-что не так, как у всех. Мы хохотали попорсячи. Мы их жалели. Они так оголодали, что я однажды нашел под подушкой припрятанные Кристель две банки тушенки.

Нет, стыдиться не буду: да, День Победы был нами встречен здесь! Как и все в Берлине (и не только в Берлине!), мы палили из автоматов в воздух, ликуя и плача.

Счастливые часы, благодатное время! Давшее мне, выражаясь высокопарно, дорогу в жизнь, потому что кроме любви я занимался все дни эти музыкой. Великолепного звучания рояль, две прекрасные радиолы, набор пластинок, незнакомые имена англо-американцев (Рэй Нобл, Эдди Пибоди), я слышал оркестры Криша и Джеральдо, и если прибавить известные по Польше немецкие фокстроты (некоторые были украдены Утесовым), если присовокупить Кристель, обученную бегло работать на рояле, то можно смело заявить: за неделю я прошел курсы хорошей музыкальной подготовки, а когда однажды моя учительница заиграла в незнакомой мне фа-диез-мажорной тональности, я заплакал от предчувствия то ли всеобъемлющего счастья, то ли сокрушительной беды. Что-то открывалось мне, какие-то цвета различать я стал. Оставаясь верным своей «Кантулии», я не мог не попробовать «Вельтмайстер» и «Скандалли», когда Кристель отлипала от меня. Дурная привычка обнаружилась у нее: ей нравилось в четыре руки исполнять со мной на рояле трудную пьесу, одновременно занимаясь любовью. Можете смеяться. Но мне кажется, что возрождение Германии началось с этой квартиры № 7

в доме на Ляйпцигерштрассе.

Однажды Алеша заскучал по простой армейской пище и погнал сестричек к ближайшей солдатской кухне, снабдив их грозно написанным приказом от имени районного коменданта. Девушки уже наоблачались во все платья обширного гардероба хозяйки, но осторожности ради пошли на улицу одетыми под беженок. Приказано было набрать еды столько, чтоб досталось и блокфюрерин, которой Алеша выдал уже справку о том, что она — активная участница антифашистского движения. Хлопнула дверь — и Алеша преобразился.

— Быстро! — скомандовал он. — Ищи! Должен быть тайник!

Что предстоит нечто волнующее — я догадывался. Алеша между жратвой, коньяком и сестричками искал хозяйку квартиры, по телефону, который — вот они, чудеса оккупации! — не соединял Веддинг с Панковым, но сообщал Берлин с Цюрихом и Стокгольмом. Хозяйка квартиры № 7 погибла, это разузнал Алеша, и с удвоенным старанием мы бросились искать тайник. Он мог быть там, где невозможно было заподозрить существование его, и после чуткого обхода всех комнат мы остановились на кухне, присмотрелись к мраморной столешнице с посудой, простукали ее, вскрыли.

Два несессера. В одном камешки, в другом — паспорта. Алешу интересовали только документы.

— Швейцарские, — оценил он. — И шведские. Чистенькие. Со штампом консульства. Без фотографий. Без визы. А ее нам поставить — что два пальца... Сиганем?

— Куда?

— Куда хочешь. Швеция, Швейцария. Сейчас открыты границы с Францией, Бельгией, Голландией. Бежим.

— Зачем?

Он говорил шепотом. Я почему-то тоже.

— Потому что нам уже житья не дадут. Я, кстати, в розыске. С 1938-го. Или даже раньше.

Я, расслабленный сытой житухой, выразил сомнение, в ответ услышав:

— Ты либо глупый, либо притворяешься... На трех московских хозяев работали, а они грызутся, сейчас начнут подсчитывать потери. Ты хоть задумывался, кого мы убирали? Ты что — забыл про танк, про Халязина? Он ведь живым объявится — и всем нам каюк.

— А Григорий Иванович? — как-то жалко спросил я, и Алеша сплюнул. Выгреб из несессера камни и кольца.

— Пока мы с тобой гужевали здесь, в Москве победу отпраздновали.

Сегодня одиннадцатое мая. Хорошенького помаленьку. Повеселились — и будя! Засрали дом, сперли что надо, хозяйских барышень раком поставили — теперь пора делать то, что было во всех помещичьих имениях в 1917 году. То есть поджигать и разбегаться. Не мешало бы и рояль с третьего этажа на улицу выбросить. Да ладно уж.

Восстановили на кухне былой беспорядок и спустились на первый этаж.

Блокфюрерин встретила нас поклоном. Драгоценности ссыпались в ее подставленные ладони.

— Замуж не выходи. Сосредоточься на дочках. Дай им образование, воспитывай внуков. И запомни: в дом ворвались русские варвары, разграбили все, кто они и что унесли с собой — тебе неизвестно. А фрау Копецки из 7-й квартиры сюда уже не вернется. И вот что. Поговаривают о зонах оккупации. У тебя ведь сестра в Гамбурге, да? Уноси детей и ноги свои туда, и побыстрее, пока кордоны не выставлены. Камушки девочки на себе спрячут, они знают где... Прощай.

Блокфюрерин простилась с нами по-царски: открыла гараж и дала ключи от двух «опелей».

Мы разъехались. У Алеши свои дела, у меня — свои. Встретиться решили в пригороде, около Ванзее, 28 мая.

Визит к Вилли. — Еще один лишний человек

Напоминаю, еще при Вилли мы с Алешей стали старшими лейтенантами, а для пресловутых оперативных целей нам выдали новое обмундирование, то есть белье, бриджи, гимнастерку, погоны с тремя звездочками, фуражку, ремень и — завидуйте! завидуйте! — хромовые сапоги. Все подбиралось по росту, я уже дотянулся до 173 сантиметров, весил 61 килограмм, два ордена вручили — «Красной Звезды» и «Отечественной войны» 2-й степени и по четыре медали (без наградных удостоверений), — все та же дешевая конспирация, оформление гибели Халязина от рук советских офицеров.

Мне было почему-то грустно. Солнце в дымке, сам вид развалин связывался какими-то законами восприятия с грохотом артиллерийских залпов, с уханьем танковых пушек. Но вокруг была не тишина, а отсутствие громких звуков, люди двигались как-то замедленно. Никто не смотрел на мои звякающие медали и два привинченных ордена. Уже назначили коменданта города, приказ его расклеивался, читать я не хотел. Было, повторяю, грустно, с окончанием войны я лишился чего-то, и, пересекая Берлин с северо-востока на юго-запад, я часто останавливался и рылся по карманам, что-то искал, и гадалось: где же потерял я или, быть может, оставил там, у Лукошина... — что потерял, что оставил? Мне все казалось, что пистолет мой неработающий, собран, что ли, неправильно — или боек притупился? пружина вот-вот лопнет? Гадкое ощущение неприкрепленности к чему-либо. Вот: победитель я или побежденный? Отвечая на этот вопрос, пристрелил трех ворон из любимого парабеллума.

Кратчайшим маршрутом к Вилли никак не удавалось попасть, приходилось спрашивать, что это за улица, потому что все таблички были сметены. Ко мне прицепилась то ли рано постаревшая, то ли молодящаяся женщина, очень хотевшая курить, пачка папирос привела ее в возбуждение, в слезы, мы разговорились, курить просил умирающий отец ее, я дал немного денег. Еще одну немку завлекли мои медали, эта смотрела тоскливо и задумчиво, оскорбилась, когда я не захотел идти к ней («Неужели я так стара, что...»); мои объяснения, очень лживые, встретила, однако, с пониманием и подарила пачку презервативов и адрес.

Шарлоттенбурга, к которому устремлялся, достиг только к вечеру. Дом Вилли стоял целехоньким. Можно подняться на второй этаж и потянуть

шнур колокольчика, на что я имел право. Встреча — только после полного и окончательного разгрома — таков был наказ Вилли, и не через посредника!

В дом я вошел, трогать шнур не стал, поняв еще ранее, что Вилли нет, и оставил меловой знак: все в порядке, ресторан «Динамо», день и час те же.

Никто не переставлял часов на берлинское время, никто и часов не наблюдал, дни и ночи сливались, нескончаемой струей перетекая друг в друга; я не помню день, когда вышел из густой темноты и оказался за длинным шумным столом с бутылками, где орали что-то неразборчивое, но свое, потом запела девушка, младший сержант, голосочек тоненький, фальшивый. Я ушел. Я был, наверное, в парке. Иссеченные осколками деревья ночью казались неповрежденными, зеленеющими, пышными; миновав три квартала, я уткнулся в какую-то площадь, куда впадал бульвар, солдаты спали у машин и походных кухонь. Какая-то неволя гнала меня куда-то, меня лепило к сборищам людей, своих людей, в двухэтажном особняке, куда меня втащило, пили и плясали. Свои, все свои, но я начал корректировать себя, заслонялся фигурами людей. Потом исчез из особняка, через пять улиц наткнувшись на освещаемый изнутри «мерседес», где с каким-то офицером сидела Инна Гинзбург. Мы с ней так и не помирились, не могли подружиться: в 44-м наступление на нашем участке фронта шло так стремительно, что пленных надо было допрашивать горяченькими, сразу после боя, все ценное устаревало за те часы, пока его доставляли в штаб. Вот и образовались летучие отряды, переводчики свеженькими потрошили немцев, переводчиков не хватало, меня и прикрепили к такому отряду, и там-то Инна презрительно плюнула мне под ноги. А что обижаться-то: ураган войны смерчем закрутил нас в Ружегино, и мы попали в другую эпоху, перешагнули через какой-то барьер, нами же воздвигнутый.

Я не знал, что делать и кого бояться. Все были необозначенными врагами.

Великая Германия. — Истинный американец, тупой и незлобный

В мае 1945 года Германия впустила на постой миллионы вояк десятков национальностей. Землю Германии топтали новозеландские, американские, английские и французские ботинки, русские сапоги и босые ноги просто мужчин, женщин и детей. Со страхом и ожиданием смотрели немцы-хозяева на тех, кого надо было терпеть, пока незваные гости не утихомируются, убедятся в невозможности уплотнения и начнут потихоньку уходить. За несколько месяцев этого 1945 года Европа пережила то, что происходило в течение десятилетий много веков назад: разные эпидемии, казни ведьм, нашествия орд с востока и запада, и я катил по этой взбаламученной стране, за бензин расплачиваясь банками тушенки да «Беломором», что подарили мне наши солдаты.

Однажды увидел, как около кафе из джипа деловито выбрались четыре солдата в белых шлемах, подошли к сидевшему за столиком посетителю, спросили что-то, ударили его по голове дубинкой и швырнули в машину. Все произошло быстро и точно, ребята были правильно обучены, сам я сидел в том же кафе за бутылкой воды и, наверное, видом своим выразил одобрение бравым парням, потому что сидевший неподалеку американец заговорил со мной, быстро перейдя с английского на немецкий. Он был в форме, куртка расстегнута, фуражка на затылке. Это был человек со странностями, он пепел сигареты сбрасывал в подставленную ладонь левой руки, чтоб сдуть потом. Он вообще, показалось мне, был ненормальным, потому что так объяснил причину ареста: человек, что сидел в пяти метрах от меня в гражданском костюме, диверсант, немецкий диверсант, один из тех, кто не арестован и не судим еще военным трибуналом Первой американской армии. На вопрос, в чем обвиняется только что схваченный диверсант и его сотоварищи, последовал развернутый ответ. Оказывается, в декабре прошлого года переодетые в американскую военную форму и хорошо знавшие английский язык немцы произвели массовые диверсии в тылу отступающей Первой армии.

— Ну и что? — был я сильно удивлен. — Что тут такого, за что надо отдавать под суд после войны? Люди воевали, что с них спрашивать.

— Они носили американскую военную форму. Они обманывали.

— И правильно делали. А как иначе воевать.

— Ты, кажется, чего-то недопонимаешь... Если ты немецкий

военнослужащий, то находится тебе, по-американски одетому, на территории, занятой нами, американцами, нельзя, это нарушение законов войны. И немцы это понимали. Когда трюк с переодеванием стал известен, они по радио приказали своим диверсантам вновь переодеться, теперь уже в свою, немецкую, форму. Этот, которого арестовали, остался в американской. Его и расстреляют. Уже сто пятьдесят человек расстреляли — за нарушение правил ведения войны.

— Минутку... Вы, кажется, шестого июня высадились в Нормандии... О высадке — предупредили немцев?

— Ты что — стебанутый?

— А почему немцы обязаны предупреждать, в какой форме они будут резать телефонные линии и взрывать мосты?

Больше говорить с этим психом я не желал, тем более что он стал мне внушать сущую ересь: на оккупированной территории гражданскому населению нельзя нападать на оккупантов, а самим оккупантам нельзя стрелять в мирное население. Идиот, сущий идиот. Тоже мне союзники.

Ночевал я, самовольно заняв квартиру, уже зная о порядках: бывшие активисты НСДАП могли быть выселены из своих жилищ. Предупредил нашего коменданта, каждое утро приходила хозяйка квартиры, предлагала что-либо сделать, гимнастерку выгладить хотя бы. Как догадывался, то, что я проживал здесь, было для нее спасением, квартира попадала в особый фонд коменданта города, хозяйке полагалось что-то, паек, наверное. На площади я познакомился с одним майором, знатоком средневековой архитектуры. Он водил меня вокруг собора, показывая его с разных сторон, в некоторых точках обзора восторженно замирал, привставая на цыпочки.

— Нет, ты подумай, ты думай!.. Всякое культовое сооружение тянется к небу, шпиль вообще — это рука, что-то молящая у звезд, у солнца, у Луны, — если взглядеться, то найдешь разницу, наше православное христианство многое взяло у язычества, мы солнцепоклонники... Господи, господи, прелесть-то какая!..

Меня другое заботило: орган. Не было в этом соборе органа, то есть его вроде бы демонтировали, но органные басы звучали во мне, едва я приближался к собору. Уж не само ли пространство вибрировало, колыхая своды, и невидимые глазу трепетания стен складывались в звучание меднотрубных гортаней? У бокового входа в собор попы поставили плетеное кресло, о назначении его говорила табличка: «Посиди, отдохни, погрузись в мысли...» Так я однажды и сел, так однажды и погрузился, судьбу свою решая...

Это говорилось и об этом мечталось 27 мая 1945 года... Я особо

отмечаю день этот, потому что с него началась моя эпопея, и что бы судьба ни вытворяла с мушкетерами, какие бы напасти ни сваливались на юнгу Джима Гокинса, то, что происходило в этот день и последующие дни, месяцы и годы, скорее напоминает странствия героев эпосов, и хочу предупредить читателя: нет, не ищите в дальнейшем ни лагерей, ни тюрем, ни злых козней следователей.

Арестовали. — Прощание с Алешей, который показался Лене Филатову кучкой дерьма

Убаюканный величием собора, я забыл о коменданте, да кто о нем и помнил, кроме разве немцев, которых нужда гнала к этому капитану с красными глазами непроспавшегося штабника. Да и он меня, ручаюсь, из головы выкинул, едва я доложил ему о себе. Окна занятой мною квартиры выходили в парк с застывшими в марше каштанами, туда бы с утречка податься, пробежаться по нему, броситься в реку, дважды переплыть ее. С того момента, как мы с Алешей покинули Ляйпцигерштрассе, и все дни, что разъезжал я по Германии, меня не оставляло гадкое ощущение сперва незавершенности чего-то, а затем вопиющей неправильности всего делаемого мною. Будто я помилован кем-то, выбрался на заминированную дорогу и потому еще жив и невредим, что суммой каких-то еще более глупых действий минеров все механизмы взрывателей испорчены. Я объехал половину Германии — и не смог бы в последовательности, нужной для отчета, перечислить города и людей, и в этой ненормальности крылась ошибка, способная подвести к гибельной черте, но что это за черта и почему я обязательно к ней подойду — нет, не знал, не гадал, но все же — предчувствовал, что ли.

И вот что... Помнил же о предостережениях Алеши, пытался свести их в некую систему по методу Чеха, но куда там, дорога манила, дорога влекла.

И нба тебе — комендант, капитан, фуражка с прямым козырьком.

Третьим вошел он в комнату, первым — Костенецкий, за ним Лукашин. Раз в неделю брился я, чаще не позволяло отсутствие того, что надлежало срезать бритвой в щегольском футляре. Пришли эти гости как раз тогда, когда я уже не только побрился, но и оплескал лицо — для форса, по глупости — какой-то пахучей жидкостью. Полотенцем обмахивался, сдувая с кожи лица щипание, и Костенецкий пресек мое желание как-то по-военному, что ли, встретить начальство. И повел чуднбую по странности речь о недопустимости проживания в домах членов нацистской партии. «Я предупреждал...» — начал было то ли объясняться, то ли оправдываться комендант и умолк после досадливого жеста Костенецкого, а продолжением жеста было приказание показать мне удостоверение личности, что я и сделал, и удостоверение перекочевало в карман

Костенецкого. «Предвидятся исправления», — так сказано было. «Ага», — беспечно ответил я, успев заметить, что и пистолет, видимо, нуждается в исправлении, потому что Лукашин забрал его себе, и кобура моя на офицерском ремне опустела (кобуру для парабеллума я носил по-немецки: спереди и чуть слева).

Он был — Костенецкий — почти втрое старше меня; когда-то он запросто послал меня на верную гибель, не менее опасными были и все получаемые от него задания; временами я ловил на себе его взгляды, он посматривал на меня как на человека, которого почему-то не убивают, хотя в тех же взглядах распознавалось и желание положить мне руку на плечо и стоять так вот, вдвоем, радуясь друг другу. Но ни разу еще не держался он со мной так, будто я чужой, из разведки другого фронта, что ли. И угнетало молчание Лукашина. С полной незаинтересованностью поглядывал он на стены, на фотографии, на парк за окнами. А на меня вообще не смотрел, и подумалось: может, у него дома что-то случилось?

Назло коменданту и Костенецкому я вежливо распрощался с хозяйкой, донельзя напуганной, с перекошенным лицом наблюдавшей, как мы садимся в машину, без коменданта. За рулем — Лукашин, Костенецкий — рядом, я — сзади, — и оказалось, что рядом со мною — какой-то ленивый майор, и я стал внимательным, очень внимательным, то есть стал проявлять податливость, притворяясь тем глупым и розовощеким школьником, что спрыгнул с полуторки в километре от зугдидского военкомата почти четыре года назад. Я слушал, что говорят впереди, я отвечал на вопросы восторженно, как и положено юнцу, которому взрослые прочат славное будущее... Ну а детали этого будущего обсуждятся по дороге в Берлин. Шестьдесят километров до него, мир на земле, небеса чистые и высокие.

Обо мне спорили мои начальники, и получалось, что придется, черт возьми, оставлять мальчишку, меня то есть, в армии, а не демобилизовывать, потому что старший лейтенант Филатов Леонид Михайлович — как теленок в загоне: от вымени уже отучен, на ногах держится уверенно, да выпускать на волю нельзя — волков полно и должного воспитания не получил. Сами посудите, рассуждали начальники, девятнадцать лет, служить еще и служить, но в училище не примут. Ибо — звание уже офицерское, не топать же ему в строю курсантом, что-то надо находить такое, чтоб экстерном, что ли, получить диплом об окончании училища. И вопрос первый: какого училища? Не авиационного, конечно. Не танкового. Да и другие рода войск не примут в свои ряды старшего лейтенанта, не сдавшего минимума, потребного командиру взвода. А в академию?..

Это совсем уж глупо, предположил Лукашин, и что глупо — это я про себя отметил; я многое, очень многое отмечал, я начинал понимать уже, к чему клонятся разговоры, но совсем непонятен стал маршрут, согласованный — это я отметил тоже! — с майором, что слева от меня. Костенецкий сказал полувопросительно: «Заедем?» — и майор кивнул, соглашаясь. Лукашин вел машину не прямоком в Берлин, а кругным путем, мы катили к северо-востоку и вдруг свернули в сторону. Остановились. Все молчали. Начальники вылезли из «виллиса», за ними и я.

Мы оказались на пригорке, под нами расстилался пустырь, обнесенный проволокой, вдоль которой похаживали автоматчики, само же околоченное пространство заполняли какие-то серенькие кучки, рассмотреть которые я не мог, потому что «виллис» был открытым, пыль подпортила мне зрение, да и солнышко светило прямо в глаза, и тем не менее я догадался, что это за кучки: это сидели или лежали люди в, кажется, советской военной форме, но без знаков различия.

Пожалуй, не лежали, а сидели на корточках, уткнув лицо в колени. Неподвижно сидели. Под слепящим мои глаза солнцем. Но Костенецкий и Лукашин что-то все-таки различали на этом поле, которое было будто в кучках коровьяка. Они смотрели и недобро молчали. Молчал и я, не зная, что и сказать.

— Ну вот, — вздохнул Костенецкий. — Простились, значит.

Поехали дальше. «С кем простились?» — надо бы спросить, но я не спрашивал, потому что переваривал в себе ощущения от соседа, майора, от которого веяло опасностью. Майор никакого внимания не обращал ни на меня, ни на моих начальников, но, похоже, Лукашина принимал за своего шофера, а меня и Костенецкого — за незнакомых ему людей, временных, случайных попутчиков: знать их он не знает и забудет, когда они попросят остановить машину и выйдут, поблагодарив или просто хлопнув дверцей; на дорогах Германии таких голосующих было полно.

Поехали дальше — и разговор о моем будущем продолжился, причем ни в одном варианте этого будущего демобилизация не упоминалась. Дверь туда, к продолжению жизни рядом с матерью и Этери, захлопнута была перед носом, о такой жизни начальники мои и словечком не обмолвились. Зато вовсю толковали о службе, которая не может завершиться, ибо назревает война с Японией, и быть бы мне на ней, войне этой, если бы... Нет, что-то начальники недоговаривали, они — мои уши были настороже — и фамилии моей будто не знали, говорили о безымянном старшем лейтенанте.

Вдруг Костенецкому пришла в голову ошеломляющая по простоте мысль:

— Слушай, как это я раньше не подумал... Высшие разведывательные курсы!

Лукашину это понравилось, но не настолько, чтоб безоговорочно поддержать полковника. Выразил сомнение: возраст! Скоро, конечно, двадцать, но по виду — сущий младенец. С него сорви погоны, дай другую гимнастерку — и только что отмобилизованный школьник, более того, боец народного ополчения!

Я боялся пошевелиться, настолько дико звучали слова вроде бы взрослого человека. Какой школьник? Какое народное ополчение? И вторая дверь захлопнулась!

Полковник не унимался, еще одна идея озарила его, еще одна калитка ему увиделась: военно-дипломатическая академия! Да, да, есть такая, в прошлом году образована, условия приема вполне для молодого офицера подходящие, особенно если он знает хоть один язык, в данном случае — немецкий.

Воротца эти захлопнул Лукашин. Среднее образование необходимо, напомнил он, оно, конечно, имеется, но свидетельство об окончании школы утеряно, и пока его восстановишь, к началу сессии он не успеет.

— Успеет! — не поверил полковник. — Напишем в военкомат по месту призыва, найдут школу, подтвердят...

— Не подтвердят, — сказал Лукашин. — Туда три похоронки на него пришли. В военкомате ни словечка о нем, а школа сгорела, и все документы в ней тоже.

— Но люди-то — остались?

— А помнят ли они о нем?.. Вот когда я работал на лесосплаве...

А в душе моей будто патрон заклинило. Или что-то при сборке в темноте не согласовалось. Палец с предохранителя снялся, но — полное ощущение незащитности. Не первый раз испытывал я это чувство неуверенности в себе: каким-то неведомым образом волнение человека передается металлу, и в совершенно исправном пистолете заклинивает патрон.

А уши! Уши мои раздирались скрежетом фальши, кто-то перепиливал рояльные струны, похохатывая при этом.

Я расслабился еще более.

— Из Чехословакии что-нибудь прислали? — перешли к другой теме мои начальники. А я уже кое-что понимал, и скомканное безволие стало распирается, наполняться воздухом, вот-вот — и я поймаю воздушный

поток. Много, много мне сказал лукашинский «лесосплав».

— Нет.

То есть они пытались вызвать Чеха, но найти его не смогли. Начальники знали, как между собой называем мы самого старшего инструктора.

Поэтому я молчал. Я думал. Что-то надо было делать, до штаба — километров семь-восемь.

Вдруг Костенецкий, несколько раз чиркавший зажигалкой и безуспешно пытавшийся прикурить, в гневе отшвырнул ее.

— Стоп, — сказал он. — А ну-ка смотайся к кому-нибудь, попроси зажигалку. У всех полно их.

«Виллис» замер, я выскочил из него и двумя прыжками настиг стоявший на обочине «студер». Часами, авторучками и зажигалками были набиты карманы солдат и офицеров, зажигалку мне дали тут же, но я нырнул под соседний «студер», перемахнул через другой и растворился в Берлине.

Я мог теперь лететь в затяжном прыжке, воздушная стихия зашвырнет меня на безопасный клочок земли. Мне повезло, а вот Алеше уже каюк. Значит, это он сидел на пустыре, это меня привезли попрощаться с ним перед расстрелом, наверное. И мне то же грозит, начальники весьма прозрачно намекнули мне на такой исход.

Попытка превратиться в немца. — Семья Бобриковых зовет в глубь России. — Бросок на Восток. — Благородный Портос доносит горькую весть

Трое суток отводит традиция на грабеж захваченного города, но это не значит, что на четвертые сутки тишь и благодать воцарились в поверженном Берлине.

Грабили и насиловали, но все меньше и тише, а когда армия подустала, когда вывоз ценностей приобрел уставной порядок, за квартиры принялись местные мародеры, немцы грабили немцев, и кое-где сколотились отряды баб для самообороны, во главе их стояли испытанные временем блокфюрерины. Ночью я пробрался в дом Вилли мимо одной из таких блокфюрерин и поставил знак опасности, я как бы передал ему черную метку от руководства, чтоб хозяин квартиры принял меры предосторожности. Через квартал найден был подходящий дом, лестница могла обрушиться с минуты на минуту, на третьем этаже дверь поддавалась нажиму, я сидел на диване в безмолвии покинутой квартиры. Здесь когда-то жили немцы, мне предстояло на какое-то время сойти за берлинца, что было рискованно, очень рискованно хотя бы потому, что как ни знай чужой язык, вместе с ним не усвоишь тысячелетнюю историю нации и всегда будешь в ней чужаком. Так говорил Вилли. Много оптимистичнее высказывался Чех, не вовремя пропавший.

Чужак. Лишний, ибо к земле этой не прицеплен корнями, и в немецкой квартире, полной немецких запахов, я вспоминал рассказы Алеши о его родне; только она имела право носить русские погоны, хранить офицерскую честь и не уходить в бега. Она страдала за Россию, но мне-то зачем? Мой дед — землемер, кто прадед — мне неизвестно, а вот сыновья Федора Бобрикова, того самого, которого заперли в Коллегию, поручив надзор за мануфактурами, вняли опыту отца и взор свой от моря отвращали. Старший из сыновей выглядел для себя службу в драгунах и к старости промотал отцовское состояние до последней деревеньки, младший умер от заразной болезни, после чего все последующие Бобриковы получили иммунитет от инфекций. Племя вымирало, род мог опаскудиться, доверив продолжение себя внукам, если б сам Федор на склоне лет не позаботился о притоке свежей крови, густота которой определяется не размерами и цветом эритроцитов, а вязкостью навозной

жижи. Адмирал усыновил ребенка мужского пола, рожденного ему дочерью конюха. Зачатые вне брака Бобриковы обычно выше старост не поднимались, этот, усыновленный (что делает излишним описание конюховой дочери), был послан на учебу в Германию, где просто жил, особо не затрудняя себя университетскими занятиями. Романовскому греху и он подвержен был, женился все-таки на немочке, к счастью, вскоре скончавшейся. Будущий латифундист Артамон Федорович Бобриков тут же вернулся в Россию, на попечение немцам оставив сына, о котором немедленно забыли, который отлетел от дерева беспризорным семенем, неизвестно куда упавшим. У Артамона имелись веские причины не вспоминать о немецком прошлом своем, в Петербург он попал в начале 60-х годов, сблизился с офицерами, в подражание матушке императрице ругающими все немецкое на дурном русском языке. Кое-какие услуги матушке он оказал, в какие-то комиссии включен был, в какой-то химерический проект углубился было, да вовремя распознал ублюдочность всех благих начинаний матушки немки и, состоя при графе Кочубее, тугодумным молчанием на всех заседаниях заслужил себе отставку, пятьсот душ в семи деревеньках и орден неизвестно за что. С чем и убыл на Курщину, на дарованную ему землю, приумножать души и деревеньки (родовым именем стала Курбатовка), на призывы служить отчизне отвечая верноподданными отказами. Этот Бобриков догадался, насколько растлевающе действует на человека близость к власти, а венценосная она или конституционная — это уже излишняя детализация.

Дети законных сыновей усопшего Федора, люди без полушки в кармане, к деньгам и власти пробивались разнообразно. Об одном из них было известно, что состояние свое он сколотил за несколько часов, получив за труды от Екатерины перстень, обычную награду неимущим красавцам — за доказательство в постели своей преданности России. Перстень, проданный голландскому купцу, дал красавцу возможность основать на Урале медеплавильное дело. Потомки его, невзрачные и худые очкарики, дело отца не поддержали и смешались с толпой разночинцев, кое-кто, правда, громил свободомыслие с университетских кафедр. И все посматривали на тени предков, обладавших способностью освещать будущее. И теням тайно поклонялись, в завещаниях изредка писали: похоронить в Курбатовке.

(Не живописные подробности, лишь частично подтверждаемые документами, поражали меня в Алешиных рассказах, не извилистость пути семейства удивляла. Возмущал и восхищал сам факт, то именно, что уста одного поколения передавали ушам следующего имени, фамилии, даты,

географические наименования и прочие реалии. Что-то заставляло всех Бобриковых сосредоточиваться на культе своих предков. Желание предотвратить возможные ошибки?) А кстати, в роду Филатовых были до меня диверсанты?

Я сидел смотрел и вслушивался в себя, в полутьму, в историю Бобриковых, в гул жизни, не покидавшей города, который был так набит дивизиями, полками и батальонами, что никакой комендатуре не проверить чьи бы то ни было документы, а старших лейтенантов с двумя орденами и четырьмя медалями — пруд пруди.

Но Чех, Чех! Великий, неповторимый, осторожный и мудрый — не как застывший в раздумьях змий, а как змея, лишенная слуха, но не потому ли бесшумно скользкая и выбирающая самый верный маршрут? Я верил ему, я затаился, я размышлял, я вбирал в себя запахи и звуки, сидя с закрытыми глазами. И принял решение: оборвать свои следы! Как у ручья или реки, из которых собаки меня не вынюхают. И не оставлять их там, где меня могут ожидать. То есть ни к Вилли, ни на Ляйпцигерштрассе, ни к Круглову, который еще пригодится, ой как пригодится, но позднее. Уцелеть! Сохранить жизнь и свободу, что поможет вытащить Алешу из-за проволоки.

Пришло время линять, стягивать с себя отсохшую кожу.

На исходе следующих суток я лежал на койке госпиталя. Много раз привлекали нас к фильтрации солдат, я знал, что кому говорить и как. Впервые имел я время думать, не ограничивая себя, и много чего передумано было на госпитальной койке, на лужайке, куда разрешали выходить на прогулку. Порядки и здесь я знал, издали посматривал на врачей, опасаясь увидеть знакомых по тому госпиталю, где лежали мои боевые друзья. Спасало то, что больных и раненых везли безостановочно, наиболее тяжелые отправлялись на восток, но госпиталь все пополнялся и пополнялся — и это в то время, когда симулировать было бессмысленно, а война с Японией представлялась бескровной.

Госпиталь обосновался в господском имении, посреди парка, где-то на задворках его разыгрывались, надо полагать, жуткие сцены, потому что тишину разваливали выстрелы и приданные госпиталю бойцы стремглав мчались утихомиривать драчунов и пальбунов, если можно так выразиться: во мне все-таки пробивалось зерно писательства, я начинал забавляться словами. Хотелось уединиться, побыть в пустоте, которую заполнит прилетевший мотив «мананы», и великая песня ищущих однажды коснулась меня аккордеонным всхлипом. Я понял, что должно что-то произойти, и глянул на обувку: в чем бежать? И как жить без любимого

парабеллума?

Документы и одежду я припрятал, ждал обоснованного случая. Часто, чересчур часто в госпиталь стали наезжать офицеры тревожащей манеры поведения. На больничных койках отлеживались дезертиры и власовцы, не исключалось, что и агенты разведок. Приезжали особисты со списками, и чем длиннее были они, тем короче длились визиты. Помня о сваре, затеянной особистами госпиталя из-за не по правилам ампутированной руки, хорошего от них мне ожидать не приходилось. Наконец, меня могла опознать случайно та же роковая Инна Гинзбург, прикатившая бы в левый флигель навестить подорвавшегося на mine переводчика Костю.

Помощь пришла неожиданно.

По походке старшей медсестры догадался я, что грядут перемены. И потихоньку готовился к побегу, как вдруг какой-то врач остановился у моей койки.

— Как тебя, парень? Цветков, да? Ты как, осилишь выписку? Госпиталь переполнен.

«Манана» прошелестела надо мной, как ветер в высокой лесной гуще... И увяла. Деревья стояли не шелохнувшись. Я закрыл глаза.

Несколько часов спустя меня и еще трех излеченных привезли на сортировочно-пересыльный пункт, где я увидел Федю Бица, того самого тупого и мощного сержанта, которого я когда-то прозвал Портосом. Этот Федя ни с кем не мог поладить, Костенецкий его прогнал, Федю подобрал отдел разведки какой-то армии, но и там он продолжал пить и скандалить. Изредка мы встречались, и он никак не мог простить мне урок на лужайке, когда я его валил с ног несколько раз кряду. Теперь он ждал демобилизации и очень удивился, встретив меня. Покосившись на солдат рядом, он моргнул рыжими ресницами, призывая к разговору наедине, и мы уединились.

— Ну, — сказал он, — до тебя еще доберутся... Калтыгина-то — тю-тю... А Бобриков...

Из уст очевидца услышал я героическую сагу о гибели родимого отца командира.

Григорий Иванович славно завершил свой жизненный путь. 8 мая (мы с Алешей еще гужевали на Ляйпцигерштрассе) он в особнячке на окраине Берлина нежился в объятьях очередной пышнотелой паскуды. Разбудил его Костенецкий: пора ехать, дела. Григорий Иванович будто всю войну репетировал это пробуждение и все, что последует за ним. Дьявольски расхохотался, выбросил грудастую в окно. Заорал Костенецкому: «Яков, уходи живым, тебя пощажу! И Лукашина тоже! Остальных — в распыл!»

А Григорий Иванович не только прорепетировал, он еще и арсенал накопил изрядный. Он был грозно-весел. Особняк — одноэтажный, до ближайшего дома — метров семьдесят, шесть окон, два из них Калтыгин закрыл ставнями изнутри, он дрался за троих. Трупы смершевцев валялись рядами. Григорий Иванович — к еще большему ужасу осаждавших — расправлялся заодно и с маршалами.

— А где Федя? — грозно вопрошал он. — Где Федя Голиков, начальник разведупра, которому я приволок немца с планом наступления группы «Центр»?.. Нет Феде, — сокрушался он. — Федя народный герой, лысина его сверкает в залах Кремля!

Отбита очередная атака, фаустпатроном Григорий Иванович поджег «студер» с подкреплением.

— И Жукова почему-то не вижу, — сокрушался Калтыгин. — На никому не нужных Зееловских высотах сотню тысяч уложил. Ему бы возглавить операцию по задержанию капитана Калтыгина! Ему!

И так далее и тому подобное... Особо упирал на Еременко, любителя гуся с черносливом, генерала, который угробил не один ПО-2, гоня самолеты на юг за этим черносливом.

— Шестьсот тысяч положили русских парней, потому что побоялись поверить карте, которую мы принесли!

Всех маршалов перечислил, истекая кровью, и, когда полусотня волкодавов из СМЕРШа ворвалась наконец в особняк, двумя связками гранат подорвал всех. Лишь по татуировке на груди опознали его среди трупов...

(Как только я услышал про татуировку, я еще более утвердился в желании стать Великим Писателем.)

И ни словечка обо мне или Алеше не донеслось до смершевцев. Да, мы были его детьми, и детей он спасал. Он, возможно, учинил сражение это специально для того, чтоб до нас дошел сигнал об опасности. Возможно. Вечная память отцу командиру и человеку, который направил меня на писательский путь!

Про Алешу Федя знал самую малость: арестован. И его самого, Федю то есть, тоже захомутали, но попал он к лопухам, везли его в Потсдам на допрос, да по дороге те наладились, вот он и дал деру, закосил, отлежался в госпитале, теперь — в родные Бендеры, вот адресочек, не забудь...

Милый, милый Антон Павлович! — Первая получка. — Школьница задирает юбку, указывая путь

По красноармейской книжке, выданной мне, Цветкову то есть, аж в сорок третьем году, родом был я из Арзамаса, там же надо было встать на учет в военкомате, но я не торопился. Женщина в цветастой юбке продолжала растирать своего цыганенка песком, то есть затяжной прыжок еще не прервался близостью оседлого клочка земли, ураган гнал меня на восток, где-то под Куйбышевом я соскочил с поезда и пошел наниматься на работу.

Самое уязвимое место — красноармейская книжка и справка, которую мог сварганить любой ушлый парень. Но они-то и вызвали почтение у начальника стройконторы. «Понимаю, браток, денежка требуется... С месяц-другой побегаешь, раствор потаскаешь, а там опять в путь-дорогу...» Записку дал, в общежитии показали пустую койку, вечером обещали матрац и постельное белье, кухня в конце коридора, душ и баня — в городе, пятнадцать минут ходу. Я так сладко заснул! Я был на пороге будущей жизни!

В бригаде — двенадцать человек, трудились на школе, достраивая третий этаж, мое дело — хватать ведро внизу и бежать с ним наверх. Поначалу выплескивалось, потом сообразил: раствор — это неразряженная противопехотная мина, и дело пошло веселее; из этих двенадцати — половина калек, все местные, в обед разворачивали свертки, кое-кто приносил замотанные в тряпье кастрюли. Я бегал быстрее всех, конечно, и калеки стали звать в обед меня к себе, подкармливали, я их очень уважал: однорукий дядя Вася умел ловко укладывать кирпичи, одноногий Федька на крыше сидел, как на КП, командуя правильно, а бригадир Андрющенко (без пальцев на правой руке) не только лихо сворачивал сигарку, но ухитрялся топориком помахивать, показывал бабам, как закреплять доски на опалубке. Таких людей Костенецкий быстренько приспособил бы к делу, они бы у него ковыляли по немецким тылам. Женщины же все были в возрасте, что никак не сказывалось на языке, матерком встречали и провожали, на все крики бригадира отвечали загадочно и дерзко: «Наплевать, наплевать, все под юбкой не видать». Однажды набросились на самую горластую, ко мне пристававшую: «Ты на мальчика не заглядывайся! Для другой он!» И обвинили в болезни, подхваченной горластой на

станции.

Работали от зари до зари, спешили к 1 сентября, и елось хорошо, и спалось хорошо, рабочую карточку получил; еще в госпитале на меня временами накатывали по ночам страхи, здесь — пропали они.

Аванс был маленьким, но в получку у меня на руках оказалось почти семьсот рублей. Хранил я их в тумбочке, под газетой. И полез как-то за червонцем — а денег нет. В комнате — восемь человек, кто взял — допытываться не хотелось. На день-другой кое-какая мелочь сохранялась в кармане, о пропаже никому не сказал, в обед хотел было смотаться на базар за куском хлеба, но бригадир поманил, отрезал кусок сала, отломил горбушку.

— У тебя что-то случилось?

Я сказал.

Он полез в карман, достал мои деньги.

— Возьми. Не я, так другой стибрил бы. Мало ты еще жизнь знаешь. Давай-ка бери расчет и валяй куда подальше.

Но я решил побыть еще немного. Каждый вечер уходил в городскую библиотеку, читал полезные для будущей профессии книги. Лев Толстой привел меня в тихое негодование. Он оказался насильником, он заставлял читателей безоговорочно верить написанному им, он походил на следователя, который втискивает в арестованного нужную прокурору версию, а уж я-то под следствием побывал предостаточно. Зато Антон Павлович Чехов меня восхитил, он был скромным и грустным.

В получку вся бригада напилась, я рад был случаю уйти в общежитие, да и там шла пьянка, там гуляли мастерские при депо. Повезло: позвали из дома, что по соседству с общежитием, бабка просила помочь, внучка напоролась на гвоздь. Девчонке было лет тринадцать, бегала напропалую да наступила на доску с гвоздем. Тот насквозь прошел через большой палец, вздернув ноготь и загноив рану. Произошло это двое суток назад, отпускать внучку в поликлинику бабка не решалась, боялась, что та попадет под поезд. На таких ранениях я не мог набить себе руку, хотя и выполнял в группе обязанности санитаря, фельдшера и врача, — потому не мог, что такие мелочи, как гвоздь, никогда не вмешаются в операцию с возможным смертельным исходом, тут какой-то запрет природы.

Но тем не менее обучен был врачевать такие раны. Зашли в дом, девчонка села напротив, положив на мои колени ногу, бабка в роли медсестры поднесла свечку, на огне которой я подержал нож, склянку «Тройного» одеколону и еще кое-что бытовое и для хирургического вмешательства чрезвычайно полезное и мало кому известное. Единожды

девчонка вскрикнула: «Ой, дяденька!...» Мышцы ноги были хорошо напряжены, отлично прощупывались, по методу Чеха определилось то упражнение, которое помогло бы мускулам быстро одолеть влияние постороннего тела, то есть раны от гвоздя.

Как и ожидал, гной изгнался, рана через день затянулась и, еще раз промытая, закрылась лоскутом бязи. Вытянутая нога пяткой упиралась в мой живот, я и другую ногу положил рядом для сравнения и тут обратил внимание: ноги-то не такие грязные, как раньше, на девчонке-то и платице получше, и волосики она уплела в косу позатейливее, и смотрит она на меня, сморщив личико в горьком недоумении, предваряющем плач. «Что с тобой?» — спросил я, и в ответ она, как бы проглотив страх, заерзала попкой на табуретке и с отчаянным озорством глянула на меня счастливыми глазами. Я же смотрел на ножки ее, почему-то так и не загоревшие, хотя руки девчонки по локоть были в светло-коричневой смуглости. Ножки еще не расширялись в притягательной конусности, линии их не поднимались боязливо от щиколоток к коленным чашечкам, чтоб там уж, вроде бы утвердившись, как бы даже замерев в округленности от испуга, вновь незаметно и тихо вознестись раскрывающимся зонтиком к основанию таза. Эти, девчоночьи, ножки только пытались обрести свое будущее величие, мышцы только пробовали округляться, наращиваться, тренируясь в возможности раскидываться, помогая мужчине, чтоб потом, через девять месяцев, вновь раздасться и выдавить плод, зачатый при первом раздвижении. Ноги созревали — и девочка мучилась в радостном принятии будущих изменений. Ноги вприпрыжку понесут девчонку по двору, ноги, придет время, еще закружатся в вальсе, встанут на цыпочки, а когда она потянется губами к юноше, ноги взвалят потом на себя тяжесть плодоносящего тела, научатся ступать так, чтоб будущая мать сохраняла устойчивость...

Все впереди у девчонки, все — и у меня тоже! Потому и задумался я, глаз и рук не отрывая от коленных чашек, пальцами разминая сухожилия и упругие мышцы.

Потом девчонка повела ножками, освобождаясь от рук моих, так бережно, словно боялась рукам причинить какой-то вред. В знак полного доверия ко мне и признательности она, уже встав, подняла платице, показывая трусики и спереди и сзади, и опустила его, быстро прошептав:

— Я мамке ничего не скажу...

В сильном смущении ушел я, наказав бабке сделать завтра перевязку внучке. Я шел к общежитию и подумывал о том, что пора уже в путь-дорогу, осень подгоняла, надо обосноваться где-то на зиму.

Взял расчет, трудовую книжку, для меня бесценную. На ходу вскочил в товарняк. До сих пор жалею, что не спросил у девчонки, как зовут ее. Такие имена надо помнить, как пронзившие тебя запахи детства.

Этери, Этери... — Благодетельное, жизнеутверждающее избиение. — Оpoznан! Оpoznан! Ибо — всесоюзный розыск. — Опять армия

Нет, нет, я не забыл ее, я даже держал в мыслях такой вариант: проникновение в Зугдиди и осторожная разведка. К счастью, такого не произошло.

Еще один паровозный дымок — и я уже далеко за Уралом, война с Японией кончилась. Чтоб не возбуждать любопытства, время своей пробежки я перенес на вечер и приобрел спортивную майку, но еще до возобновления десятикилометровок произошло нечто замечательное.

Наугад соскочив с поезда, я покинул станцию и шел по умилившим меня улицам скромного и чистого городка около Новосибирска. По вечерам уже холодало, где общежитие с ночевкой — мне сказали, я шел к нему, полный радужных надежд, и они меня не обманули. В каком-то переулке повстречалась мне компания молодых парней, кто-то из них попросил закурить, и когда я ответил, что не курю, тот же парень без всякого зловещего оттенка в голосе произнес:

— Ну иди сюда, фраер. Мы тебе дадим прикурить.

Было их человек пятнадцать, они стали меня бить, но из-за давки и скученности никто не мог правильно ударить, я же испытывал радость, я, уже лежащий на земле, правильно вращал себя, чтоб кулаки и ноги парней не повредили голову, грудь и пах. Конечно, я мог вскочить — и тогда по крайней мере десять трупов навели бы ужас на милицию и весь город. Но я испытывал блаженство от боли и позволил парням поиздеваться надо мной. Две старушки оборвали побоище, парни разошлись, очень довольные, а меня добрые женщины привели к себе, стали врачевать. Утром пришел участковый, кто бил — он знал, с войны еще в городе бесчинствовала банда малолеток, милиционер даже не поинтересовался, зачем я в этом городе, по какой нужде.

Ничто у меня не было повреждено, на четвертые сутки я пошел устраиваться на работу (подтаскивать песок к бетономешалкам) и получил койку в общежитии.

Очень интересно было наблюдать за образованием смеси, получившей красивое название «бетон». В общежитии (оно почти в центре городишка) полная армейская дисциплина, ни пьянок, ни драк, я и здесь ходил в читальный зал библиотеки, благо она рядом с общежитием, закрывалась

она рано; по пути к себе услышал однажды музыку, баян, полуаккордеон, так и попал на танцплощадку. Музыка знакомая по войне, рядом скучала барышня, от танца (танго) не отказалась, мы потом покрутились в вальсе, и, так уж получилось, пошел провожать ее до дома. Наверное, так полагалось из-за обилия шпаны. Жила она далековато от танцплощадки, я взял ее под руку, я шел и чувствовал, что в руке ее, в голове бьется очень нехорошая для меня мысль. О себе она сказала кратко: «Мамаша есть, сестренка, а работаю в одном учреждении...»

Остановились около калитки, можно было обнять девушку и губами коснуться щеки. Что я и сделал, встретив слабое сопротивление и все гадая: да где ж я тебя, милая, видел?

О том же думала и она — вот что меня тревожило. Рядом со мною в человеческом существе ворочалась, как свинья в болоте, какая-то грязная мысль...

И вдруг я услышал вопрос, буду ли я завтра на танцах. Изобразив раздумье, с ответом помедлил и наконец сказал, что да, завтра обязательно. Она подставила губы. Шепнула: «Будь обязательно...»

Простились — и я нырнул в ночь, я не стал даже заходить в общежитие. Потому что знал, где встречалась мне девушка эта и чем объясняются ее раздумья. Три или четыре раза я видел ее входящей в управление МГБ, девушка, конечно, знакома со всеми ориентировками и опознала меня.

Все необходимое для побега носилось со мною, глухой ночью я вспрыгнул на подножку притормозившего поезда, и ветер понес меня к океану, до которого я так и не добрался, пытаюсь пристроиться в Благовещенске...

Пристроился было, да какие-то явления произошли в небесах, ураган сместился и потащил меня в другую даль. Примораживало, ноябрь все-таки. Снял угол у какой-то старушки, похаживал вокруг вокзала, и однажды мелькнула мысль: туда, на запад, здесь замерзну. На путях стоял воинский эшелон, армия отправляла уже отвоевавших воинов в центр России, я забрался в последний вагон, чтоб через час уже переодеться во все как бы армейское, кое-какой документик был прихвачен, без этого не обошлось. А эшелон неудержимо летел к Уралу...

Тени прошлого. — Крепостничество XX века. — Племенной бык в стаде беспородных коровушек, или Лизинг по-сибирски. — Среди шумного бала, случайно... — Закабаленный мужчина становится свободным

17 или 18 ноября все того же 1945 года приبلудным странником сидел я на перепутье, не зная, куда подаваться и кому я вообще нужен. Ветер жизни гнал меня на запад, но едва за хвостом поезда остался Байкал, как тоска навалилась на меня, я скатился с подножки на какой-то станции и без сожаления глянул вслед приютившему меня эшелону с ранеными и демобилизованными. Во мне что-то звенело, мне чудилась «манана» — и очень не вовремя, я еще не был готов к перемене воздушных потоков; едва я вошел в зал ожидания, как назревающая мелодия упорхнула, потому что я перенесся в военный 1942 год, передо мною мелькнула тень Халязина.

Может, я ошибся с призванием и не к вершинам литературного мастерства карабкаться надо бы, а к балаганному артистизму? Ведь в эшелоне этом, явно подражая Алеше, «земляка» я нашел из-под Караганды, обжился, присмотрелся, прислушался, завязал полезные знакомства с такими же, как я, бездомными, и будущее какое-то мыслилось. Но Россия — это сонм однообразий, и станция, оторвавшая меня от эшелона, была копией той, на которую Алешу и меня посылали в помощь милиции. Новая служба нас не тяготила, норму (восемь задержанных) мы выполняли, и однажды, сидя по обыкновению на втором этаже, заметил я вошедшего в зал командира, очень истощенного и озябшего. Найдя местечко потеплее, он сел на пол и вытянул ноги. Если бы у командира были какие-то неполадки с документами, он поступил бы иначе: прилег бы к краю лежавшей в зале роты, сошел бы за своего, проверенного. О чем я сказал Алеше и с чем тот согласился. Но норму мы еще не выполнили, вот я и пошел командира прощупывать, привел его в милицию, документы его внушили доверие, но в каком-то протоколе мы с Алешей все-таки расписались.

Халязиным был тот командир, Халязиным — вот когда и где вспомнил я повод, заставивший московское начальство — на собственное горе — включить нас в группу, бесследно пропавшую вместе с еще ранее сгинувшим Халязиным.

Стих ураган, я безвольно опустил на этой вот станции, сижу на скамье и думаю, что делать мне дальше в стране, занимающей одну

шестую часть суши. Будто предвидя арест и невозможность встречи у Ванзее, Алеша воткнул в меня несколько адресов, все — на юге: Ростов, Киев, Одесса. Еще что-то сказано было, о чем надо вспомнить. Да жив ли он сам? За проволокой его не удержать, зато расстрельный взвод автоматчиков сделает Алешу неподвижным. По путаным цепям ассоциаций вспомнился мне совет Круглова: «А вы его покормите...» — и еще одна спасительная идея обосновалась во мне: Круглов, Москва. А пока (кожей, ресницами, волосенками я чувствовал приближение порыва следующего урагана) — нужна зимовка в тепле. Судьба велела: осесть в какой-нибудь глуши, оглядеться, убедиться, что горизонт — чистый, мачты правительственных фрегатов не торчат из-под воды, вырастая в высоте и грозя показать орудийные порты и спускающуюся шлюпку.

Поэтому я прислушался к увещаниям хитренького старикана, которому долго не пришлось меня уламывать. Подсобный рабочий в колхозе, мужик нужен, быстрые ноги, топорик в крепеньких руках, служба в армии позади, прокорм обеспечен, так соглашайся, парень!

За три часа лошаденка одолела шестьдесят километров, подвезла к дому председательши, в огонь полетела вся моя одежда с приобретенными бумагами, в выданной мне униформе ходила почти вся Россия: ватные брюки, нательное белье армейского образца, телогрейка, шапка и все прочее. Старик ввел меня в председательский дом — для показа.

Меня встретила хозяйка — высокая и бездушно красивая, то есть даже под мужиком не осознававшая себя женщиной. Назвалась Людмилой Степановной, сказала, что жить буду пока у нее — так нынешние граждане автомашину свою держат рядом с домом.

Уже давно смеркалось. Позвали к столу, жили тут богато, что меня удивило; в напитках я разбирался и признал: водка настоящая, московская. Людмила Степановна вытянула из меня вполне правдоподобную легенду. Сама она вышла замуж 16 июня 1941 года, и еще через три месяца муженек пропал без вести.

Спать здесь ложились, разумеется, рано. Хозяйка и не помышляла предоставлять себя подсобному рабочему (в колхозной ведомости я значился как-то иначе), не скрывала зевков. Нашлась какая-то теплая клетушка, почти конура. Я был счастлив.

Так и прижился я к этой деревушке, научился по-крестьянски запрягать лошадь. Хозяйка съездила в район, где потолковала с милицией, получив на меня какую-то справку, которую я поостерегся бы показывать в городе. По какому-то устному, видимо, договору МТС разрешила двум бабам-трактористкам держать дома вверенную им технику, вот этими

тракторами и занимался я. Посыльным бегал от двора к двору, подменяя бригадиров. Из социализма я скакнул в феодализм, ничуть не пораженный: в Ружегине подземный толчок столкнул меня в еще более отдаленную эпоху. Уже январь прошел, февраль, как-то случилась неделя, когда снег до труб покрыл деревню. Одна мысль не оставляла меня: как сбежать и куда? К кому?

Преградой всем планам могла быть председательша, истинная блокфюрерин, начавшая торговать мною, поскольку никаких мужиков в округе не было. Однажды приказала (у нее все формы просьб или предложений сводились к напористому требованию) побывать у Прасковьи Авериной — пятый дом с краю, дверь разбухла, подтесать надо, работы на полчаса, но можешь не торопиться.

Ходики показывали три часа дня, работа заняла пятнадцать минут, какая-то невоинная бражка поднесена была, а затем Прасковья (вдова, разумеется) подсела ко мне, начала расстегивать кофту. А когда я испуганно шарахнулся, припала ко мне с успокоительным признанием:

— Я твоей Людмиле за это уже заплатила, так потрудись, миленький...

На другой день вздыбилась половица у Веры Калашниковой, и пошло-поехало.

Время зимнее, на полях делать нечего, навоз развозить рано, да и посевного материала никак район не присылал, и я ходил от двора к двору, обогащая Людмилу Степановну, пуще все боясь, что ее телесно заинтересует, что хорошего получает баба от мужика, когда задирает юбку и раздвигает ляжки.

Не знаю, к какой форме повинности отнести то, что заставляла меня делать хозяйка. Оброк, что ли? Отхожий промысел? Нет, нет, как-то иначе. По-современному выражаясь, лизинг, что ли.

Но я не роптал! Я ходил от двора к двору и думал. Я был как Магомет в пустыне, туда удалившийся (или изгнанный), как Христос, шатавшийся по Галилее. Они — в одиночестве — думали. О чем думали? Неизвестно. И я думал ни о чем, как и они, мысли мои напоминали беспорядочные автоматные очереди, бесприцельные, но ведь — вдумайтесь! вдумайтесь! — одна из тысяч пуль все-таки убивает, о ней говорят: шальная. Вот так и я, ни о чем не думая и тем не менее размышляя, ждал, когда спасительная идея осенит меня, что напишется в небе какой-нибудь Авдотей после того, как она рассупонится. Терпение! — взывал я к себе.

Терпение! А оно у меня было. Я как-то должен был в очень, очень узком секторе поймать на мушку одного гражданина из немецкой администрации, целился я с крыши противоположного дома, сектор,

повторяю, узенький, чтоб казалось — выстрел произведен не снаружи, а внутри помещения. Так этот гражданин восемнадцать раз на доли секунды проскакивал сектор, но всегда со щитом, чья-то лысина заслоняла, какое-то могучее плечо обороняло. Пот заливал глаза, руки дрожали, но на девятнадцатый раз гражданин поймал мою пулю.

Ждать! Терпеть! Что-то должно было случиться! И председательша это чуяла.

— Забрыкаешься — отправлю в район, там тебя определят к хозяину.

С моей помощью она ободрала почти всех женщин, те платили мясом, поросятами, мне ничего не перепало, ни в грош не ставилась культурно-физиологическая миссия, с коей я ходил по дворам. Бабы загодя готовили себя к предстоящему, учение шло им впрок, лишь одну избенку я обходил стороной, жила там припадавшая на ногу женщина лет тридцати, председательша ее отбраковала, хроменькой нечем было платить, но дважды или трижды женщина — ее звали Катей — с крылечка смотрела на меня, и я опускал голову: такой дивный синий свет излучали ее глаза.

И однажды (было темно уже) — зашел! Калека эта по соседям не ходила, но тем не менее знала, что где происходит и с кем. Она плакала, обнимая меня и осыпая поцелуями, потому что я преодолел земное притяжение, поднял ее ввысь, к материнству, ее ожидали хлопоты, пеленки, ребеночек, она достигала цели, о которой мечтала уже не один год.

Через несколько дней она с крыльца окатила меня сиянием синих глаз, руки скрестились на груди, губы немо вымолвили: «Да, все получилось... И у тебя получится. Зайди завтра».

И вдруг забила тревогу Людмила Степановна, треща о моем вероломстве, о том, что вот пригрели сироту, а парень-то никудышный, с порчей!

Верили или не верили, но, думаю, у хозяйки объявился настоящий, законный муж, освобожденный из плена, получивший срок и подавший о себе весточку.

Было самое время бежать. Синеокая Катя-Катерина преподнесла подарок — полный набор документов студента, который жил у нее на практике весь июнь 1941 года, пока вдруг за ним не приехали и увезли неизвестно куда. И год рождения близок к моему повзрослевшему облику, и физиономия смахивает — нет, с документами еще надо поработать, но они есть, существуют!

Колхозное правление прямой связи с районом не имело, только через соседний. Что-то однажды случилось на линии, в полдень я на смирной лошадке поехал вдоль столбов, пока не добрался до укатанной дороги.

Подцепился к борту грузовика, висел полтора часа, но еще через такое же время купил на толкучке нечто, смахивающее на городской костюм, чемодан, куда запихал свое колхозное одеяние, взял билет на московский поезд, шел по вагонам, выискивая компанию шумных ребят, чтоб пристроиться к ним, сойти за своего. Человек восемь набилось в купе, веселая публика, я глянул на полку — и обомлел.

Я увидел «Кантулию»!

Великий Диверсант и Племенной Бык становится лабухом. — Виктор Д. — поэт, музыкант, циркач и спаситель — вечная ему слава!

Конечно, это была не та почти новенькая «Кантулия», которую прятал от меня Любарка. Эта была и цветом пожиже, и позалапаннее. Но — аккордеон! Но музыка! Чемодан мой рухнул под ноги, глаза не отрывались от источника «мананы», от пощипывания души звуками небесной сферы...

Слезы подступали ко мне, слезы... Но они не помешали встретиться взглядом с человеком, который из глубины купе тоже со слезой посматривал на меня.

Прошли годы, время, не измеримое никакими календарями, но оживает память о человеке, который любил всех людей, хоть и видел их голенькими.

Витя! Дорогой Витя! Я не назову твою фамилию, когда-то гремевшую по всей стране и вне ее, пальцы мои уже отрываются от клавиш компьютера, чтоб ненароком не выдать тебя. Ты писал чудные песни и стихи для детей, и взрослые, услышав их, превращались в младенцев. Ты и в цирке потом работал, и на эстраде, но в начале 1945 года взвалил на себя обузу, принял прогоревших музыкантов, изловленных на левых концертах, обворожил какую-то московскую даму — и та разрешила музыкальным парням не умереть с голоду.

Он насквозь видел и даму, и своих лабухов, и все многомиллионное стадо, которое желало по вечерам в клубе слушать инструменты да толкаться в обнимку под увлекательные мотивы. Он и меня распознал с ходу, мою рубашку двумя номерами меньше, пиджачок покроя конца 20-х годов, пальтецо, которое стыдно было дарить нищим; он, уверен, и паспорт мой сквозь толщу одежд полистал и в задумчивости закрыл. Ведь студент, призыву не подлежащий (отсрочка была), которого цапнули органы в конце июня 1941-го, — студент-то был немцем, жителем Поволжья; его командировали на практику в Новосибирск, а уж оттуда — в это село.

Все увидел добрый всечеловек Витя — и лабухи дали мне местечко и «Кантулию» на колени. Я глубоко вздохнул, я не стал беречь души опытных халтурщиков, как бы вскользь — для вступления — исполнил кое-что из немецкого классического репертуара (фокстроты типа «Komm zu mir»), а затем наловленные мною в скитаниях по Германии песни союзников. Слушали меня очень внимательно, потом достали бутылку, а

Витя с моим билетом пошел к бригадиру поезда, я был поселен рядом, со мной в купе — сам Витя и скрипач да какой-то радостно потеснившийся гражданин. Витя со своей бандой в разных городах именовался то джазом под управлением такого-то, то эстрадным оркестром, то еще как-то иначе; одно время совсем уж громко: биг-бенд, тогда у них соединились две трубы, тромбон, три саксофона и ритм-группа. Певичка имелась, ей всегда брали при переездах билет в спальный вагон.

Невдалеке от Свердловска Витя поманил меня, вдвоем заперлись в туалете, мои документы были изучены; Витя спросил, что я вообще думаю, где добуду более стоящую ксиву?

Я этого не знал, теплая признательность окатывала меня, Мюллера Генриха Федоровича, Витя же паспорт взял себе, в карман. Еще раз оглядел меня:

— А настрадался ты, братец... Все поправимо.

В Свердловске все дружно бросились к багажному вагону, забрали свой инвентарь.

В тухлой и клоповной гостинице расположились на отдых, Витя полетел в горсовет, потом повел меня к еврею, от того я вышел, держа на руках концертный костюм. В закутке третьего этажа порепетировали, без боязни вышел я на сцену в клубе строителей, никому из людей Костенецкого, буде они в зале, в голову не пришло, что аккордеон — в руках Лени Филатова, таковы уж законы человеческого восприятия. Впервые я услышал (и умело подыграл) «Минуты жизни» Фомина и едва не бросился обнимать певичку Валечку... В десятом часу скакнули в грузовик — и перенеслись в другой клуб, левак оплатил и костюм, и гостиницу. Зарабатывать надо было ровно столько, сколько трудящийся средней квалификации. А совал нам в карманы Витя раза в три больше. В Липецке, кстати, к нам присоединились два саксофона, тенор и баритон. Оркестр зазвучал иначе.

А я ждал, когда Витя укажет пальцем на столицу. Побаиваясь Москвы, я строил кое-какие планы.

Мы прибыли в Москву, где никогда не было тесно от музыки. Оркестры Утесова, Александра Цфасмана, Александра Варламова, Эдди Рознера, львовского Теаджаза — голова у меня пошла кругом, я стал подзабывать об истинном призвании своем, о литературе. Дали мне угол на Якиманке, у музыкальной старухи с записями Лаци Олаха, Козина, Лещенко, Юрьевой... Полуподпольно слушали американцев — Эллингтона, братьев Миллз, Рэя Нобла, Гарри Роя...

Я же искал себе аккордеон, надо было присматриваться и

прицениваться, благо я в оркестре Вити обосновался крепко, поскольку они впервые услышали от меня блюз в фа-диез мажоре, то есть в незнакомой им тональности. Да не один я гонялся за инструментом, искали довоенные альт-саксофоны, баритон-саксы. Быстро освоил я жаргон, понял, что джаз любят в МГУ, Архитектурном, Медицинском. Все присматривались и прислушивались к басам моего аккордеона, удивляясь искусству раскоординировать руки. Да не мог же я им сказать, что уже с конца 1942-го умею одновременно стрелять из пистолета в левой руке и автомата — в правой. Репертуар наш разрастался, «парнос» (деньги за исполнение полузапрещенных мелодий) набивал наши карманы, делились по-братски.

Аккордеон же лично мне был необходим, ибо не везде были пианино и рояли, я присматривался и примеривался к настоящим мастерам, а таковыми стоустно считались Ян Френкель, Вадим Людвиговский, Юрий Саульский, Борис Фиготин, Александр Основиков... У кого-то из них услышал впервые «Звездную пыль» и, потрясенный, поплелся к себе на Якиманку.

Собирались к одиннадцати утра, репетировали часа два-три, получая от Вити целеуказание: сегодня — там-то. Сущее мучение играть на разбитых пианино, где не работали некоторые клавиши. Заранее приходя, изучали неполноценную клавиатуру, запоминали, у каких клавиш молоточки сломаны, чтоб не нажимать на них в дальнейшем... Усвоил я и субординацию; кафе, ресторанами и фойе в кинотеатрах заведовала организация под названием МОМА, Мосэстрада отвечала за другие площадки. Я уже научился играть с листа и стал полноценным музыкантом, а не каким-то там любителем, слухачом.

И что-то меня точило... К чему-то меня тянуло... Около трех часов дня, после репетиции, проходя в фойе мимо тира, я покрылся вдруг потом, ноги стали как-то странно заплетаться... Пятьдесят, кажется, копеек стоила пулька, взял я их на трояк и через две-три минуты вручил спешащей певичке Вале плитку шоколада, косолапого мишку, зайца и еще что-то. И еще через три дня повторил улаждающий душу концерт, а потом на дороге моей встал Витя, он охапкой держал все мои призы, повел меня к тирщику, отдал настрелянное мною и сказал извиняюще: «Батя, прости ты нас, артистов... Этот стрелок в цирке выступал, о чем ему надо было тебя предупредить...»

Слава о нас раскатилась по столице, однажды Тамара Церетели исполнила в концерте свой шедевр, романс «Вам девятнадцать лет, у вас своя дорога, вам хочется смеяться и шутить. А мне возврата нет, я пережил так много, и больно, больно мне в последний раз любить...». А потом на

«бис» — «Только раз бывает в жизни встреча», все того же Бориса Фомина...

Но хватит врать-то: не аккордеон искал я, а следы Алеши. Что тот на свободе — я в этом уже не сомневался. А Круглов обязан быть в Москве! Правда, показываться ему на глаза я остерегался: конец войны стал концом некогда щедрых людей, да и связываться с жуликом опасно. В квартиру, где он хозяйничал, я заходить не стал из простейших соображений: очень уж видный дом, улица Горького, Центральный телеграф рядом. И крутиться вокруг него нельзя, тем не менее удалось выведать: в квартире проживает некто Волин, Председатель Верховного суда РСФСР, а может быть, и СССР. Соваться в адресное бюро не менее опасно.

А та девушка, которая в 1943-м наградила меня собою, пребывала неизвестно где, на Грузинском валу ее и не помнили.

Всей компанией мы возвращались однажды из театра «Эрмитаж», Вите так и не удалось уломать администратора, в концертах отказали. Был с нами и тромбонист Додик, настолько глупый, что шуточки его смех уже не вызывали. Лишь бормотали: «О, Додик все знает!..» Мне кажется, выражение это, ныне принятое, пошло именно от этого курчавого дебила. На ресторан в «Эрмитаже» денег у нас не было, а в животе постанывало. Вдруг Додик предложил зайти к своей знакомой, живет она рядом, и покормиться. Зашли — и стояли в некотором испуге: настолько хороша была знакомая Додика! Потоптались в прихожей, были званы к столу, обилию закусок мог позавидовать Председатель Верховного суда. Хозяйка степенно дефилировала между кухней и обеденным столом. Когда она удалилась варить кофе, кто-то робко спросил Додика, какими такими милостями и подарками осыпал он эту чудесную женщину.

Ответ обескуражил всех. Отвратительную гнусную правду никто не хотел признавать.

— Да я ее бараю!

Я-то в Ружегине побывал, мимо ушей пропустил. А после кофе и ликеров стал рассматривать картины — и неожиданно увидел телефонную справочную книгу.

Да, в Москве такая книга была, довоенного издания, помнится. Ни одного Бобрикова там, все Костенецкие не те, Лукашиным пренебрегли, но Гинзбургов — навалом, всю родню строптивой еврейки я знал. Еще кое-какие номера и адреса запомнились. Спыхватился: куда лезу? Для всех я — мертвый, и Этери небось замуж вышла.

Однако стоило разворошить вповалку лежавшие фамилии, как они начали спрыгивать со страниц телефонного справочника и попадаться мне

на глаза. Я издали увидел на Малой Бронной Инну Гинзбург и понял, что московские дни мои сочтены. Меня уже влекло небо, но я не знал, какой порыв ветра более благоприятен. Москва попугивала, я уже сквозь дырочку в занавесе рассматривал публику, однажды увидел знакомого, начальника политотдела какого-то корпуса, что ли, но был убежден, что меня-то он не узнает. Звени я в каком-нибудь фронтовом ансамбле — политработник радостно зашевелился бы. Заветы Чеха жили во мне. Собака отлично видит, что кошка ей не враг, но мобилизует себя для атаки. Если ты плохо знаешь язык или жаргон — притворись, что у тебя физический изъян: прихрамывай, коси глазом, человек так устроен, что в комплексе хватает окружающее и вывернутой ногой объясняет акцент.

Кстати, я пробовал было отращивать усики — и произошло непредвиденное: в лице моем отчетливо проступили черты Лени Филатова, школьника и патриота, сопливого мальчишки.

И тянуло к оружию. Пальцы вздрагивали, мысленно охватывая рукоятку парабеллума, и я глубоко и радостно дышал. Дважды ходил я на «Динамо», предосторожности ради приглашая кого-либо из девушек. Уже больше года кантовался я у Вити, явственных признаков опасности не чуя, и даже когда во второй раз почти вплотную столкнулся с Инной — тревога во мне заиграла, конечно, но я не бросился к Вите, не исчез из Белокаменной.

Польза гастролей. — Недолго музыка играла. — Возвышение Круглова. — А Портос-то оказался умнее и дальновиднее нашего героя

Под вечер поезд замер на вокзале Ужгорода. Какое-то несогласование произошло с Киевом и Москвой, мест в гостиницах нам не нашлось, привезли нас, пятнадцать человек, в клуб, где утром мы дадим «левака»: по этой части — полное родство душ с местным руководством; на грузовике доставили нам матрацы и одеяла, и насчет съестного постарались, восемь кругов местной колбасы да три буханки хлеба. Притомившиеся лабухи повалились спать в фойе, под портретами передовиков, меня же потащило на свежий воздух.

Так и не заснул. Решил осторожненько проверить инструмент, пианино, притронулся к клавише и по звучанию понял: какой-то стилиста подложил под молоточки лист газетной бумаги. При игре создавался некий сумбур, весь оркестр будто бы ладно фальшивил, получалось внушительно, но минуты через три хотелось плюнуть да заткнуть уши.

Газету я извлек и на первом листе увидел Круглова.

Фотография — парадно-групповая, первомайская трибуна в центре города. На переднем плане, как положено, тузы: внушительные толстяки, еще какие-то чинуши, и — Круглов между вторым и третьим начальником, поодаль.

Надо бы порадоваться возвышению жулика и официального мародера Ивана Сергеевича Круглова. Однако земля под ногами моими не затрепетала, мне хорошо было у Вити, и я надеялся прокантоваться лабухом до середины мая 1948 года; верилось: приезд Вилли повернет мою жизнь в сторону от музыки. И вот что главное: объявился Круглов — объявится и Алеша, а там и Григорий Иванович встанет из могилы.

Из Ужгорода переехали в Минск, арендовали клуб на окраине, жили в общежитии неподалеку, однажды опоздал к началу репетиций, влетаю в фойе, дожевывая купленный по дороге пирожок, и встречает меня Витя — глаза встревоженно-виноватые, боль и страдание на лице, а в руках какие-то бумажки.

Я все понял. Получил расчет, паспорт мужа певички Вали, ненужную мне трудовую и все деньги, что выгреб Витя из своих необъятных карманов. Где сам муж — Витя не знал и обреченно махнул рукой, когда я спросил о вреде, который нанесет мне внезапно возникший супруг, но тот,

оказывается, поменял как-то хитроумно свою неблагозвучную фамилию на звонкую, артистическую, якобы потеряв паспорт.

Мы обнялись, мы оба расплакались, так тяжело далось обоим прощание.

Исчезнув из Минска, я скромненько отбыл в Кишинев. Уже через два часа узнал, где найти благодетеля своего. Командовал Круглов Управлением строительных работ (УСР-34), обнесся забором высотой с Калтыгина, ввел строжайшую дисциплину, на КПП — не мордовороты сержанты, а интеллигентного вида старшие лейтенанты, ибо объект — секретный. Полистали мой паспорт, вежливо осведомились, как обо мне доложить начальнику. Название имения, где половину библиотеки сожгли братья артиллеристы, ничего им не сказало, но один из них пошел, доложил, вернулся, на лице — все та же сухая военно-штабная почтительность.

Нет, не обрадовался он мне, маэстро Круглов, что-то кисленькое морщило губы; он вздыхал, думал: да, очень не вовремя возник я, очень...

Наконец его осенило. Была вызвана машинистка, каллиграфическим почерком она заполнила пропуск, фамилию списав с моего паспорта, еще какие-то удостоверительные документы, о сомнительности которых судить было трудно: за два года знакомые мне реквизиты не могли не измениться. Пока фотографировался и ждал карточки, получил первое задание: скупить, не торгуясь, на местном рынке облигации внутреннего займа последних лет и по возможности этого года. Дело в том, что сбежал бухгалтер с ними, поднимать шум не стали, вот и решено пойти на такой вариант. Работать осторожно, отличая истинных барыг и алкашей от милицейских сексотов. Необходимая сумма (почти четверть миллиона) была выдана безо всякой расписки. Как и ключи от квартиры на Фестивальной улице, туда и будет заглядывать ко мне начальник УСР-34.

Несколько странноватое задание, потому я съездил в Бендеры, где на шумном торжище встретил Федю Бица. Глаза его повели меня за собой, мы нашли тихий шалманчик, мы обнялись, живу, сказал он, мелкими заработками на рынке, он ведь наполовину молдаванин, это помогает. В моей просьбе (насчет облигаций) не услышал ничего особого, криминального или невыполнимого. Надо лишь скупать мелкими партиями, кое-что из купленного — продавать, так сойдешь за обычного спекулянта. Предосторожность весьма не лишняя, поскольку выданные Кругловым удостоверения и документы — откровенная липа. Город еще не очнулся от борьбы с националистами, МГБ шарит и шмонает. (Я решил на время забыть о своих десяти километрах по утрам: в ориентировке на меня

они уж точно значатся. Зато до самого вечера сидел в библиотеке).

А он, мятежный, не просит бури. — Прощай, Этери! — Проверка на лояльность. — Буриданов осел поет «манану»

Стих ураган, на развалинах разрушенного им города уже начинал зеленеть бурьян; я выбрался из-под обломков и грелся на солнцепеке, во мне была знакомая, но длящаяся всего сутки или чуть более досада: вылет отменен, погода в месте высадки наисквернейшая, парашюты на склад, рекомендуется сон и чтение воспитательной литературы.

Теперь сон и чтение — не на день и не на два.

Двухкомнатная квартира (мебель казенная) — на Фестивальной, деревья скрадывают шум, чувствуется запад, в углу приткнулся ликербар, женщина, приставленная квартиру убирать, оказалась соседкой, принесла виноград, ушла — и я ощутил прелесть безопасного одиночества, не помешало бы иметь под рукой хотя бы «вальтер».

Один! Один на всем белом свете. Когда еще найду Алешу, а свидеться с Григорием Ивановичем уже не придется. Этери, конечно, выйдет замуж, и ничто не дрогнет во мне — вот каким мерзавцем стал, вот в чем ужас. Даже словечка упрека не найдется, да и можно ли осуждать девушку, трижды получавшую похоронку на жениха, на меня то есть.

И мать умерла, в 1944-м. А я живой.

Кое-кто находит изысканную прелесть в одиночестве посреди толпы. Можно бы согласиться, но толпа движется, толкается, матерится, тащит тебя неизвестно куда.

Мое одиночество — вечерние часы в пустой квартире на Фестивальной. Сажу на диване, открыта бутылка вина (отхлебнется не более полстакана), ни шороха в комнате, зато из-за стен пробиваются человеческие голоса, звуковое сопровождение того бытия, в какое погружены соседи справа, слева, сверху. Кто-то мордует Моцарта, на шестой минуте убеждаясь в собственном бессилии. Ребенок всплакивает. Супруги бранятся. Это уже стало потребностью и наслаждением — сидеть в квартире, не зажигая света и слыша соседей. Из тумана выплывали клочки, в белесой пелене проступало нечто, позволяющее установить, где сейчас Чех.

Но возвращаться к старому не хотелось. Знал примерно, где ныне Костенецкий, Лукашин, Богатырев, но никакого желания видеть их не испытывал.

Я разматывал катушку воспоминаний и раздражался, находя обрывы нитки, связывал узелочки, чтоб продлить путешествие вглубь времени... (Кстати, не в пустыне жил Чех, общался со многими людьми. Один из инструкторов рассказал мне удивительную историю. В 1936 году вся Франция знала о поезде № 77 Париж — Перпиньян, он увозил в Испанию интербригадовцев, и все они попадали под око властей. Зная это, Чех с поезда спрыгнул, границу перешел без проводника, пропадал целый месяц и нашелся в доме колдуньи, которая пичкала его своими космическими знаниями и наркотиками.)

Эти погружения в прошлое открыли мне многое в немце Вилли, «который не Бредель». Он одинаково ненавидел и фашизм, и коммунизм, и конечно же — он и есть тот «преданный советскому командованию товарищ», который давал нам сигналы смятыми пачками сигарет. А майора с портфелем решил-таки уберечь от русских.

Нет, доверять ему — опасно. А день встречи приближался, до 18 мая не так уж далеко.

Однажды меня — я выходил из библиотеки — робко окликнула некая женщина, в полутьме не разберешь, кто такая. Остановился. Она подошла. Фонарь неподалеку светил, женщине по виду лет тридцать пять, портфель, грубоватая юбка, какой-то жакет, прически никакой. Сказала не без смущения: ей нужен мужчина, она истосковалась, всю войну без них, а занимает такой пост в городе, что спутайся с кем-нибудь — пересуды пойдут волнами. А врач — настаивает, все странности ее психики — от женского одиночества, уже и мужеподобные черты в облике появились... Глаза — умоляющие, страдающие, насмехающиеся над собой, и плечи вздрагивающие. Так стало жалко ее! А была суббота, ей некуда спешить, мне тоже, я сутками позже, на своем диване, воздал хвалу себе за верно выбранный стиль поведения и одежды. Скромный чистый парнишка, не таящий зла на людей и власть, к такому милиционер не прицепится, такому доверится советская служащая.

Чех однажды высмеял Алешины рассуждения о воле, свободе, осознанной необходимости. Чех привел в пример вековую загадку, трагедию буриданова осла, подыхающего с голоду при недостатке пищи. Осел страдал свободой выбора. Перед ним — две связки сена (два одинаковых диска к автомату?!), осел умирает, поскольку не может отдать предпочтения ни одной связке, ибо мучительно гадает: какая связка лучше? Вырвешь клочок из правой — совершишь ошибку, в левой-то сена уже больше! Потянешься к левой — связки уравниваются, вновь провоцируя проблему. Здесь, уверял Чех, загадка мироздания, и никто не решается

приступать к ней. Свобода — это прежде всего возможность выбора, и никакой свободы нет, потому что любой выбор — бессмыслица, и если одна охапка сена больше отвергнутой, это уже следствие чего-то или кого-то, внешней силы...

Люди живут просто так! И я живу как придется. Почему-то не стал музыкантом, архитектором, писателем, строителем, шофером. Мой жизненный путь предопределен. Двадцать один год уже, а все один-единешенек, уж не жениться ли на какой-либо студентке, тем самым привязав судьбу свою к рулю, которым правит пока еще незнакомая девушка?

Как жить? Что делать?.. Ни у кого спрашивать не надо, в этом было что-то сладостное.

До апреля 1948 года жил я так безвольно, безропотно, тихо, — я жил читающе. Надо бы употребить слово «рефлексия», но я так и не понял до сих пор, что оно означает. И не терял надежды, что однажды во мне возникнет строчка, удивительная по простоте и ясности, к ней не может не подцепиться такая же — и потечет сказовый речитатив. Наверное, я постарел, потому что все чаще вспоминалось детство; я находил много несуразностей в сталинградской жизни и начинал подозревать: не от болезни умер отец и не по своей воле мать подалась в Грузию.

Все тайное становится явным. — Варвары готовятся к штурму Рима

К пропуску Круглов добавил среди прочих еще один документ, сделав меня своим заместителем по общим вопросам. Для самоидентификации, что ли, покатался по командировкам. Управление работало без натуги, но добротнo, при ремонте шахтного оборудования консультантом был московский профессор. Везде строжайший воинский порядок. Партийная организация. Профсоюзная. Собрания по разным поводам. Все честь по чести, но что-то мне не нравилось...

Думая о внешних силах, о судьбе, о мойре, не мог я не присмотреться к маэстро Круглову. Дурачок Портос за время скитаний поднабрался уму-разуму и заметил много странного в кругловской епархии (я ему подыскал работу в УСР). Да и я кое-что зацепил своим глазом. Ну, виданное ли это дело, чтоб на КПП жарились старшие лейтенанты? Игра на публику. И — облигации. Государственное учреждение, тем более воинское подразделение — от государства же и кормится. УСР собралo по подписке на заем столько-то — и должно получить через банк облигации на эту сумму. Сбежал бухгалтер — заводи уголовное дело. С лупой изучив все печати на так называемых «внутренних» документах УСР-34, я без особого труда определил: фальшивки! Видел издали штатного начальника контрразведки — нет, такого ни одна армия не стала бы содержать: криклив, два пистолета на ремне, полупьян, хотя самого Круглова — боится.

Что-то здесь не то, и Федя это чуёт, встречаемся мы с ним так, будто в городе немцы, а мы — партизанские связные.

Получку мне приносила раз в месяц женщина-соседка, ей же я отдавал докладные записки Круглову (с непременным условием: по прочтении — сжечь!). Писал чепуху. О том, что понятно обоим, ни слова, только вскользь, да и этого достаточно. УСР-34 гремело на всю республику и многие области, передовым опытом заинтересоваться бы Москве, но из столицы — ни одной комиссии, что укрепляло меня в подозрениях. Не было и случая, чтоб какой-нибудь главк или областной отдел выразил недовольство работой Круглова. А тот мрачнел с каждым днем, стал попивать. Что подвластное ему управление — отлично работающая фикция, что все документы — подложные, он уже не скрывал от меня, лишь однажды с горечью вымолвил:

— Хоть бы одно государственное предприятие работало так, как я... Ни одной рекламации, ни одной жалобы...

Он открыл счет в банке, лопатой греб деньги оттуда, но и возвращал с избытком. И люди у него ходили сытыми и все при деле.

Я же, нравственно падая, рассадил своих Любарок по всему городу, они-то и донесли мне сведения чрезвычайной важности. Желая во всем походить на госучреждение, Круглов вознамерился награждать путевками на юг своих сотрудников и скупил у ворюги профорга одного завода эти самые путевки. Поднялся было скандал — а потом наступило затишье.

Но к УСР-34 уже подкатывались морские волны, и никакой забор не встанет перед ними дамбою.

В общежитии техникума легкой промышленности готовились к наплыву детей, решено было открыть в мае летний городской пионерский лагерь. Но неожиданно на пустующих койках разлеглись парни военно-физкультурного вида. Спортобщество «Динамо» приняло на свое попечение сельских силачей, почему-то прибывших из глубинки не на подводах, а в девяти купе московского поезда. Что оружие у них есть или в скором времени будет — сомнений не было, кого-то сильно напугали автоматы ППС на КПП. У страха глаза велики. На все УСР-34 — 29 стволов, только для караульно-дежурной службы. Страх передался всем, проник через забор. «Пора», — написал я на клочке бумаги и отправил послание Круглову. «Куда?» — ответил он так же лаконично на мое предложение удариться в бега.

Вопрос этот тревожил и меня своей безысходностью и безответностью.

Со слов Феди штурм «антисоветского воинского формирования» начнется со дня на день, ждут подкрепления из Львова, поэтому я исчез, не заходя на Фестивальную. Да и вычислил я уже, где найти Алешу, если тот жив.

Жили два друга в нашем полку, пой песню, пой... — Мчаться в Англию за подвесками королевы. — «Нет лучшего места для встреч мушкетеров, чем известный кардиналу ресторан „Шестигранник“»

Под крышей Курбатовки нашли деловое пристанище десятки районных контор, Артамон Бобриков сплунул бы, увидев милицейский пост в лакейской. Кладбище — в километре, все сучьби на семейном древе мне известны, удивления не вызывало то, что на скромном камешке неумелый и пьяный резец выдолбил «Халаичев Николай Федорович», на большее не хватило, под фамилией — даты смерти и рождения несмываемой краской, сей гражданин прославился хваткой и дальноточностью. В октябре 1917 года быстрехонько перекрасился в большевика, еще быстрее сообразил, что болтун и бездельник Лева Троцкий — обладатель третьего уха, человек, умевший в ультразвуковой полосе улавливать невысказанные подлости масс. С Левой этим он отправился в Брест-Литовск, своевременно узнал, что Москва обязуется золотом оплатить все финансовые обязательства (займы и прочее) царя, моментально скупил за бесценок на полмиллиарда грошовых векселей и облигаций, на чем был пойман самими немцами, по устному приказу Ленина расстрелян на плацу перед Петропавловским собором и брошен в яму. Племянник спекулянта выкупил тело и перевез его в урочище мертвых Бобриков. К счастью, строительства какого-либо комбината под Курбатовкой не намечалось, посему и кладбище сохранилось.

В этой-то милицейской комнате я и нашел Алешу. С ним за столом сидел сержант со значком отличника. Оба уже были в средней степени подпития.

— А вот и он, — сказал Алеша, меня увидев. — Водку на стол!

У сержанта нашлись какие-то дела, с глубоким вздохом разочарования он выдернул из милицейской сумки бутылку, вслед ему донеслось:

— Ключ на том же месте, мы рыбачить пойдем.

Так и произошла встреча. Расстались мы на Ляйпцигерштрассе, было это 11 мая 1945 года. А 27 мая Костенецкий показал мне серый холмик за проволокой; сегодня же — 8 мая 1948-го. И ничего не осталось от прежнего прибалтийского Алеши, он даже не рад был встрече, какую-то мелодию высвистал с разочарованием и насмешкой.

— Калтыгин... — начал было я, а он махнул рукой — знаю, мол.

— Опять в бегах?

— Свободный человек. Вольноотпущенник.

И такое случалось, как я слышал, такое и произошло. Сперва ему дали пятнадцать лет, потом отправили на шахту, где он сработал справку о полной инвалидности, а затем его сактировали, как это бывало с теми, кому лагерные врачи прочили смерть в ближайшие два-три месяца.

В 1941 году он был старше меня по крайней мере на три года. Сейчас ему, по прошествии семи лет, можно было дать тридцать пять. Пропали ужимочки, лицо разучилось корчиться, с походкой что-то не то и не так: то ли нога припадает, то ли со зрением что... Но самое страшное — руки! Пальцы были скрючены и вывернуты, не сделать уже Алеше ни одной печати, не подделать подпись.

Заметив мой взгляд, он отрицательно мотнул седенькой головой:

— Не беспокойся. Сумею.

Горько, горько спрашивать! Еще горше говорить о себе, не стало общих тайн, двумя девицами на Ляйпцигерштрассе завершилась наша война с Гитлером, немцами и начальством, в остатке — повзрослевший зугдидский школьник и постаревший бродяга. Выслушав меня (ни одного из живущих не упомянул я), он раскошелится на угрюмое признание:

— А ты — везунчик, потому что до сих пор глуп... Покажи ксиву.

Она ему не понравилась. Он задокументировал меня капитально, я вошел в семейство Бобриковых, имея при себе паспорт и прочие довески на отдаленного потомка Артамона, человека моих лет, не так давно захороненного; из особого изыска дворянский сын Алексей Бобриков повел меня на мою собственную могилу, где поменял фирменные, так сказать, приметы.

Совсем немного оставалось до встречи с Вилли, а я так и не решался рассказать Алеше о ней; прошли те времена, когда хвастливый школярский язык молот отсебятину. Да и времени уединиться, настроиться на наисерьезнейший лад — не было. Непоправимая беда случилась с Алешей. Его, конечно, били, но не со сладострастием, как я, принимал он удары, что и отразилось в языке и на теле. Ни разу не услышал я от него традиционное: «...а вот когда я был у Хозяина...» А били его по-научному — ни единого следа побоев снаружи, кроме скрюченных пальцев, а уж что внутри, под телесной оболочкой... Что-то там бушевало, что-то прорывалось, а мне показалось было, что вся его страсть усохла на Ляйпцигерштрассе. Мы с Витей кочевали по Руси, но не в полете ощущал я себя, а сидящим перед пианино. И к Фестивальной начинал привыкать. Может, остановиться надолго в этой сельской благодати?

А время подпирало. Трижды я побывал в Москве, пообтерся в толпе, поймал кое-какие местные словечки, впервые увидел шахматную ленту по бортику такси. В назначенное время (с соблюдением всех правил конспирации, то есть и не пытаюсь их соблюсти, иначе на мне задержался бы недобрый глаз) подходил к ресторану «Динамо». Не помню уж, какая погода была в этот день, мне казалось тогда, что вскоре свистнет судья и начнется игра; отчетливо помню теннисные корты и тренировку волейболистов: так хотелось поразмяться мускулами, попрыгать. В Курбатовке я уходил с утра в лес, чтоб поиграть в какую-то китайскую игру, которой меня научил Чех, а потом бегал.

Нет, не пошел я в ресторан. Был еще резервный день встречи — на тот случай, если кто-либо — я или Вилли — опоздает. Я же так думал: если я ему истинно нужен, то потерпит пару дней.

20 мая показался я в ресторане, и вскоре ко мне подсел человек, правильно сказавший единственно верные слова. Он привез письмо от Вилли, которое передаст мне — но не сейчас, а там, где мне удобно. Я предложил «Шестигранник», сегодня, через три часа; посланец от Вилли был москвичом и местные порядки знал. В войну он работал с пленными немецкими офицерами, сколачивал какие-то союзы по возвращению и возрождению, там и Вилли обретался одно время. Благочестивый антифашистский энтузиазм, каким полон был этот москвич, не желал признавать конспирации в стране социализма.

«Шестигранник», напомним, — ресторан с танцплощадкой в Парке Горького. Через три часа посланец вручил мне плотный пакет, пригласил на танец какую-то девицу, а я удалился в туалет, чтобы вскрыть пакет.

«Если б ты знал, дорогой мой мальчик, — писал Вилли, — как рад я тому, что ты жив! И я горюю, потому что знаю о судьбе твоего командира и твоего друга, но последний, мне кажется, уже не в неволе... Тебе повезло, но хочу напомнить: тем, кто расправился с твоими друзьями, никогда не надоест ловить тебя. Тот человек, которого будто бы выменяли, уже — по слухам — за океаном, ему изменили, говорят, внешность. По разным каналам узнал я, что невеста твоя вышла замуж, с отличием кончила Тбилисский университет и родила девочку. Я же устроился в этой жизни неплохо, живу в Кёльне, член одной (не коммунистической!) партии, через год Западная Германия (уж поверь мне!) обретет государственную самостоятельность, и мое положение еще больше укрепитя. А вот как жить тебе? И долго ты намерен бегать по родной России, вздрагивая от каждого шороха? Ты каким-нибудь стоящим делом думаешь заняться? Не писательством, конечно: пациенты психбольницы станут гордо тыкать в

тебя пальцем... Пойми, мой мальчик, советская власть вечна и неистребима. Жить тебе вольно никто не даст... Исход? Серая жизнь, заботы о хлебе насущном, причем хлеб — это та самая буханка, за которой надо стоять в очереди. Счастье первой любви? Да любить-то ты уже не в состоянии, для тебя женщина — это прежде всего агентесса. Я предлагаю другой вариант. Германию. Не советскую зону оккупации, а Западную. Передай Алеше, если встретишь: родственники его во Франции и Голландии — живы, здоровы и нищи, племянника двоюродного или троюродного они на время приютят, конечно, но не более... У меня есть для тебя и Алеши очень заманчивое предложение. Очень. Германия только налаживает быт. В Кёльне на Шильдергатте девочки идут за пачку хороших сигарет. Так я вас обоих, тебя и Алешу, избавлю по прибытии в Кёльн от денежных тягот. Двести тысяч долларов кое-кто даст вам каждому, но денежки эти надо отработать, это очень, очень большие деньги, Леня. На толкучке в Германии единица измерения — сигарета, стоит она 12 марок, пачка американских сигарет — 250 марок, буханка хлеба — 80, бутылка дурной водки — 300, пара ботинок — 2 тысячи марок, мужской костюм — 5000. А доллар — это двести марок!..»

В пакете были наши деньги, послереформенные, 100 тысяч, разные карты, фотографии, инструкции, то есть все то, что поможет мне (и Алеше, возможно) заработать эти 200 тысяч долларов, помноженные на два.

Разорвав письмо, я спустил его в унитаз. Голова у меня пошла кругом. Мне (или нам) предлагалось, короче, вернуть королеве бриллиантовые подвески, выцарапав их у герцога Бекингемского. Но вся пылкость Дюма, все его фантазии увяли бы до унылой тягомотины, услышь он то, что предстояло делать Алеше и мне. У Дюма, помнится, до Англии добрался только один д'Артаньян, трех его друзей и соратников убрали с пути. А нас — только двое. Кто-то ляжет костями, если не оба. Но — я прикидывал так и эдак — просьба осуществима, и Алеша не такой уж малахольный, каким кажется. И он очень гордый человек, он не повиснет на шее кисельных родичей Бобриковых, ему нужны деньги, большие деньги, а 200 тысяч долларов в нынешнее время — достояние и состояние. Он щедр и жаден, своего он не упустит. И — вот что страшило! — ничего русского, курбатовского в Алексее Петровиче Бобрикове не оставалось. Побой сделали его интернационалистом.

А я становился дельцом, что-то переняв у Круглова.

Запахло порохом, и два мушкетера принимают боевую стойку. — Рамочное соглашение на берегу курбатовского пруда. — Оружие! Оружие!

Неделя давалась нам на размышление, в конце месяца москвич возвратится в Берлин и передаст Вилли наш отказ или согласие. Но я-то и не собирался думать. Алеша вяжется в эту никчемную авантюру, тогда придется и мне впрягаться, только вдвоем осилим мы то, что даст нам вроде бы свободу и деньги. На конюшне, где некогда пороли крепостных, нашел я Алексея Бобрикова. Он слушал, жуя травинку, время от времени поднося к носу пересушенный клевер и наслаждаясь ароматом трав, по которым ступала нога Артамона.

— Родственнички... — прошипел он, подтверждая мою догадку о том, что, пока я любовался красотами архитектуры, Алеша наскоком побывал во Франции, Нидерландах и рейнских землях Германии — и везде родичи принимали его за агента НКВД, им это было выгодно, никому Алеша не был нужен, да и старые семейные распри задымились. Наконец (это была моя догадка), кое у кого из Бобриковых в загашнике лежали деньги, в войну спрятанные, но как только появится в Германии своя, крепкая и на долгие времена, валюта — ценности из-под огородного куста переместятся в банк, а на часть их может претендовать Алеша, у которого кое-какие свидетельства принадлежности к фамилии должны быть (так безошибочно полагали сородичи).

Затем он продолжал:

— Когда-то преданные роялисты пытались вывезти Людовика Шестнадцатого из Парижа в Голландию, чем это кончилось — ты знаешь... Кто осведомлен о том, что писал Вилли?

Осведомлены многие, вот что настораживало, потому я и совершил дополнительный вояж в Москву, к посланцу от Вилли, который хорошо знал комбинат, скупой описанный в присланных бумагах. Поспешил в Курбатовку, у пруда нашел Алешу. Было жарко, крупные рыбины хвостами колотили по ряби от прилетавшего ветерочка. Идиллия. Пересказал все услышанное.

— Кроме нас, никто больше в СССР такого не сделает. Чех неизвестно где, пока найдем его — время упустим. Ты прав, надо спешить. Хотя... много, слишком много странностей в этой операции.

Даже чересчур много — находил я, ибо ставилось еще и условие:

полная бескровность, более того — никого из погони, если она настигнет нас, пальчиком не коснуться!

А у меня зудели руки, глаза неподвижно замирали на каком-нибудь предмете.

Я хотел стрелять! Я хотел мысль свою облечь в изящную форму быстролетящего меткого афоризма. Она должна пробить стену заскорузлого невежества и поразить цель. Я должен еще насладиться первыми судорогами неверующего, торжествующая мысль либо фонтанчиком взметнет кровь, либо многопудовой тяжестью подкосит коленки того, кто вздумал оспаривать меня.

И руки зудели. Когда я зашел в свою комнатенку, то насчитал по крайней мере четырнадцать предметов (бытового назначения), с помощью которых можно отразить атаку взвода автоматчиков.

Вилли есть Вилли, преданность и предательство. — Наследие великого Наполеона. — Благородной миссии канализационного люка не суждено сбыться

А потомок славного семейства Бобриковых рвался в бой, на все согласный, лишь бы приблизить Кёльн. Уже при первой встрече здесь, в Курбатовке, дохнуло на меня от Алеши ветром странствий и головокружительных взлетов на гребни волн. Он не желал умирать в родовом имении, он вообще хотел жить, но не так, как раньше. Он рвался — туда, в Европу, и спасательным кругом оказалось послание от Вилли. Ему опротивела эта жизнь. Законными ключами открыл он школу, принес оттуда карту Свердловской области. Правда, в странствиях своих по России Алеша страну свою знал не хуже Максима Горького.

План разработался вчерне, детали прибавит быстротекущее время.

Главное — ввязаться в драку! А там видно будет.

С этой наполеоновской фразой мы три месяца мотались по Руси, строя опорные пункты, подпольные хранилища пищи и одежды.

А меня по-прежнему угнетала собственная безоружность. Вернее, при мне было оружие — я сам. Но сколько ни убеждал я себя, какие бы слова Чеха о вреде материально-технического орудия смерти ни вспоминались, рука моя тосковала, глаз невольно прищуривался, тело напрягалось, как при отдаче автомата после выстрела, рука мысленно выхватывала парабеллум, этот самый краткий и самый убедительный философский словарь.

Вилли предлагал нам похитить двух «томящихся» в советском плену немецких офицеров, протащить их, русского языка не знающих, через половину страны — от Свердловска до Новороссийска — и там (адрес указывался) встретиться с теми, кто обеспечит нам безопасное путешествие до Афин, где нас ожидают четыре бразильских паспорта.

Офицеров, которые «томились», звали так: Томас Рудник и Гюнтер Шайдеман... 3 октября сего 1948 года они влезут в канализационный люк на территории комбината, проползут (схема прилагалась) пятьсот метров и окажутся у перерезанного нами проволочного ограждения. Затем мы их переодеваем, везем на заранее снятую квартиру в Свердловске, а там уж разными путями — в Новороссийск. Рудник и Шайдеман — сыновья очень, очень состоятельных мамаш и папаш, которые денег не пожалеют за

спасение чад, ибо все законные пути их возвращения в лоно семей — отрезаны. Это союзникам надоело кормить плененных ими немцев, они попридержали эсэсовцев, а всех прочих распустили по домам. В СССР все пленные из вермахта, не говоря уж про СС или СД, признаны военными преступниками и будут отбывать свои сроки до неопределенного времени.

Весь Вилли был в этом плане вызволения соотечественников из неволи. Тот Вилли, который смятыми пачками сигарет указывал нам, когда штабной автобус повезет связника с портфелем, и который связника из автобуса заблаговременно высадил, снабдив портфель неработающим взрывающим устройством. Тот Вилли, который 10 тысяч английских фунтов подменил поддельными. Тот Вилли...

Нет, не поверили мы картам, схемам и расчетам.

Не поверили. Потому что вытащить обоих офицеров из лагеря и отправить их в Гамбург можно было просто — неофициально, конечно, — двумя-тремя телефонными звонками и за какие-то 300–400 долларов, если не меньше. Дело в том, что — по рассказу московского инженера — тот комбинат, куда по утрам доставляли военнопленных из лагеря, целиком находился в руках немецких специалистов и немецкой администрации, давно подкупившей и директора комбината, и начальника лагеря, и всех заместителей обоих. Каждые два-три месяца комбинат отправлял в Германию немецких специалистов за пополнением цехового оборудования, и те под видом станков и аппаратуры обогащали комбинат охотничьими ружьями, автомобилями, радиоприемниками, роялями и пианино, гобеленами и мебелью, а руководству все было мало. Стенгазеты фашистского толка вывешивали немцы — парторганизация комбината молчала. Рудник и Шайдеман давно бы не жили в лоне семьи, обмененные на два «мерседеса», не виси на них какой-то грешок, и весь план спасения их смахивает на провокацию. Либо нас, меня и Алешу, хотят прихватить на месте преступления, либо не накопили на немцев достаточного материала для более сурового приговора.

Опознание среди дюн под крики чаек. — Он или не он?.. — Рукопожатие покойников не состоялось

Много лет спустя после военного совета в Курбатовке вознамерился я прокатиться по Прибалтике в самое удобное для путешественника время — осенью и везде находил клочок берега, с которого волнующе смотрится закат солнца, и находил номер в гостинице, но в Клайпеде попал впросак, не учел, здесь крупный порт все-таки, база торгового и рыбацкого флота. Для моряков возведена гостиница «Неринга», рыбаки в ресторане поднимают тосты за треску и сельдь. Отель «Виктория» набит клопами, в самом центре только что распахнул двери наисовременнейший приют для лиц с особыми правами и полномочиями, то есть VIP, говоря по-нынешнему. Еще какая-то гостиница (для точности — «Памарис»), прельщавшая тишиной и зеленью, которой обросли стены, прикрыв окна от октябрьского солнца. Здесь с улыбкой отказали. (Я ведь неспроста останавливаюсь на этих ничего не значащих деталях, плюнул бы на клопов в «Виктории» — и не произошла бы встреча, о которой речь пойдет.) Хотел было уже садиться в автобус до Паланги, но задержался на центральной улице у неприметного дома. С балкона его, так сказал мне случайный прохожий, в 1934 году выступал Гитлер, Клайпеда с тех пор стала называться Мемелем.

Но тот же прохожий указал верную дорогу к пристанищу у самого берега.

За десять копеек паром доставил меня на Куршскую косу, и еще с борта его увиделось трехэтажное здание туристической гостиницы. Да, пожалуйста, номер к вашим услугам, паспорт — и «заполните этот бланк». Заполнил: цель приезда — отдых, время пребывания в гостинице — неделя, семь суток.

Паспорт упрятался в стол, а бланк заставили переписать — на сутки, всего на сутки, таковы правила, здесь — погранзона. Дадут пограничники к завтрашнему вечеру разрешение — отдыхайте хоть месяц.

Только утром смог я оценить прелести этого заведения, где даже из закрытого до полудня кафе утром принесли мне кофе и булочки. К столовой привела свое полосатое семейство кабаниха, всех подкормили добрые литовские женщины. Благородный лось поглядывал на гостиницу с пригорка, среди сосен. Сама Куршская коса — рядом, доплунуть можно,

Балтийское море подальше, вечером широкая дорога привела меня к унесенным на зиму пляжным кабинкам, все киоски уже заколочены, белый песок от вымывания водой укреплен сооружением, напоминающим плетень. Спустился к морю и побрел вдоль бело-грязной полосы тихого прибоя. Разбитые ящики, связки водорослей — море выбрасывало на берег то, что не могло поглотить в глубине своей.

Рыжий и ржавый шар дневного светила выплыл из дымки, готовясь к медленному погружению. Это был святой для меня миг, приобщение к чему-то космическому, и судьба благоволила мне, сведя число зрителей до единицы. До меня то есть. Никого более на берегу. И по дороге сюда никто мне не встретился и никто не следовал моим маршрутом.

Я стоял, ожидая мига. Справа — уходящая на север гряда дюн, громадный валун, слева, в полукилометре, — спасстанция, бездействующая, надо полагать, купальный сезон давно кончился. Чуть далее к югу, на мысе — маяк.

Полное безлюдье. Можно с удобствами расположиться в первом ряду партера, не интересуясь, какое кресло принадлежит тебе по праву.

Никого.

И тут я заметил, как от спасстанции отделилась точка, ставшая через минуту-две человеком, и человек этот шел вдоль берега, направляясь ко мне. Удивила меня походка. Человек не празднично проводил время, человек шел не созерцательным шагом отдыхающего бездельника, а упруго, не глядя под ноги, не интересуясь ошметками моря.

Человек направлялся ко мне, не делая ни малейших попыток каким-либо образом оповестить о себе, показать жестом, что именно я ему нужен и что поэтому не следует мне уходить с того места, на котором стою.

Но что поражало — одежда! Человек — по мере приближения его — рассматривался мною (боковым зрением, не скашивая глаз); на пустынном пляже, в двух километрах от человеческого жилья был он — как нудист на центральной улице города. То есть совсем наоборот: одет он был под спешащего на прием западноевропейского богача. Темно-синий костюм в полоску, белая рубашка, красный галстук (я рассмотрел даже рубиновые запонки и галстучную булавку), черные полуботинки.

Когда ему оставалось до меня метров тридцать, я узнал его.

Это был Гюнтер Шайдеман, убитый мною много лет назад, в октябре 1948 года. Метил я в левое подглазье, туда и попал, проверять же точность выстрела еще одним, дополнительным не пристало диверсанту, потому что женщина не может на одной неделе дважды забеременеть. Я как стоял — так и продолжал стоять, заставив Гюнтера Шайдемана замочить черные

полуботинки в пене прибоа.

А солнце как раз коснулось дымного горизонта и стало нехотя покидать освещаемый мир. Гюнтер Шайдеман дошел до валуна и повернул обратно. Я отступил на шаг, вежливо позволяя покойнику сохранить ноги сухими. Глянул ему вслед и мысленно измерил отпечаток полуботинок на песке. 42-й размер, все совпадает.

Он еще не дошел до спасстанции, а я пожелал солнцу вернуться к нам завтра, хотя бы с другой стороны, и через дюны пошел к дороге. Минут через пять меня догнал грузовичок: за рулем ефрейтор, пограничник, справа от него — капитан тех же бдительных войск. Кузов крытый, сзади — тент, и не по чьему-то злому или доброму умыслу ветер отпахнул тент, и я увидел Гюнтера Шайдемана. Он — в наручниках — сидел на задней скамейке, справа и слева сжатый офицерами.

Они не на паром спешили, грузовичок свернет сейчас вправо и покатит к Калининграду, Гюнтера надо привезти туда, куда его доставили самолетом. Значит, о моем присутствии пограничники узнали к концу предыдущих суток, все данные обо мне прокатали через свои архивы, на это ушло время, но его хватило, чтоб посреди улицы, где-нибудь в ГДР, схватить Гюнтера, сунуть в самолет до Калининграда, посадить в машину и пригнать ее к маяку (да, да, там же остановился пограннаряд; у них и времени не было переодеть Гюнтера; в Лиепае они сразу после заката боронили побережье, создавая как бы контрольно-следовую полосу, но здесь я не заметил следов ее).

Он не узнал меня... Или узнал, но виду не подал. А кого, вообще говоря, опознавать надо? По всем архивным данным я четырежды убит, дважды застрелен при попытке к бегству и несчетное число раз пропадал без вести. В октябре 1948 года никто иной, как я, идя вдоль борта сухогруза, выстрелил в Шайдемана из ТТ, не вынимая пистолета из кармана плаща, и собственными глазами видел, как он, уже поднимавшийся по трапу, повалился на поручни, а лицо заливается кровью.

Ну а сейчас он смотрится на загляденье хорошо, а старше меня лет на пять.

Рукопожатие покойников не состоялось. Вполне возможно, что тогда в Новороссийске я стрелял в подделанного под Шайдемана человека.

В гостинице я заполнил другой бланк, с более длительным сроком пребывания в этом чудном месте... Пограничники не сочли меня вредоносной личностью, полторы недели ходил любоваться закатом.

«Мы, немцы, никого не боимся, кроме Бога, которого тоже не боимся!» — Вот они: Томас Рудник и Гюнтер Шайдеман

Немчиков этих я сразу узнал и глазами показал Алеше: вот они, те самые. Он сжал мою руку в знак того, что — замечано, схвачено, от нас не уйдут!

Впервые увидев Гюнтера, я безошибочно определил: сильный, ловкий, давно бы и сам убежал, да язык, по-русски — не то что говорить, но и московское радио, вещавшее по-немецки, презирал. Погоны, звание, кресты — это ему, как и всем офицерам, сохранили, в бараке он командовал дюжиной солдат. Привезенная на комбинат дюжина эта, как и многие другие, называлась уже бригадой. Но Гюнтер от бригадирства отказался. Около него вился человечешка, очень милый, настоящий Михель в немецком понимании этого имени, добрый, чуть рыжеватый, близорукий — Томас Рудник; были они из одного города, но после гимназии не встречались, война соединила их.

Узкоколейку провести бы от комбината к железнодорожной станции, а не гонять продукцию (два цеха делали диваны, стулья, столы и шкафы) на «ЗИСах»; хорошо увязанные стулья и столы еще сохраняли товарный вид, все прочее — растрескивалось на безобразных дорогах. Шоферня материлась, у проходной объявления: «На временную работу требуются...» — и это-то при семи тысячах пленных! Меня (шофера) и Алешу (экспедитора) приняли, даже не глянув в трудовые, и за неделю мы присмотрелись к порядкам в цехах, оценили издевательскую песню «Wir sind Moorsoldaten...», которую вслед за Гюнтером затягивали некоторые стойкие антисоветского толка пленные (песню эту сочинил, кажется, Вилли Бредель, пели ее антифашисты в немецких концлагерях).

В пятницу получили наряд на доставку в Свердловск четырнадцати шифоньеров (так здесь называли шкафы). Подогнали свой «зисок» к эстакаде, Алеша прошелся вдоль работяг немецкого происхождения, взял с собой Шайдемана и Рудника: «Нечего бездельничать, скоты, шкафы не закреплены...» Те полезли выравнивать шифоньеры да подтягивать тент: наклевывался дождь. В одном из шкафов мы их и закрыли и вывезли через ворота комбината. На 23-м километре помогли им обрести на земле дыхание, обоих мутило от ядовитого лака, каким пропитывалась мебель. Прогнали их через ручей и сунули в старую, но подготовленную нами

землянку; сидеть приказали, не высовываться, ждать до ночи.

Умыкнули мы их сразу после обеда, хватиться беглецов могут только к ужину, а то и позже, всегда найдется остряк, который объяснит отсутствие углубленным изучением основ марксизма («ленинизм» как термин у них почему-то не прививался).

Ждать им пришлось до ночи, нам долго оформляли расчет, да и добраться до землянки времени стоило.

Оба вопросительно глянули на нас, принесших еду и водку.

— Куда нас везете?

— К папашам и мамашам. Строжайшее соблюдение дисциплины. Здесь вам не лагерь, здесь расстрел за неповиновение.

Die erste Kolonne marschiert... — Hände hoch! = 500 граммов хлеба. — Что делать? Что делать?

Итак, впереди еще сотни и сотни километров, и не прямая дорога проложена к Новороссийску, нам не помашут приветливо ручкой улыбающиеся милиционеры. По всем дорогам и станциям рассыпаны спецгруппы, имеющие на руках и фотографии беглецов, и особые приметы их, и, кто знает, целую фототеку на Филатова и Бобрикова.

Так нам представлялось, из этого исходили.

Тому, что мы говорили по-ихнему, Шайдемана и Рудника не удивляло, и вот вам психологический казус: знали ведь, что понимаем мы их, и тем не менее такие гадости выкладывали о себе, такие мерзости! Впервые они встретились в запасном полку, было это в конце 1942-го, на Сталинград их не бросили, околачивались под Брянском, пока в 1944-м не попали в плен. И такая тонкость: Рудник добровольно сдался в плен, сочтя поднятие рук актом спасения не столько себя, сколько всей Германии. Шайдеман же ранен был в обе руки, придать им вертикальное положение не смог и, следовательно, сражался до конца, пленила же его девушка, санинструктор Маша. В полку они не очень уж ладили, нейтрально как-то поглядывали друг на друга, будучи в АПП (это — армейский пересыльный пункт), но попали в лагерь — и стали врагами, потому что Рудник получал на сто граммов хлеба больше, такова была цена поднятия рук. Думаю, что-то более глубокое и острое разделяло их, чего они не понимали и понимать не хотели. Женщина? Сомневаюсь. Вражда семейств? Монтекки и Капулетти? Но до войны они семьями не общались. И не уйдешь от подозрения, что какая-нибудь сущая мелочь могла сыграть предательскую роль, русский плюнул бы на эту чепуховину — и своей дорогой в пивную или к бабе. Хотя... большевики и меньшевики — арбузную корку не могли поделить.

Но так или иначе — сидели в разных углах землянки, с вежливым презрением посматривая друг на друга. Дальше — хуже. Вилли дал нам негодные сведения о физических данных немчиков. Купленная на них одежда ни росту, ни полноте их не соответствовала. Брюки и рубашки одинаковые, как из сиротского дома, — мы одно время хотели выдавать их за глухонемых, перевозимых из дома инвалидов общего, так сказать, назначения, в специализированную клинику, которая вообще не существовала, но Алеша, в Курбатовке сжигая недосожженное, напоролся

на труды какого-то Выготского и нашел там ссылку на оную клинику. Ну и ватники: октябрь уже. Тоже одного размера и чересчур новенькие.

Понимала немчура, однако, что подчиняться нам бог велит, тем более, что бог оказывал нам знаки уважения, бог подарил нам два мотоцикла (мы их заранее припрятали и замаскировали). В двух километрах — пересечение дорог, на ту, что ведет к югу, выбираться надо ночью. Но Алеша днем покатыл один, на разведку, вернулся в сильном смущении.

Никто не искал немцев! Тем более нас. Разожгли костер, с пяти метров не видный. Немцев накормили и уложили спать. Через два часа их подняли, дали примерить шлемы, выкатили мотоциклы на дорогу, оба — я и Алеша — переоделись во все милицейское. Если остановят, то объяснение готово: ищем убежавших немцев, а эти, что сзади сидят, опознаватели.

За ночь одолели четыреста километров, свернули в лес, нашли присмотренную ранее халупу, недостроенный лесником домик, крышей он все-таки прикрыл свое будущее жилище.

А утром оказалось, что мы сами себе устроили западню, что неспроста лесник не навещается сюда. Шайдеман, офицер образованный во всех смыслах, повел меня в глубь леса и показал на неестественно ярко-зеленые листья березы, на трухлявую пихту, ткнул пальцем на желто-зеленую лужу. Тут-то я и вспомнил, что в глубине леса — озеро, куда сливает отходы какой-то химкомбинат, вот почему ни единой пташки не видно.

Сутки прошли в бездействии. Что делать? Разбиться на пары, чтоб в любой из них бойко трещал по-русски кто-либо? Пересечь на мотоциклах отравленный лес?

А на дорогах (Алеша с биноклем забрался на высокую пихту) уже шевеление. Охрана спохватилась. Обыскали комбинат, убедились, что пропавшие вне его, но пока особого рвения не прилагали. Немцам же мы внушали поведением своим: НКВД — повсюду! Бдительность превыше всего!

Все-таки — игра! — Пир во время чумы: Ашхабад! — Портос — комендант новороссийской Бастилии. — Впервые вижу убийцу

И вдруг — неожиданно для нас и тем более немцев — той же ночью, когда уточнение планов спасения перенесли на утро, — вдруг нас всех четверых будто каленым железом тронули. Рудник похрапывал уже, как вдруг взвился Шайдеман, а за ним я и Алеша.

Где-то что-то случилось, произошло, где — неизвестно, однако бежать отсюда, стремительно, лбом рассекая все преграды, прочь отсюда, в полет, в спасительную неизвестность!

На немцев напялили мотоциклетные шлемы, половина одиннадцатого, ночь без признаков звезд или какого-либо прояснения. Выкатились на дорогу — и до семи утра мчались, мчались, подгоняемые нутряным страхом. Перед какой-то станцией, повинаясь тому же нутряному предостережению, сбросили мотоциклы с моста в реку и втиснулись в общий вагон поезда на Сталинград.

В поезде этом мы и узнали, что 6 октября землетрясение необычной для Средней Азии силы полностью уничтожило город Ашхабад и (пошептались мы с Алешей) сдвиги земной коры, волнами расходясь, стронули и подкорковые области человеческих мозгов. Какая-то форма массового сумасшествия прокатилась по областям и республикам, рядовым гражданам и начальникам, коснувшись и милиции. Наши немчики тоже учуяли беду, но они же и понимали, что в великой мешанине человеческих бед никто на них и смотреть не станет. Шайдеман обнаглел до того, что громко (по-немецки!) потребовал в поезде жратвы. Билетов на Новороссийск в кассах не было, с рук ими не торговали; не знаю как, но ехали мы на открытой платформе, почему-то жарко светило солнце, мы спали на песке, а когда проснулись — идиотски хохотали. Оставалось несколько часов до домика в пригороде Новороссийска, где нас ждал Федя Бица.

(Кстати, годом спустя двое военнопленных, один из них генерал, совершат побег, пешком доберутся до Одессы, причем ни один из них не знал русского языка. Тем пленным было легче, к моменту их появления в Одессе уже провозгласилась Федеративная Республика Германии, какая-никакая, а защита.)

С наших немцев мы глаз не спускали, у них, очевидно, был свой план,

свои сроки, свой маршрут и, возможно, другое сопровождение и другое место пребывания.

Домик принадлежал Фединой родственнице, ее он отправил в свои Бендеры вместе с детьми. Понял он нас не совсем правильно (при встрече еще поздним летом) и тюрьму делал не для выкраденных немцев; в хорошо оборудованном подвале, полагал он, будем жить мы, и провел туда свет, утеплил, поставил две кровати.

С водой в этом городе плохо было, но нанесли ее ведрами, заполнили два громадных чана, вымыли узников новороссийской Бастилии. К казенному (лагерному) нижнему белью они привыкли и не роптали, когда Федя с рынка принес им вполне приличные кальсоны и рубашки. На лице простодушного Рудника сияла радость: последнее, мол, унижение, скоро простимся с вами, господа русские большевики.

Назавтра я повел Шайдемана в город, он был в дырявом пальто, найденном на чердаке, черные очки делали его стариком. Ватники мы припрятали, Новороссийск — у моря, слишком много иностранных матросов, высокому Шайдеману очень подошла бы капитанская фуражка и морской реглан. То и другое нашли на рынке, толпа напугала немца, пора бы уже и домой, то есть к Феде, да вдруг Шайдеман остановился перед ларьком, на который я и внимания не обратил, и замер. Я взял его за руку, чтоб оттащить, но ощутил пульсирование горячей кисти и уже не отпускал ее от себя. С Шайдеманом что-то происходило, он будто музыку слушал, чуть подавшись вперед, я видел лицо его в профиль, но чувствовал: глазницы немца наполнены мрачным торжествующим светом.

А ларек торговал кухонными принадлежностями, среди них — ножи, но какие ножи! Из какого металла! Металл был не местным: легированная сталь особой закалки, не золингеневская, нет, в Новороссийск, видимо, из Германии привезли полотна каких-то пилящих устройств, выкраденных со складов или официально доставленных; мастер, конечно, не осмелился делать из них боевые ножи, все, на продажу выставленное, было гражданского, так сказать, назначения, но с некоторыми приметами, намекавшими на возможность более широкого применения. Особо хороши были рукоятки — разноцветные, плексигласовые, костяные, деревянные. Ростовские рукоятки, и новороссийские тоже, славились на весь Союз, но не на них задержались липкие, ласкающие глаза Шайдемана. Не изменяя положения головы, чуть скривив рот, он попросил меня:

— Пусть покажет поближе третий нож в среднем ряду...

Не одни мы глазели на изделия невиданной красоты и мощи, я уже слышал предложения продать тот или иной нож, и всегда продавец, чем-то

похожий на Шайдемана, отвечал, отрицательно качнув кудлатой головой:

— В комплекте, граждане, в комплекте... Вчера двум ресторанам продал... Да они как глянули на разделочный нож, так у них руки затряслись...

И у Шайдемана дрогнула рука, когда по моей просьбе ларечник снял со стенда третий нож из среднего ряда и протянул его нам.

Немец бережно принял нож и любовался им, лежащим на ладони, затем бросил на продавца взгляд — и отвел глаза; нож длиною превосходил ладонь, рукоятка утвердилась примерно на запястье. Пальцы Шайдемана шевельнулись — и нож ожил, нож приобрел способность вонзаться в податливый материал или втыкаться в твердость; нож стал не продолжением ладони, а как бы устройством, прикрепленным параллельно кисти, которая может ножом этим выстрелить... Я тронул его ногой, отвлекая от ножа, поскольку как-то не увязывались темные очки и интерес к предмету кухонного оборудования. Еще раз пришлось ногой пнуть Шайдемана — он не выпускал из руки ножа, и лишь когда я в ухо его вогнал смачное немецкое ругательство, он будто вышел из транса, сунул руки в карманы реглана.

Я понял, что рядом со мной — убийца! Не воин, обученный убивать ножом, а человек, рожденный вспарывать ножом человеческие туловища, и что-то он все-таки натворил в эту войну, дорвавшись до возможности пускать нож в любимое дело. И Рудник был либо свидетелем ножевых забав Шайдемана, либо — наоборот — единственным человеком в вермахте, который мог засвидетельствовать безгрешность друга по этой части.

Еще в мае решил я отдавать пленных порознь, во мне играло опасение: как только мы оказываемся вне пределов СССР, меня и Алешу просто вышвырнут за дверь особняка Рудника или Шайдемана. Или сдадут в полицию, где мы и рта не раскроем, а на Вилли рассчитывать опасно. И ни о каких долларах уже не заикнешься. Тогда-то и подумалось: отдать Шайдемана, как сына более богатеньких родителей, вместе с ним пересечет кордон Алеша, в финансовых делах смысленный, выцарапает деньги, даст сигнал — и по проторенной дорожке Томас Рудник покинет СССР.

Теперь все будет иначе.

Немцам устроили вечернюю прогулку под надзором Феди. А мы с Алешей осмотрели подвал, где Шайдеману придется жить не менее десяти дней.

Одну тему я боялся затрагивать в разговорах с Алешей. Только мне

было известно, где архив Халязина, — и уж не ради ли архива затеяна вся эта галиматъя?

Быть или не быть? — Героическая гибель Портоса. — Быть!

Посредником оказался бравый мужчина, пропахший кофе и трубочным табаком, в суть дела наниматели его посвятили не полностью, и он взвился, когда услышал, что «груз» будет передаваться ему по частям, то есть поначалу два человека, русский и немец, а затем, после того, как русский подтвердит «оттуда», что условие выполнено, — только после этого еще одна пара покинет порт и город Новороссийск. Причем — пригрозил я — надо спешить, слышны шаги МГБ... Уже побывав в порту, я изучил, как сходит команда на берег и как возвращается, а именно таким путем можно перебросить с причала на борт нужных людей. Пограничный наряд у трапа, сверка пропуска с паспортом, Григория Ивановича бы сюда, научил бы он запоминать физиономии проверяемых. Пароходов — семь или восемь под погрузкой. Ни одного пассажирского с гурьбой полупьяных путешественников. Отец Рудника — владелец судоходных компаний, пароходы его ходят под разными флагами, но с каждым капитаном договариваться нельзя. Как оповестятся наниматели о внезапном изменении планов — неизвестно. О другом я думал уже пятый месяц — с того московского вечера в «Шестиграннике». И старался ничем не выдать Алеше, о чем размышляю.

Потому что я не хотел покидать СССР. Не для меня эта Германия и вся эта Европа, я никак не мог забыть тупого американца с его дурацкими конвенциями: все было чужим, все отторгало, а уж какие-то там деньги... тьфу! Но говорить Алеше об этом — нельзя. Он может заартачиться, дворянской спеси в нем с избытком, но спесь-то — я отмечал это, горюя, — не отвращала его от Германии, где он все-таки прожил достаточно. А мне нужна была земля, на которой родился; я смогу — украдкой хотя бы — увидеть детей Этери и постоять у могилы матери.

И наконец — архив. Я его ни за какие деньги не продам. Нельзя лишать человека последней радости.

И решение мое окончательно окрепло, утвердилось, когда Федя принес мне оружие, многими на фронте уважаемый ТТ. Пистолет лежал на моей ладони, ничуть не отягощая ее своим весом, ибо он — бестелесен, невесом. Еще не зная, что будет дальше, как развернутся события, я тем не менее предвидел: из этого ствола будет убит Гюнтер Шайдеман, и пистолет, отброшенный мною после выстрела, полетит в какую-то бездну, ибо он и

Шайдеман — неразрывно связаны. Этот пистолет — только для этого немца. В средние века убийцы коронованных особ бросали наземь мушкеты или аркебузы и уходили, и оставление оружия такого высокого назначения — не от попытки скрыться, здесь глубочайший философский смысл, жаль, что я как-то невнимательно прослушал лекцию Чеха. (Но помнится афоризм его, впоследствии повторенный одним французом: «Убийство для индивида то же, что революция для коллектива».)

В один из дней середины октября — уже начинало смеркаться — я повел Рудника в город; Алеша шел следом, Федя остался сидеть на сундуке, закрывая им крышку подвала.

Мне было больно, я едва не расплакался, обнимая Алешу на прощание, а тот, не подозревая о моем предательстве, был сух и деловит, сказал, что с Шайдемана глаз нельзя спускать, а Федя только в мордобое смыслит.

Приблизился посредник и увел от меня Алексея Петровича Бобрикова. Рудник уже догадался, куда его ведут, рванулся ко мне и пожал руку.

Тьма поглотила их. Я побрел к Феде, к сундуку, к Шайдеману, который понял, куда подевался сотоварищ по погребу, и молчал, затаился.

Через пять дней я позвонил посреднику и услышал от него ничего не говорящее немцам слово («Артамон»), каким Алеша сообщил мне, что он и Рудник уже в полной безопасности, деньги выплачены.

Теперь настала очередь Шайдемана. Предполагалось, что через три дня я передам его посреднику, а ночью исчезну, распрощавшись с Федей.

Билет на проходящий поезд Баку — Москва был куплен с рук, я еще потолкался около управления порта, узнав новости, которые мне оченьгодились через несколько часов. Пошел сменять Федю на боевом посту, остановился у калитки, почуяв недоброе: дверь на веранду распахивалась от порывов ветра, что могло быть при раскрытом окне кухни. Ворвался в дом и увидел распростертого на полу Федю, в спине его торчал нож, столовый, но зауженный и заостренный, мы им чистили картошку.

Гюнтера Шайдемана, конечно, и след простыл. Пистолета он не нашел, да и не знал он о нем. Я бегал вдвое быстрее трамвая и был в двадцати метрах от трапа, по которому поднимался Шайдеман. Транспорт — греческий, половина команды — немцы, Гюнтер ничем не рисковал, когда трубой сложил ладони и заблажил — или это мне почудилось — «Wir sind Moorsoldaten», а затем помахал мне барской ручкой.

Тогда-то, не вынимая ТТ из кармана плаща, я выстрелил, и Шайдеман стал оседать...

Диверсанта наконец-то забирают органы (женские, половые): женится. — «И рисовала на стекле заветный вензель...». — Вновь он с оружием!

Мне стало так одиноко, так неуютно! Ведь я не Шайдемана убил, а омертвил что-то в себе; какая-то часть моей жизни пресеклась, уменьшилась, из памяти выпали месяцы, когда я был лабухом, и музыка меня теперь попугивала. В Москве шел снег, несколько часов пробыл я в столице, посидел у памятника Тимирязеву... Зачем?

Всю зиму пролежал я в Курбатовке, но однажды что-то во мне встрепенулось, и я подался в Москву, надо было сочленять цепь времен.

Не помню, как у меня было с ночевкой в эти дни. Наверное, поздним вечером я брал билет до Смоленска или Ярославля, высаживался и шел к московской кассе. Из меня будто какие-то пружины извлекли, от легкого толчка я падал, все во мне было бескостным. Неизвестно, куда завело бы меня безволие — воровская шайка приняла бы, богатая вдова, огни летящего на меня тепловоза.

Что-то я еще недоделал в своей напрасно прожитой жизни, о которой думал, для ориентации в пространстве смотря на мелькающие сапожки впереди идущей женщины. Вдруг она поскользнулась и упала, беглый осмотр убедил меня: перелом голени. Взяв женщину (она была легкой, почти девочка) на руки, вышел на середину улицы Чернышевского. Остановилась «скорая», нас повезли в Склифосовского, стали оформлять: Сенина Анна Семеновна, 1928 года рождения, прописана на улице Гайдара, дом восемь... «А вы кем ей приходитесь?» — это вопрос ко мне. «Родственник». Уже сделали рентген, пришел терапевт, тогда-то она, Сенина Анна Семеновна, и позвала меня. Дала ключи от квартиры. Попросила завтра прийти сюда, принести домашний халатик на первый раз, а потом она скажет, что еще надо, а сейчас голова трещит, ничего не сообщает.

Каталка с нею скрылась в лифте, я побрел по Садовой; улица Гайдара, я чувствовал, где-то рядом, всегда травмы случаются невдалеке от дома, когда психика расслабляется. Два замка, две комнаты, квартира отдельная, не холодно. Жалкие остатки пищи, но во всем прочем — достаток. Попил чай, полистал какую-то книгу, разделся, лег на диване, нашел внутри него одеяло, утром покопался в шкафах, у Курского вокзала купил яблок, робко

вошел в палату, где со вздернутыми ногами возлежали на койках три женщины. У моей Сениной дела обстояли не так плохо, гипс всего лишь, без вытяжки. По виду — полное соответствие паспорту, двадцать один год, студентка третьего курса филфака. Спросил: «Ну ты как?» — и губами притронулся ко лбу. Домашний халатик принес я да шлепанцы, две длинные ночные сорочки, чулки. Шевелением скрюченного пальчика она заставила мое ухо приблизиться к ее тонким злым губам.

— Как я поняла, ты у меня живешь... Не забудь мусор стаскивать во двор, за унитазом посматривай, может протечь, а с газовой колонкой — будь осторожен, с огнем не шали... На чьи деньги покупаешь фрукты? В нижнем ящичке трюмо лежит моя последняя стипендия, будь экономнее...

— Ты не москвич?.. Я так и подумала. Женат?

Через неделю ей разрешили с костылями выходить в коридор. Прислонялась к теплой стене у батареи, рассказывала о родителях, которые на Дальнем Востоке что-то строят, об умершей старшей сестре, читала письма, что доставал я из почтового ящика.

— Ты уж меня извини, но всем я говорю, что ты мой муж. На жениха, а тем более на влюбленного ты никак не походишь. И на брата не тянешь: в глазах, чувствую, большое желание нарушить кое-какие заповеди.

И уже что-то женское в голосе, бабское, противное.

— Ошибаешься. Не возделую я. И не возжелал, когда ты минуту назад распахнула халатик для поцелуя ниже шеи... Я... просто давно не видел людей вблизи, нормальных людей, тем ты мне и интересна, живу-то в глуши... Но чтоб это бабье на нас не косилось, договоримся: при встречах и прощаниях возможен обмен поцелуями.

Злые тонкие губы — особенно зла нижняя. Потому она ее чаще и прикусывала, а когда стаяй прилетели однокурницы — совсем губ не стало видно. Глаза колючие, ресницы длинные, груди маленькие, почти детские, соски ни разу еще не набухали.

Выписали наконец, ноги щадящий режим. Рядом с Курским — богатый гастроном, купил кое-что из деликатесов, для студенческого стола получилось очень прилично, шампанское выставил на балкон, чтоб прихладить его.

А был уже апрель, с морозцем по ночам, в квартире погуливали сквознячки, Аня укуталась в шаль, выцедила бокал, кивнула на диван:

— Ты здесь спишь?

— Спал. Сегодня ночью уезжаю к себе. Места в гостиницах дорогие, а на вокзале ночевать не хочется.

Мне к тому же помнилось сибирское село и топчанчик, выделенный

председательшей. Да и в любом случае выход единственный — уехать. Поездов на юг много, около одиннадцати вечера я поднялся:

— А тебе желаю сдать хорошо экзамены.

Она стояла спиной ко мне у окна, водила по стеклу пальцем. Спросила, вижу ли я, что она пишет. Села за стол и на бумаге вывела: «Я тоже буду спать на диване — с тобой. Не уезжай».

Через месяц сказала:

— Любви я от тебя не дождусь, да и ты от меня тоже... И все-таки давай поженимся. Я забеременела, кстати, но это ровным счетом ничего не значит. То есть смело уезжай к себе, если женитьба и ребенок в тягость. А уж как я управлюсь с беременностью — соображу. Скорее всего — рожать надо.

Подали заявление в загс, дождались очереди, свадьбы не устраивали, роддом откладывался до лучших времен — выкидыш! Аня плакала, мистические совпадения растревожили ее: она поскользнулась — в дождливый день — на улице Чернышевского, на том же месте, что и в марте.

А я устроился на работу, охранял склады на восьмом километре от вокзала, сутки там, трое — дома, и самое главное, мне полагался пистолет.

Рядовой пистолет, массовый, привычно висевший на ремне, так привычно, что дома, на Гайдара, я частенько в недоумении трогал рукою бок, удивляясь отсутствию тяжести кобуры.

Крах писательской карьеры — не Филатова, а, возможно, будущего Фадеева или Леонова. — Кто кого хотел совратить? За такие шуточки морду бы набить врачу этому!

А в моей смене работал разухабистый бездельник, любитель выпить, за что я не раз взыскивал с него, бабник, пускавший слюни при виде каждой юбки и творец басен о своих победах на юбочном фронте. Он все время что-то пописывал в общей тетради (48 листов) и удовлетворенно потирал руки в восторге от некоторых фраз. Наконец обратился за помощью. Я, сказал, хочу стать писателем, для чего надо поступить в Литературный институт, предварительно либо опубликовав что-нибудь, либо предъявив рукопись. Опубликованного у него ничего нет, но три рассказа написаны, так не может ли супруга, то есть жена моя, критически оценить их и отнести в приемную комиссию института? Сам он не решается, ему боязно даже появляться во дворе святого учебного заведения.

Рассказы я прочитал — и был поражен. Слюнявый бабник, эротоман, любой глагол относивший к акту соития, — этот развратник писал о возвышенной любви раненого сапера к медсестре, меня мутило от слащавости и дурости, встречались ошибки, позволительные школьнику, на войне не побывавшему, но этот-то — все четыре года отгрохал, от рядового поднялся до старшего лейтенанта, иногда память его восстанавливала сцены фронтовой жизни, от которых у меня дрожь проходила по телу. И этот воин раскидает на бумаге, про какую-то вечную любовь сочиняет рассказы...

Читая его творения (показывать их жене духу не хватало), я укорачивал свои стремления стать писателем, но для проверки, что ли, умения прикладывать грамотно фразу к фразе описал рассказанный бабником случай, стараясь приноровиться к нему, стать как бы им самим, перенестись в 1943 год. Позевывая, кстати, припоминал этот случай бабник, а ведь человек пережил трагедию. Рота его взяла двадцать с чем-то пленных, обосновалась в селе, укрепилась, окопалась, как вдруг приказ: село оставить. Он потребовал уточнения: а что делать с пленными? Ему ответил штаб полка: село оставить немедленно, приняв меры к тому, чтобы взятые вами пленные не влились в состав наступающего немецкого батальона. То есть убить, всех расстрелять. Вот тут-то и забегал бабник,

потому что убить одного безоружного — это не представляет никакого затруднения, но двадцать... Строем выстраивать и косить из пулемета Дегтярева? Завалить сарай с пленными соломой и поджечь? Бабник собрал сход, на котором поставил вопрос: селяне и солдаты, что будем делать с немцами?..

Так и не рассказал бабник, как протекал этот митинг и как выполнил он приказ командира полка. Зато я представил себе, как пленным расстреливали с разрешения самой высшей инстанции, народного собрания то есть, перепечатал на машинке и понес свой шедевр в журнал «Знамя», вождельно глянув на здание Литературного института, куда уже подал заявление (втайне от жены). Пришел через три недели. Рассказ мой был прочитан, письменного отзыва на руки мне не дали, но в коридоре некий грамотей потрепал меня дружески по плечу и негромко посоветовал:

— Дружок, я тебя умоляю: не пиши больше. Ни о войне, ни о мире.

Так на меня дурно подействовал этот совет, что и многие страницы сего романа как бы исполняют завет знатока войны и мира, потому что все я чего-то недоговариваю, что-то комкаю, и, к примеру, случай, описанный в главе, где я искал и нашел в членомогильнике ампутированную руку, имел вовсе иное продолжение, да и начало я скомкал из непонятных мне соображений. А ведь правда, истинная правда: друзья мои после белорусской операции страдали в госпитале, куда я — с младшелейтенантским кубиком в петлице — проникал, веселя почему-то раненых и медсестер, хотя знаки воинских различий под белым халатом не заметны. С превеликим трудом шли на поправку мои друзья. Три пулевых ранения Григория Ивановича загноились, пожилой, профессорского вида дядя четырежды таскал к себе в операционную нашего отца командира, и наконец-то в Калтыгине пробудился аппетит и тяга к бабам. Но из легких Алеши неумелые врачи никак не могли вытащить осколок, пока не попал мой друг к главному хирургу, красивой женщине с дурной привычкой курить.

Из тела Алеши она все-таки извлекла осколок, я не мог не присутствовать при этом, я стибрил в ординаторской халат и косыночку, легко сойдя за медсестру, я слышал короткие, как перед взятием языка, переговоры врачей, я видел порхание их пальцев над телом Алеши. Осколок, мне подаренный, отмыл в спирте, покатал в пальцах и подивился неразумию природы: какой-то крохотный кусочек металла — и думы Алеши о будущем и прошлом, его воспоминания о предках и проклятья некоторым живущим. Нет, что-то не так в этом мироустройстве, какая-то гибельная ошибка! Хирургом буду я!

Так вот, хирург, которого я вытащил из Особого отдела, достав ампутированную им руку из вонючего членомогильника, все-таки нашел способ отблагодарить меня. Подозвал однажды и шепотом, отведя в угол коридора, сказал, что есть в госпитале одна дама, которой очень хотелось бы, чтоб на нее обратил внимание, уделяя хотя бы час, какой-нибудь мужчина, причем внимание это уделялось бы в интимной обстановке («Надеюсь, ты понимаешь, о чем идет речь?..»). Мужчина, продолжал нашептывать хирург, должен быть не из госпиталя, не врач ни в коем случае и вообще человек как бы со стороны, а таким условиям я вполне удовлетворяю. Дама эта очень занята, нагнетал хирург, договариваться заранее с ней нет возможности, но она сама обо всем догадается, когда я возникну перед ее глазами, желательно часиков эдак в десять вечера...

Без чего-то десять он повел меня к соседнему с госпиталем зданию бывшего гороно (вывеска еще сохранилась), ввел в коридор, пальцем ткнул в направлении какой-то двери и, видимо, ошибся, потому что я оказался в комнате, где была кровать, стол, диван и та самая женщина, главный хирург госпиталя, спасительница Алеши. Она была явно смущена чем-то, приподнялась и села, а я, обиженный ее неверием в то, что стану выдающимся хирургом, начал доказывать обратное, с чем она быстро согласилась, резко поднялась и сказала, что мне пора уходить. Боюсь, я нарушил ее отдых или она ждала кого-то другого.

Примерный семьянин, лишенный пистолета. — Чех зовет меня сражаться под знаменами герцога Кумберлендского. — Мечта не сбылась — и выстрел в правый висок оборвал страдания тайного тираноборца

Аня меня полюбила. Она успевала бегать на лекции, писать статьи, носить в себе ребенка и варить супы. Отвез ее в роддом и неделей спустя вынес оттуда девочку, у Ани пополнели губы, она уже не казалась злой. Родственница появилась, гулякала-улыкала с Наташкой, я научился стирать пеленки и варить кашку, бегал за детским питанием, благо времени стало много, с работы меня уволили за что-то, пистолет, естественно, отобрали. В один из дней студенческих зимних каникул Аня повела меня на Моховую, юрфак устраивал вечер, всех рассмешила сценка из «Мертвых душ» (Ноздрев играет в шашки с Чичиковым) да монолог очень похожего на еврея студента, который с сильным акцентом прочитал: «Ну какой рюсский не любит бистрой езды?..»

Вдруг меня дернула за локоть Аня: с ней только что говорил какой-то гражданин и высказал просьбу — дать этот вот телефон тому, кто знает человека по имени Чех.

Наступила вторая половина февраля 1953 года. Ехать в Ленинград не хотелось. Но — собрался, с Московского вокзала позвонил. Ответил сухой знакомый голос, указал адрес.

Охта, шестиэтажный дом, третий этаж, дверь открыта, вошел не постучавшись, Чех сидел за письменным столом, откинувшись в кресле, весь иссушенный годами, а прошло-то всего — девять лет! В квартире пахло только бумагами, ни еды не было, ни напитков, да и Чеха — такое впечатление создавалось — не было. Болен, неизлечимо болен — я понял это, как и то, что жизнь его продлится еще месяц-другой, поэтому он и спешил увидеть меня.

— Всю жизнь я спасал или уничтожал людей, баланс подводить еще рано... У меня подарочек для тебя.

Он потянул к себе ящик письменного стола и вытащил мой парабеллум со знакомой выщербинкой на рукоятке. Я молчал, подавленный и оглохший. А потом комната, вся квартира и вся Охта наполнились «мананой», слезы полились, и горло охватила судорога.

Минуту, две, три длилось возрождение, восстановление из пепла, в рое

голосов я услышал и Этери, и Алешу, и всех, кого отрезал от меня приезд Костенецкого ко мне, в занятую мною с разрешения коменданта квартиру члена НСДАП.

На Чехе была гимнастерка без погон, двигался он легко и бережно, все силы свои рассчитал, впереди — по крайней мере месяц жизни. Принес карту, ни единого названия. Большой город, автомагистраль, улочки, шоссе, зеленые пятна лесных насаждений, безномерные трамвайные и троллейбусные маршруты.

— Жить мне осталось немного, рак крови, против этой болезни я бессилён, и уж лучше погибнуть, чем... С Калтыгиным все ясно, а на Бобрикова рассчитывать можно?

— Алеша уже не для нас.

— Придется вдвоем. Вот, — он нашел в столе, — материалы допроса Раттенхубера, начальника личной охраны Гитлера. Поизучай внимательно. Надо найти типичную ошибку всех многочисленных охран. Они не учитывают того, что вообще не подлежит учету. Сосулька, падающая с карниза в июльский полдень. Кирпич на голову с крыши, которой нет.

Он помолчал.

— Тот, кого надо устранить, живет в этом городе. — Он показал на карту. — Наиболее уязвимые места — эта вот улица, — он ткнул пальцем, — и в этом вот лесном массиве — дача. Тройное кольцо охраны, но внутренней практически нет: человек этот чует смерть и боится всех, кто рядом. А вот — двухэтажное строение, караульное помещение в полукилометре от резиденции. Дорожка, по которой идут на смену караула сытые, разморенные сном солдаты. Мы их можем подменить. Еще вариант: машины с охраной меняются в движении местами, тоже можно использовать. Короче, думай. Пистолет верни, незачем тебе по городу гулять с ним, ты же не бандит. Гостиница для рыбаков, адрес даю, там будешь жить. Ходи по Питеру, ищи улицу, подобную этой, у меня уже ноги ослабли... Возвращаю тебе старый должок — перочинный ножик.

Пустые глаза его смотрели в угол.

— Ты женился? Дочь или сын? А на мне лежит запрет природы, ни в браке, ни вне я не в состоянии дать полноценное семя для плода. Но для меня ты — сын, единственный, и я сделаю все, чтоб ты остался живым.

Договорились: приду послезавтра, дубликат ключей от квартиры опустил в мой карман. Закрыв дверь, из-за которой пробивались звуки «мананы», она лежала в письменном столе Чеха. Швырнул в Неву боевой трофей — ножик, добытый в 1942 году.

28 февраля было это. Всю ночь читал я показания Раттенхубера,

извлекая из них поразительные ляпсусы. Днем ездил по городу на такси (пачку денег дал Чех), улицу нашел, кое-что придумал.

В назначенный день стоял перед квартирой на Охте. На звонок никто не отозвался, но такое молчание предусматривалось, Чех ездил на переливание крови в какой-то институт. Открыл дверь его ключами, потянул носом воздух и снял ботинки, чтоб ни единого следа не осталось.

Чех навалился грудью на стол, затылком ко мне, глаза обращены влево, а справа от головы — рука с пистолетом. Он был мертв. Только через три дня узнал я, почему застрелился он, а сейчас осторожнейше вынул мой любимый парабеллум из пальцев Чеха. Сделал обыск, абсолютно бесполезный, потому что все, меня, Алешу и Калтыгина касающееся, было им загодя уничтожено, о чем и поведалось в предсмертной записке, которую Чех просил меня же уничтожить. В ящиках письменного стола — пусто, на стенах — голо, стол на кухне заставлен пузырьками медицинского назначения, еды — никакой, лампочки во всех трех комнатах — без абажуров.

Здесь жил мертвец. На похороны, естественно, не приглашал. Я так и не узнал его настоящего имени. Пусть он и для всех останется Чехом.

«Манана» всегда будет с ним. — Вихри враждебные веют над...

3 марта известили о тяжелой болезни Сталина, а через день — о смерти его. Наверное, он умер несколько раньше, 1 или 2 марта, о чем Чех узнал и понял, что в дальнейшем жизнь его бессмысленна.

С балкончика квартиры на Гайдара были видны тянущиеся по Садовой толпы. Аня осталась равнодушной к смерти Вождя, мне же вспоминался разговор двух царедворцев да иногда приходило на ум решение — съездить в потаенное местечко Полесья, где большая (и лучшая!) часть архива Халязина. Мне уже было наплевать на его бумаги. «Манана» была со мной, спрятана в квартире, я же устроился на работу поблизости, в гастрономе, разнорабочим, выгружал продуктовые машины, Наташка росла.

Однажды я заметил за собой слежку и призадумался: где же я мог наследить? С документами полный порядок, с возрастом я изменился и никак не походил на того пятнадцатилетнего гасконца, который рванул в Париж служить королю.

И вдруг дошло: парабеллум! Он некоторое время оставался у сонного особиста, который приехал арестовывать меня 27 мая 1945 года вместе с Костенецким и Лукашиным! Значит, где-то мой любимец записан, отстрелян и пуля, убившая Чеха, опознана. Следов моего присутствия в квартире его не найти, но до рыбацкой гостиницы доберутся. Появление Алеши в Кёльне отметит какой-нибудь «источник», гонцы вскачь понесутся в Курбатовку. Наибезопаснейший вариант: парабеллум увезти за город и спрятать на время, и я так и сделал бы, но — «манана». Как только я касался парабеллума, где-то вдали — за домом, за вокзалом, за горизонтом — приступал к настройке рояля будущий исполнитель мелодии, благородно искажившей всю мою жизнь. Пистолет поэтому я стал на ночь совать под подушку, что, конечно, обнаружила Аня однажды утром.

А мы давно уже полюбили друг друга. Мы так полюбили, что не надо было ночью подтверждать это. Посреди дня мы внезапно обнимались, без поцелуев, и слезы лились из наших глаз. Если рука моя случайно касалась ее тела, то мы замирали, испытывая радость.

Она положила мой талисман, мою гордость в сумочку и посадила Наташу ко мне на колени. Ушла. Я порывался встать, догнать ее, но дочь прильнула ко мне и никуда не отпускала.

Аня вернулась через час.

— С середины моста, — сказала. — Устьинского. Ни один водолаз не найдет.

Я прижал Наташку к себе. Казалось: река вспучилась и бушующие волны захлестнут Садовую, доберутся до Гайдара.

Но обошлось. С кухни несло жареной картошкой, на коленях моих устроилась Наташа, которая вскоре станет «мананой», и жизнь Великого Диверсанта преобразится.

В этот вечер я понял, что такое любовь женщины. Почти пять лет вместе — и ни разу ни Аня, ни наезжавшие в Москву родители ее не говорили при мне о желательности образования, которое поднимет меня от рабочего в магазине до хотя бы бухгалтера.

А магазин-то закрывался на ремонт. В поисках работы я натолкнулся на объявление: «Ресторану требуются повара высшей категории. Возможно обучение в процессе производства». Адрес указан — не так-то уж далеко от дома. Приняли. Неделью чистил картошку и нарезал ее. Потом подрались два официанта, одного из них, выгнанного, решено было заменить мною. Директор ресторана осмотрел меня со всех сторон и дал указание:

— За две недели из него надо сделать человека.

Вскоре я познал все тонкости этого необычайного ремесла. Изучил все вилки, ложки, ножи, тарелки всех форм и диаметров; я узнал, что под овальные блюда с горячим надо стелить салфетку, а под круглые блюда ставить тарелки. Уяснил, с какой стороны подавать блюда клиенту, если он сидит в углу. Человеку еще в голову не пришла идея заказать антрекот, а я уже чуть наклоняюсь к нему. Мне едок представлялся легковооруженным бойцом в ячейке, которому с тыла подают все необходимое к бою. Столики чем-то — за десять минут до открытия ресторана — напоминали военнотопографическую карту. Старший официант устроил экзамен: нагрузил поднос так, что его вдвоем не удержишь. Седой старикашка не знал, с кем имеет дело — с Великим Диверсантом! Я с этим подносом поплыл величественно по залу, и в местах, где столики сближены, то левой рукой поднимал его на уровень лба, то правой. Элегантно приземлил его на подсобный столик и начал, как положено, с дамы, с правой стороны ее. Счет подал — копеечка в копеечку, не забыл, правда, пяти процентов за услугу.

Много, много интересного извлек я, три месяца проработав официантом. Как и у лабухов, был у них свой «парнос», чаевые кучей, потому что клиенты отказывались от сдачи, и тогда складывалась нелепая ситуация: попытка официанта вернуть клиенту лишние деньги граничила с вымогательством еще больших чаевых.

Ресторан, где я работал, — второго разряда, не первого и не высшего, то есть из него не рекрутировали проверенных официантов на правительственные приемы. Однако — новые времена, кое-кого стали приглашать. Я начал подумывать об увольнении, да помог случай. По виду вполне воспитанная компания заняла столик на шестерых, ничто не предвещало ссоры, столик не мой, но я поглядывал на него, я чувствовал: подай финки вместо ложек и вилок — и кровью зальется скатерть. И директор глаз не сводил со столика, но вызывать милицию еще рано, да и такие уж отношения с нею сложились: либо не приедет, либо будет кормиться бесплатно весь год.

И как только начался мордобой, я бросился к столику и всех шестерых выкинул на улицу, дав официанту команду: столик — в первоначальное состояние! Теперь ресторанный разгул превратился в уличную потасовку, к которой мы не причастны.

Все произошло очень быстро, директор все видел. Со следующего дня я стал дежурным администратором с двумя сутками отдыха. Присматривал за Наташкой, возился на кухне. Аня кончила МГУ и работала в «Комсомолке».

Около двух дня и восьми вечера мое место — у входа, регулировал устремленный к столикам поток: ресторан на видном месте, до центра далеко, но универмаг рядом, два театра, невдалеке рынок. Традиционная борода швейцара вносила некий порядок в суматоху, да я подсказывал, где столики забронированы. Однажды мелькнула Инна Гинзбург, со спутником, я постарался скрыться, сидел в своем кабинетике, разбирал перекрестные жалобы. Официантка постучалась, глазенки блестят: «С вами одна клиентка поговорить хочет... С углового столика».

Инна Гинзбург, чуть пополневшая, но и пригаснувшая, огня в ней меньше стало. С нею — задумчивый гражданин, муж — так определил я.

Заговорила, как всегда, с некоторой жеманностью:

— Я здесь второй раз (солгала!) и теряюсь в догадках: мы ведь где-то с вами встречались?

Ответил вежливо, сухо:

— Вы ошиблись... Но я польщен, что вы меня запомнили.

Рукава до локтя, божественные руки, которыми я восторгался когда-то. Ведет себя умно: говорит будто о чем-то постороннем, на меня не глядя. Муженек либо скучает, либо мастерски изображает терпение.

Номер телефона прозвучал — на тот случай, если я все-таки вспомню, где судьба сталкивала меня с Инной Моисеевной (осмелела: ранее была Михайловной). Со вздохом сожаления призналась, что, зная, и впрямь

ошиблась. А то бы рассказала, как много тяжкого перенесла она, отец вот по делу врачей прокатился, хотя к медицине никакого отношения не имеет.

— Будь вы Ленечкой Филатовым, я бы вам такого рассказала...

А я пожелал чаще заходить, проводил к гардеробу, муж подал плащик. Супруги постояли на мокром тротуаре и взяли такси, а ведь могли бы об этом попросить администратора или швейцара. Прощай, Инна. Я верил в случайность встречи, как и в то, что не удержатся женские уста, прощобечут где-либо о славном мальчугане Ленечке Филатове.

Прощебетала, трепушка. Они ведь, фронтовики-однопольчане, на попоекке 9 мая ударились в воспоминания, и, видимо, Инна похвасталась: «А вот помните...» Двух дней не прошло со Дня Победы, а за тот же угловой столик сел Лукашин. Я глянул на него и подумал, как и много лет назад: бухгалтерские нарукавники ему бы. Лишь дождевав отбивную, он стронул меня с места движением пухлого пальчика.

— Веришь не веришь — а я рад встрече. Буду краток: через сорок минут... нет, сорок пять я позвоню в КГБ. У тебя есть время. Кстати, с Бобриковым что-то неладное в Германии.

Время бежало быстро, вот уже и КГБ, а не МГБ. И на меня уже дохнуло ветром странствий и перемен.

Из ресторана я исчез незаметно и пошел домой поцеловать на прощанье Наташку. А там — Аня, спокойная, жестокая, расчетливая.

— Тебе надо уходить. И немедленно. Меня с утра послали брать интервью у какого-то Любарки, он тебя знает. И предупредил.

Она полезла в комод, из-под белья нижнего ящика достала парабеллум, мой парабеллум.

— Случайно получилось. На середине моста уже была, несла его в сумочке, потом решила проверить, не выброшу ли вместе с сумочкой какую-нибудь важную мелочь, и пистолет сунула в карман. Забыла, что ли... А сумочка полетела в воду. Вторично бросать что-либо — побоялась, дают же помилование висельнику, у которого веревка лопнула...

Это, пожалуй, и ко мне относилось, как он, парабеллум, ни в огне я не сгорел, ни в воде не утонул.

Я ушел, и во мне начинала разыгрываться «манана». По пологой спирали скатывался я в зеленую долину, и горы постепенно наращивали высоту своих заснеженных вершин, их белизна подкрашивалась голубоватым свечением неба, вдруг начавшего сжиматься, стекаться к центру, превращаясь в хрустальный ручеек мелодии, проводившей меня до поезда, и тот понесся в новую даль.

Кадры из фильма "Диверсант"

л

• •

№_{л-ЪТ-ПТ} Т

і>Ж -л?;: ? о
j_{..ЛК} -tVY
Л*

% * f.:- III

&
L® 'K
ffS'i.'
V'..- -Td

· I
Ноя5

W*
>
J'
H

rip
&Г1 → r A ;

й ТЯГ “”lit l 3C
gfa ' 3 & ' ;
i

И “Si*

ш

яг

v

..

-

L

'Ш•L
Л?

ш

κ''

Zl I

i

л у ?
Jtel

bл
а

1

S³

r

\w

i

'

.3

л1 ;

ГЪДЗГ
t_{11-α}^{f*}
, л